

СЕРИЯ

“ЧУЖЕСТРАНЦЫ”

НАТАЛЬЯ ГРОМОВА

Потусторонний — друг —

История любви Льва Шестова
и Варвары Малахиевой-Мирович
в письмах и документах

WE
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНА

Table of Contents

М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. — 891 с. — (Чужестранцы).
Роман философа Льва Шестова и поэтессы Варвары Малахиевой-Мирович протекал в мире литературы – беседы о Шекспире, Канте, Ницше и Достоевском – и так и остался в письмах друг к другу.
История любви к Варваре Григорьевне, трудные отношения с ее сестрой Анастасией становятся своеобразным прологом к «философии трагедии» Шестова и проливают свет на то, что подвигло его к экзистенциализму, – именно об этом белом пятне в биографии философа и рассказывает историк и прозаик Наталья Громова в новой книге «Потусторонний друг».

[Annotation](#)

[Наталья Громова Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах](#)

[Потусторонний друг История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович](#)

[Небольшое вступление](#)

[Киев, лето 1895 года](#)

[Переверзовка, лето 1895 года](#)

[Осень 1895 года](#)

[Настя. Зима 1895–1896 годов](#)

[Бегство](#)

[Приключения Варвары. Европа, лето 1896 года](#)

[Лето – осень 1896 года](#)

[За границей и в России. Конец 1896 года](#)

[Появление Анны Березовской](#)

[Но разговор не прерывается...](#)

[Варварин Петербург. 1897 год](#)

[Варварин Петербург. 1898 год](#)

[Рождение Льва Шестова и сестер Мирович](#)

[Дремучий лес](#)

[Анастасия Мирович и Валерий Брюсов](#)

[Общий круг: Семён Лурье](#)

[Болезнь Насти](#)

[Апофеоз беспочвенности. Ответы на вызовы судьбы и другие события](#)

[Влюбленная дружба: Евгения Герцык](#)

[Михаил Шик и Варвара. “Многообразие религиозного опыта”](#)

[Встреча Варвары с Львом Толстым. 1909 год](#)

[Коппе, 1911–1912 годы](#)

[Сергей Листопадов. Москва, 1914–1916 годы](#)

[1917 год](#)

[Киев, 1919–1920 годы](#)

[Поезд. Разлука навсегда](#)
[Смерть Надежды Бутовой. Поверх барьеров](#)
[После всего](#)
[Эпилог](#)

[Письма](#)

[Переписка Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович\[251\]](#)
[Письма Варвары Малахиевой-Мирович Леонилле Тарасовой](#)

[Воспоминания Варвары Малахиевой-Мирович](#)

[О Льве Толстом. В Ясной Поляне](#)
[О Надежде Сергеевне Бутовой, актрисе Художественного театра \(1920-1921 годы\)](#)

[Иллюстрации](#)

[Примечания](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)

[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)

[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)
[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)
[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)
[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)
[120](#)
[121](#)
[122](#)

[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)
[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)
[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)
[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)
[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)
[162](#)
[163](#)
[164](#)
[165](#)
[166](#)
[167](#)

[168](#)
[169](#)
[170](#)
[171](#)
[172](#)
[173](#)
[174](#)
[175](#)
[176](#)
[177](#)
[178](#)
[179](#)
[180](#)
[181](#)
[182](#)
[183](#)
[184](#)
[185](#)
[186](#)
[187](#)
[188](#)
[189](#)
[190](#)
[191](#)
[192](#)
[193](#)
[194](#)
[195](#)
[196](#)
[197](#)
[198](#)
[199](#)
[200](#)
[201](#)
[202](#)
[203](#)
[204](#)
[205](#)
[206](#)
[207](#)
[208](#)
[209](#)
[210](#)
[211](#)
[212](#)

[213](#)
[214](#)
[215](#)
[216](#)
[217](#)
[218](#)
[219](#)
[220](#)
[221](#)
[222](#)
[223](#)
[224](#)
[225](#)
[226](#)
[227](#)
[228](#)
[229](#)
[230](#)
[231](#)
[232](#)
[233](#)
[234](#)
[235](#)
[236](#)
[237](#)
[238](#)
[239](#)
[240](#)
[241](#)
[242](#)
[243](#)
[244](#)
[245](#)
[246](#)
[247](#)
[248](#)
[249](#)
[250](#)
[251](#)
[252](#)
[253](#)
[254](#)
[255](#)
[256](#)
[257](#)

[258](#)
[259](#)
[260](#)
[261](#)
[262](#)
[263](#)
[264](#)
[265](#)
[266](#)
[267](#)
[268](#)
[269](#)
[270](#)
[271](#)
[272](#)
[273](#)
[274](#)
[275](#)
[276](#)
[277](#)
[278](#)
[279](#)
[280](#)
[281](#)
[282](#)
[283](#)
[284](#)
[285](#)
[286](#)
[287](#)
[288](#)
[289](#)
[290](#)
[291](#)
[292](#)
[293](#)
[294](#)
[295](#)
[296](#)
[297](#)
[298](#)
[299](#)
[300](#)
[301](#)
[302](#)

[303](#)
[304](#)
[305](#)
[306](#)
[307](#)
[308](#)
[309](#)
[310](#)
[311](#)
[312](#)
[313](#)
[314](#)
[315](#)
[316](#)
[317](#)
[318](#)
[319](#)
[320](#)
[321](#)
[322](#)
[323](#)
[324](#)
[325](#)
[326](#)
[327](#)
[328](#)
[329](#)
[330](#)
[331](#)
[332](#)
[333](#)
[334](#)
[335](#)
[336](#)
[337](#)
[338](#)
[339](#)
[340](#)
[341](#)
[342](#)
[343](#)
[344](#)
[345](#)
[346](#)
[347](#)

[348](#)
[349](#)
[350](#)
[351](#)
[352](#)
[353](#)
[354](#)
[355](#)
[356](#)
[357](#)
[358](#)
[359](#)
[360](#)
[361](#)
[362](#)
[363](#)
[364](#)
[365](#)
[366](#)
[367](#)
[368](#)
[369](#)
[370](#)
[371](#)
[372](#)
[373](#)
[374](#)
[375](#)
[376](#)
[377](#)
[378](#)
[379](#)
[380](#)
[381](#)
[382](#)
[383](#)
[384](#)
[385](#)
[386](#)
[387](#)
[388](#)
[389](#)
[390](#)
[391](#)
[392](#)

[393](#)
[394](#)
[395](#)
[396](#)
[397](#)
[398](#)
[399](#)
[400](#)
[401](#)
[402](#)
[403](#)
[404](#)
[405](#)
[406](#)
[407](#)
[408](#)
[409](#)
[410](#)
[411](#)
[412](#)
[413](#)
[414](#)
[415](#)
[416](#)
[417](#)
[418](#)

Annotation

Роман философа Льва Шестова и поэтессы Варвары Малахиевой-Мирович протекал в мире литературы – беседы о Шекспире, Канте, Ницше и Достоевском – и так и остался в письмах друг к другу. История любви к Варваре Григорьевне, трудные отношения с ее сестрой Анастасией становятся своеобразным прологом к «философии трагедии» Шестова и проливают свет на то, что подвигло его к экзистенциализму, – именно об этом белом пятне в биографии философа и рассказывает историк и прозаик Наталья Громова в новой книге «Потусторонний друг». В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Наталья Громова

Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой- Мирович в письмах и документах

Художник Андрей Бондаренко

В книге использованы изображения из личного архива Ан Лоран, семьи Шаховских-Шик, а также Рукописного отдела ИРЛИ РАН. Автор и “Редакция Елены Шубиной” благодарят за предоставленные фото

© Громова Н.А.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2021

© Домашний архив Шаховских-Шик

© ООО “Издательство АСТ”, 2021

Эта книга не могла бы появиться на свет, если бы Иван Дмитриевич и Наталья Дмитриевна Шаховские, а также Елена Старостенкова-Шик не предоставили мне возможность воспользоваться архивом Дмитрия

Михайловича Шаховского, где были обнаружены письма Льва Шестова Варваре Малахиевой-Мирович и письма Малахиевой-Мирович Леонилле Тарасовой.

Она не могла бы состояться без кропотливой работы Галины Петровны Мельник по расшифровке писем Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович и ее деятельного участия в сохранении памяти о Варваре Григорьевне.

Без огромной помощи и содействия Ксении Ворожихиной – сотрудника Института философии РАН – в исследовании газет, в которых печатались Лев Шестов, Варвара и Анастасия Мирович.

Очень ценным было участие внучатых племянниц Льва Шестова – Ан Лоран (Париж) и Татьяны Балаховской. Именно благодаря их помощи удалось попасть в библиотеку Сорбонны и дополнить книгу редкими документами.

Я хотела бы выразить особую благодарность филологу Александру Соболеву, опубликовавшему в своем ЖЖ очерк об Анастасии Мирович, которым мы с его разрешения воспользовались в этой книге.

И моя огромная благодарность Елене Лурье, моему другу и помощнику, с которой мы мучительно разбирали неясные места в письмах Льва Исааковича Шестова, а также моему мужу Борису Белкину, оказавшему помощь в переводах текстов с французского языка.

Основной корпус документов цитируется по материалам из библиотеки Сорбонны (*Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov*) и книге Н.Л. Барановой-Шестовой, а также по дневникам и письмам из архива В.Г. Малахиевой-Мирович, хранящимся в рукописном отделе Дома-музея Марины Цветаевой (ДМЦ)^[1]. Письма Шестова принадлежат семейному архиву Шаховских-Шик.

Орфография и пунктуация оригинала сохранена.

Наталья Громова

Потусторонний друг

История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович

Он боялся жизни. О, не за себя! О себе он точно забыл, когда взял первый попавшийся жребий личного устройства, пережив “крушение

своих наваждений”. Он боялся жизни за всех людей – прошедших, настоящих и будущих, за общий всем жребий ничтожества, страдания, смерти и темноты загробных судеб. Он как бы поднял на свои плечи ту ночь короля Лира (недаром Шекспир был так близок ему), когда под рев степной бури, под грохот грозы Лир говорит: “Нет виноватых. Я заступлюсь за всех”. О смерти же он не раз говорил: “Это последний и, может быть, самый верный шанс узнать, бессмертны мы или нет”. И еще: “Если бы оказалось, что за смертью нас ничего не ждет, что нет ни Бога, ни бессмертия души – не стоило бы после этого жить ни одной минуты”^[2].

Из дневника Варвары Малахиевой-Мирович

Претерпевший же до конца, спасется...

Мф. 24:13

Небольшое вступление

Большие и маленькие потертые тетради и блокноты. Желтая, белая бумага с выцветшими чернилами. Иногда обведенные кем-то целые страницы текста. В некоторых тетрадях – абзацы или имена, густо зачеркнутые синим. На форзаце каждого дневника, который я держала в руках, было выведено: “Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович”, год рождения и год смерти (1869–1954) и номер.

Варвара Григорьевна начала вести эти дневники в 1930 году, а закончила за два месяца до своего ухода в 1954-м. Назвала их “О преходящем и вечном”.

159 тетрадей были сложены в четыре картонные коробки. Около семи лет ушло на то, чтобы расшифровать записи, выделяя только самое ценное. Опубликовать все было просто невозможно, они составили бы не одну книгу с большим количеством повторов. Из этой работы и сложился “Маятник жизни моей” – первое и пока единственное издание дневников В.Г. Малахиевой-Мирович.

Одна из хранительниц дневников, Анна Степановна Веселовская, рассказала, что среди тетрадей должны быть письма Льва Шестова (Шварцмана) Варваре Мирович. Веселовская знала об этом от своей матери, Ольги Александровны Бессарабовой, близкой подруги В.Г. Но сколько ни искали письма в коробках, в тетрадях – их не было. Я не раз спрашивала о них крестника Варвары Григорьевны – скульптора и художника Д.М. Шаховского. Он говорил, что были. Но куда-то исчезли... Холодом веяло от этих слов.

Что же связывало Варвару Малахиеву (настоящая ее фамилия была Малафеева) и Льва Шварцмана, будущего философа-экзистенциалиста? В биографии, написанной его дочерью Н.Л. Барановой-Шестовой, было сказано, что Шестов много лет дружил с Варварой и помогал ей работой и деньгами. Но при этом в книге Барановой-Шестовой приводились письма Варвары Григорьевны Льву Исааковичу, которые недвусмысленно указывали на особый характер их отношений. Там же говорилось и о сестре Варвары – Анастасии, которой Лев Шестов почему-то сделал предложение. Его родители были категорически против этого брака: она была православная, а он иудей. Далее описывалось его стремительное бегство за границу. Спустя год после этих событий – женитьба на Анне Березовской – матери Натальи Барановой-Шестовой. Оказалось, что брак был заключен только десять лет спустя втайне от отца Шестова. Возникало множество вопросов, на которые не было ответов.

Однако же в дневниковых воспоминаниях Малахиевой-Мирович однозначно говорилось, что Лев Шестов любил ее, но многое их разделяло и разводило. Когда я впервые читала эти тетради, мне даже показалось, что Варвара Григорьевна сильно преувеличивает. Ведь сам Лев Шестов нигде и никогда не упоминал об их связи. Никаких прямых свидетельств об этом не было и в близком кругу Шестова.

А Варвара Григорьевна писала так: “У него было и раньше, в первый год нашей встречи сложное, глубокое, жертвенное, всепоглощающее ко мне отношение, на которое тогда мне было нечем ответить в равной мере”. Возможно, это был соблазн, посетивший Мирович на старости лет, представить все так, будто именно она определила судьбу известного философа.

Но что же тогда соединило Шестова с сестрой Варвары Анастасией? Почему именно она, а не Малахиева-Мирович стала той несчастной оставленной невестой, от которой будущий философ был вынужден отказаться под давлением родителей? И к чему все это привело?

Только письма могли открыть завесу над неизвестной драмой, о которой в биографии Льва Шестова были лишь туманные намеки. Ведь те события, несомненно, повлияли на превращение киевского литератора Лёли Шварцмана в Льва Шестова – философа-экзистенциалиста, автора знаменитого “Апофеоза беспочвенности”.

И вот через восемь лет после выхода дневников Варвары Малахиевой-Мирович долгожданная находка! При разборе домашнего архива Шаховских обнаружили 20 писем Льва Шестова Варваре Мирович, разрозненных, без начала и конца. Но именно в них стала проступать история любви, в водовороте которой и возникла философия трагедии Льва Шестова.

Киев, лето 1895 года

В своих дневниках, уже после смерти Шестова, Варвара Григорьевна назвала его “потусторонним другом”. Она часто записывала свои сны. В одном из таких видений ей явился Лев Исаакович, с которым у нее состоялся причудливый диалог. Шестова уже одиннадцать лет не было на свете, а восьмидесятилетней Малахией-Мирович оставалось жить всего пять лет. Именно в запредельном диалоге вдруг открылась картина их первой встречи и начала отношений:

Разговор с потусторонним другом. (Покойный Шестов спрашивает Варвару о том, что ей запомнилось сильнее всего во время их первой встречи.)

– Начните с того, о чем вы думали, что вспоминали, когда почувствовали, что я приблизился к орбите души вашей.

– О том, – сказала я, – о чем мы говорили с вами в первый день нашего знакомства, когда вы провожали меня от Тарасовых к дому, где я жила, недалеко от Храма Андрея Первозванного (в Киеве). И мы с вами опустились на ступени храма, – задумчиво продолжала я, – и загляделись на безбрежные синие дали Заднепровья, в первых лучах рассвета. Мы долго молчали, а потом вы заговорили об искушении Христа диаволом: если Ты сын Божий, то бросься с вершины этой горы, и Отец Твой пошлет ангелов своих поддерживать Тебя, и Ты не преткнешься ногой о камень – и даст Тебе Отец Твой все богатства мира и славу их, если поклонишься мне. И о власти превращения камней в хлебы...^[3]

Почему они заговорили именно об искушениях Христа? Наверное, им казалось, что испытания были приуготовлены каждому из них. На преодоление искушений уйдет вся жизнь. “Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть”^[4], – напишет Шестов в книге “Апофеоз беспочвенности”, и эта мысль будет самой дорогой для него. А Варвара на свой лад перескажет его слова на страницах дневника: “Если мы дети Бога, то нам не надо ничего бояться и ни о чем жалеть”.

Она не раз будет вспоминать эту встречу, говоря о “расширенном сознании”^[5], то есть о состоянии, когда ее душа касалась “иной страны, иного бытия”. “В 26–27 лет – писала она, перечисляя исключительные мгновения жизни, – ранним утром у портала Андреевской Церкви в Киеве пережитое вместе с Л.И. отречение от «всего богатства мира и славы его» (после чтения евангелия об искушении Христа диаволом)”^[6].

Познакомились они, как следует из рассказа Варвары, в госпитальной квартире врача Константина Тарасова. Оттуда Лёля

Шварцман (именно так звали тогда будущего философа) отправился проводить ее домой. Видимо, они гуляли всю ночь. Летним утром, когда Лёля и Варвара сидели на ступенях и смотрели на восход солнца над Андреевской церковью, у каждого из них в жизни начинался новый этап, о котором они еще не догадывались.

Для Льва Шварцмана – это время мучительных раздумий, связанных с выбором будущего. Он был старшим сыном Исаака Моисеевича Шварцмана, крупного коммерсанта, создавшего большое дело – “Мануфактурные склады Исаака Шварцмана”. В семье помимо него было еще два младших брата и четыре сестры. Главная цель, которую ставил перед ним властный отец, – продолжение семейного дела. И хотя Лев, вероятно, пытался сойти с предначертанного пути – отучился на физико-математическом факультете Московского университета, затем перевелся на юридический Киевского университета, который окончил в 1889 году, увлекался марксизмом и социальными теориями, подготовил диссертацию “О положении рабочего класса в России”, впоследствии запрещенную цензурой, занимался литературой и философией, писал рассказы, очерки, статьи, которые уже печатали в киевской ежедневной газете “Жизнь и искусство”^[7] и в “Киевском слове”, – это не представлялось возможным.

Однако примириться с родительским выбором он до конца не мог. Чем дальше, тем больше ему становилось очевидно, что, если он посвятит свою жизнь семейной торговле сукнами, это обернется для него настоящей катастрофой. Но при этом решимости пойти против воли отца у Льва не было. Если бы он был уверен, что его призвание в литературе, которую беззаветно любил, то это дало бы ему силы. Однако настоящим писателем он себя не чувствовал. Он страстно читал Евангелие, философские книги, пытаясь найти свое место в мире.

“В 23 года я начал замечать, – размышлял он в одной из своих ранних записей, – что почва которой я держусь не совсем тверда. Т. е. я заметил разлад, дисгармонию между тем миром, какой представлялся мне в воображении и миром действительности. Я стал замечать, что я не только несчастнейший человек, но и несмотря на охраняемый в душе свой клад, я как будто самый несчастный человек и страшно было мне впервые вымолвить это слово – литературный неудачник”^[8].

Варвара, которой в пору знакомства с Шестовым было уже двадцать шесть лет, тоже терзалась противоречивыми мыслями и желаниями. Она родилась в 1869 году в Киеве. Ее отец был мистиком, богоискателем, странником и философом-самоучкой, что, видимо, определило и ее духовную природу. Она была необычной с детства. В девять лет решила, что способна воскрешать мертвых. “Я обещала осиротевшей двоюродной сестре Маше, – писала она спустя годы в дневнике, – что весной, как только можно будет пройти на кладбище, я воскрешу ее мать. Когда я услышала от бабушки, что только Христос и немногие святые делали такие чудеса, я решила прибегнуть к

чудотворному кресту с частичкой мощей, который хранился в нашем кивоте. И велика была горечь моего недоумения, когда взрослые мне разъяснили, что и чудотворный крест тут не поможет и что вообще чудеса были раньше, а теперь «давным-давно уже никто не воскресаёт»^[9]. С юности ее захватили революционные идеи “Народной воли”. С подругой Леониллой (будущей женой Константина Тарасова) они отказались от Бога и церкви. Веру им заменили беседы о Желябове, Перовской, страданиях народа и “ужасах царизма”. В восемнадцать лет Варвара отправилась на станцию Грязи торговать книгами, чтобы заработать денег на освобождение узников из тюрем. Но торговля шла плохо, и вскоре ее стала тяготить партийная дисциплина; в революцию верилось все меньше, и, как следствие, началась депрессия, возникло непонимание, для чего жить дальше. Участились нервные приступы с мыслями о самоубийстве. Варваре помог врач-психиатр, лечивший ее от “нервов”, и так случилось, что он завладел ее чувствами. Звали его доктор Петровский^[10]. “Он был красив, – писала Варвара подруге, – музыкальный, редкого тембра голос в разговоре всегда звучал, как дивная музыка, и прекрасные глаза – большие, темно-карие, с выражением мысли, благородства и какого-то скрытого огня. Ему было 24, мне 22 года. Он через 13 лет после нашей встречи говорил, что в этот период он тоже «любил» меня, потому и избегал. Он был женат с 19 лет. От 22 до 26-ти лет я жила с этим Эросом. В нем была уже и страсть. Мне снились наяву, т. е. пробрались в жизнь яркие образы объятий, лобзаний невестинского характера, но таких всепоглощающих и таких пламенных, каких в реальном мире даже не может быть. Мы виделись средним числом раза три-четыре в год, всегда на людях. Раз, встретив его в театре, я лишилась чувств от потрясения. 26-ти лет я из Воронежа написала ему свое «я к вам пишу, чего же боле». Ответ был совсем Онегинский: «не всякий вас, как я поймет, к беде неопытность ведет». Это было огромное, уже по-женски испытанное горе”^[11].

В это же время Варвара публиковала в киевских литературных газетах свои стихи и рассказы. И многие находили ее литературный дар многообещающим. Одним из ценителей ее творчества был Лёля Шварцман.

Варвару терзало ощущение нескладывающейся жизни, опустошенности и несчастной любви. А Лёлю, помимо назревающего семейного конфликта, еще и чувство огромной вины, которую он ничем не мог искупить. Это была тайна, постепенно ставшая всем известной. В 1891 году в их собственном доме он сблизился с горничной Анютой Листопадовой. “Плодом греха” стал внебрачный сын Сергей, родившийся в 1892 году. Семья Шварцманов пристроила Анну и ребенка в Москве, где ее обеспечили жильем и работой. Сергей сначала жил с матерью, а потом его отдали в семью журналиста Игнатова^[12]. Учился он в московской гимназии. Но Лев Шварцман прекрасно

понимал, на что обрек жизни Анны и своего незаконного сына. Женщина начала пить и быстро опустилась.

Под знаком этих горестей и невзгод проходили первые встречи Варвары и Льва Шварцмана.

И еще одно свидетельство их первых свиданий и встреч летом 1895 года. “Другой сон – приехал Л.И. Шестов, – писала В.Г. в дневниках. – Не старик, каким стал (68 лет!), а тридцатилетний, как в год нашей встречи. И я молода. Мы в каком-то чужом доме. Он рассказывает, что-то об эмигрантах, о Бальмонте, о Бердяеве. И не обращает на меня никакого внимания. Я болезненно и недоуменно воспринимаю это. И, наконец, решаю уйти. Выхожу в соседнюю полутемную комнату – и здесь он догоняет меня и обнимает с величайшей, только во сне возможной по насыщенности, силе и значительности – лаской. И слышу слова: я не мог иначе.

А в жизни это было совсем не так – ущербно, горестно, почти мучительно. Он провожал меня летом на рассвете из госпиталя, от Тарасовых. И когда мы стояли на площадке лестницы, и я уже позвонила, вдруг обнял меня и припал к моему лицу с поцелуем, в котором было какое-то отчаяние”^[13].

Под знаком отчаяния будет протекать весь короткий период тех отношений: страстных со стороны Льва Исааковича и дружески-любовных со стороны Варвары. Но оказалось, что той истории любви, которая началась на ступенях Андреевской церкви, хватило на целую жизнь обоих героев.

Как говорилось выше, большая докторская квартира, где они познакомились, принадлежала семье Тарасовых – Константину Прокофьевичу и его жене, подруге детства Варвары, Леонилле. Варвара, когда приезжала из Воронежа, где жили ее мать, братья и сестры, останавливалась у Тарасовых много раз. Именно в этой семье родится знаменитая актриса, которую Варвара будет опекать и наставлять, – Алла Тарасова.

“«Госпиталь», т. е. обитавшая в нем семья смотрителя психиатрического отделения Тарасова, – писала в дневнике Варвара, – был в то время одним из культурных центров Киева. Помимо постоянных приходов и уходов гостей и подруг (из них некоторые, как, например, я, Полина Урвачева и другие, жили месяцами) в некоторые торжественные дни, чьи-нибудь именины, Рождество, Пасха, масленица, – собиралось до 20 человек гостей из профессоров медицинского и литературного круга. Блистала и привлекала к себе своей редкой красотой на этих вечерах сводная сестра Леониллы, Таля (Наталья Николаевна Кульженко^[14]). Побывали в госпитале и Минский^[15], и Волынский^[16], когда приезжали в Киев выступать на вечерах. Нередко подлетали рысаки, привозившие кого-нибудь из семьи миллионеров сахарозаводчиков Балаховских. Для встречи со мною нередко заходил Шестов (тогда еще не писатель, а заведующий мануфактурным делом

отца, Лёля Шварцман – «богоискатель» не расставался с карманным евангелием). «Высоконравственный человек, Христос», – сказал о нем однажды старый Герц Балаховский – свекор его сестры, равно далекий и от Христа, и от каких бы то ни было норм нравственности”^[17].

Как развивались их отношения в первые дни знакомства, нам неизвестно. Но мы знаем, что Варвара, скорее всего, именно у Тарасовых встретила сестрой Льва Исааковича – Софьей Исааковной Балаховской, которая предложила ей место учительницы своих детей в усадьбе Переверзовка. Варвара, которая была тогда без средств к существованию, согласилась.

“Сестра Шестова, также одна из самых красивых женщин Киева, Софья Исааковна (у которой я одно время была чем-то вроде гувернантки, для того, чтобы съездить за границу), любила «госпиталь», атмосферу тарасовского дома, в частности, отца семьи, который охотно дружил с ней и даже вопреки своим обычаям сам приходил к ней слушать фисгармонию. Софья Исааковна была очень музыкальна и великолепно исполняла Баха, Цезаря Франка и других классиков. Помню ее высокую фигуру царственной стройности, с прекрасными «загадочными» глазами, чудную линию бровей над ними, короткий, немного нубийский профиль. Массу черных без блеска волос, греческим узлом тяготивших затылок ее маленькой головы. Очаровательную неожиданно доверчивую, застенчиво-манящую улыбку на неприступно надменном лице. Ее тихий, однотонный, чуть глухой голос. Ее почти постоянную печальность. («Незачем жить». «Для чего все».) И временами пансионерскую смешливость и даже шаловливость”^[18], – такой портрет Балаховской нарисовала Варвара в мемуарных записях дневника.

Но прежде чем мы обратимся к переписке наших героев, мы еще раз отступим на шаг назад и посмотрим на картину, самоиронично описанную в дневнике Малахией-Мирович, где сходятся два времени – время старости, когда в послевоенные годы она вынуждена была существовать в роли почти что приживалки в доме сталинской лауреатки Аллы Тарасовой и ее матери Леониллы, своей старой подруги, – и конец XIX века, когда Аллы еще нет на свете, а в киевской гостиной тарасовского дома влюбленный в нее Лёля Шварцман поет романсы и арии:

Прохожу сейчас мимо раскрытых дверей Аллиной комнаты и оттуда врывается в мое сознание, омраченное и озабоченное отсутствием сахара к вечернему чаю – знакомая мелодия. И не из Аллиной комнаты она, а из киевской госпитальной Тарасовской квартиры. И поет ее не Лемешев по радио, а Л.И. Шестов (тогда Лёля Шварцман). И слушает ее, остановившись с чайником кипятку, с апельсиновыми корками в руках не в клетчатом лапсердаке пего-седая, полуглухая старуха

Мирович, а 26-летняя кудрявоволосая, цветущая женщина под ласкающе-влюбленным взглядом певца:

Отчего побледнела весной
Пышноцветная роза сама?
Отчего под росистой травой
Голубая фиалка нема...^[19]

И чувствует себя эта в киевской сводчатой Тарасовской гостиной стоящая у рояля молодая женщина, пышно цветущей розой, о которой поется в романсе, а не беззубой старухой в клетчатой кофте, прислонившейся к косяку дверей так, чтобы Алла и генерал ее не увидели, и прозаически плачевным *memento mori* в ее образе не испортили себе настроения, порожденного романсом.

И вот уже выпит чай с сахаром. Алла, пока я была в кухне, положила на мой стол 4 куска сахара. Должно быть, от кого-нибудь из домашних услышав, что я три дня не могу пробиться в коммерческом магазине к кондитерскому прилавку и три дня уже пью апельсиновые корки и толокно без сахара.

И вот уже нет во мне обеих слушательниц Чайковской любовной жалобы. Вместо них водит моим пером некто, через кого они скользят, как преходящие тени, в то время как он остается вне молодости и вне старости, свидетель пережитого ими, несущий их опыт в дальнейшие свои воплощения.

И пробудилось в памяти пятьдесят лет тому назад в киевские дни родившееся стихотворение.

И звучит как романс (голосом Л.И.) под чайковско-мировичевскую музыку. Жалею, что не знаю нот, и не могу поэтому его записать с его мелодией. А слова вот какие:

О, тишина воспоминаний дальних,
Могил затерянных высокая трава,
Вечерний перезвон колоколов печальных
Надгробных камней стертые слова.

О сны минувшие! Порой милее счастья,
Чуть уловимый тихий ваш привет,
Где бурные огни любви, страданий страсти
Слились в туманно-звездный полусвет.

Душа, задумавшись, свой жребий постигает,
И в звездных письменах, неведомой рукой
Над нею в вышине начертанных, читает:
“Прощенье и покой”^[20].

Лев Исаакович Шварцман прекрасно пел и даже думал об оперной карьере. Возможно, музыка и пение помогали ему выразить то, что часто лежало под спудом и чего он не мог высказать открыто.

У Льва Шестова был обаятельного тембра голос и высоко артистическая манера пения. Он готовился перед этим к карьере певца и часто говорил потом, что променял бы на пение свое писательство, если бы не пропал голос (для сцены, камерным певцом он мог бы оставаться и при изменившихся голосовых средствах). Лев Шестов пел из Риголетто, из Джиоконды, из Севильского цирюльника, Шаляпинские (и не хуже Шаляпина) “В двенадцать часов по ночам”, элегию Массне, “О поле, поле, кто тебя...”^[21].

Переверзовка, лето 1895 года

Имение Переверзовка с парком в соседних Пенах^[22], где были заводы, принадлежавшие богатому клану сахарозаводчиков Балаховских, находилось в Курской губернии. Оно лежало как раз на пересечении дорог из Москвы в Киев и из Воронежа в Киев, что для Варвары Григорьевны было очень удобно. Ее мать с братьями и сестрами жила в Воронеже, а в Киеве, где она родилась, жили ее друзья и находились редакции газет, в которых она печаталась.

Варвара учила здесь детей Балаховских. Сюда к своим родственникам, а как оказалось, по большей части к ней, стал часто наведываться ее недавний друг и поклонник Лёля Шварцман. В поздних дневниках она вспоминала один из пережитых вместе с ним дней как особенный, называя его “эдемским утром в Пенах”. Что произошло в тот день, мы не знаем, но известно, что они часами бродили по дорожкам парка и это очень раздражало родственников молодого человека: “...мать Даниила Балаховского возмущалась отношением Л. Ш. ко мне: «Влюбился в бонну, гойю, оборванку!»” – вспоминала Варвара.

Как-то к ним даже попытались подослать мальчика-наушника, чтобы узнать, не задумывают ли они что-то во время своих прогулок.

“Термин «философия и литература» как характер нашего общения, – писала В.Г. в дневнике, – зародился в те дни от случайно подслушанных слов маленького шпиона, гимназиста Юзика, который по соглашению с любопытствующей немкой-бонной, взялся проследить, о чем мы говорим целыми днями. Немка завистливо и ревниво возмущалась: «*Wo ist die Fräulein, da ist der Bruder, wo ist der Bruder, da ist Fräulein*»^[23]. Я была тоже на положении бонны, но более квалифицированной в миллионерском доме сестры Л. Ш. И ревность

немки относилась не к тому, что «*sie sind beide verlobten*»^[24], а к тому, что я из бонн могла попасть на высшую, недоступную ей ступень социальной лестницы. Подкупленный вареньем и другими лакомствами (немка была так же и экономкой), Юзик то и дело вырастал из-за кустов над нашими головами, когда я гуляла в парке или в лесу с детьми и с Bruder'ом. Вскоре ему это надоело. И он громко признался в безрезультатности своего шпионажа. «Когда не подойдешь к ним, только и слышишь философию да литературу», – жаловался он. Ницше, Толстой, Достоевский, Шекспир были нашими ежедневными, неубывными темами. Лирическая же область наполнялась только пенем»^[25].

В июле Лев Исаакович написал Варваре из Москвы, где он мог оказаться по делам отца, а заодно навещать незаконного сына, очень эмоциональное по тону письмо. Все-таки помимо “философии да литературы” между ними шел какой-то очень напряженный диалог, отзвуки которого возникают в письмах.

С первых же страниц он говорил, что ждал от нее письма и наконец дождался, и теперь распечатывает его дрожащими от нетерпения руками. Что, увидев обращение “друг мой”, испытал прилив счастья. А затем он пытается уберечь ее от дурных мыслей о смерти, от неверия в Бога, от ощущения собственной ничтожности:

Я видел Вас, я слышал Вас тогда, когда Вы обо мне не думали – и знаю, что в Вас есть и Бог и вера – только Вы не можете осознать их в своем истерзанном и больном сердце. Немного покоя, немного того бальзама, который щедрая для всех природа не хотела дать нам с Вами, немного счастья – и Ваши глаза снова увидят Бога в своем сердце, как видели они его в те дни, когда Вы еще не взяли на свои плечи непосильной ноши вечного одиночества. О, Варвара Григорьевна, я знаю это чувство, я знаю, что значит страдать, я понимаю, как истерзанный человек не верит ни в Творца, ни в людей – но этот человек носит в себе больше, чем те люди, которые, не зная скорби, говорят о святости веры...^[26]

Несмотря на то что это письмо влюбленного, в нем звучат главные темы будущих размышлений философа Льва Шестова. Одна из них может быть сформулирована так: жизнь, в которой отсутствует Бог, теряет смысл. Без трагедии и страдания нет понимания реальности.

Но пока это только подходы, своего рода увертюры будущей симфонии.

Главная тема первого обретенного нами (хотя оно явно не первое!) письма сводится к тому, что Лев Исаакович пытается защитить Варвару от юного Мити Балаховского^[27], брата Даниила Григорьевича. Митя, талантливый юноша, ученый, яростный спорщик и будущий знаменитый изобретатель, видимо, напал на Варвару Григорьевну, пытаясь найти

бреши в ее пошатнувшемся материалистическом мировоззрении. Это был человек очень современный, моложе ее на десять лет.

Лев Исаакович защищает Варвару не только от материалистов и социалистов, когда-то ему очень близких, он с яростью Дон Кихота, отстаивающего честь своей Дульсинеи, ограждает ее от новых людей, утверждая ее право быть самой собой как отдельного, независимого человека со своим духовным опытом и уникальностью:

...И, посмотрите, что у них за вера! Это политический материализм! Да знаете ли вы, что это такое этот экономический материализм, эта красивая комбинация иностранных слов, под которой кроется приговор миллионам людей?

Уговаривая ее не поддаваться речам материалистов и марксистов, он говорит, что все их речи сводятся только к тому, что страдания нынешних поколений, и ее в частности, обязательно окупятся через десяток поколений. Что до живых людей им нет никакого дела. В том числе и до нее. А ведь она обладает высочайшими душевными качествами, которые дались ей настоящим страданием.

Он говорит ей о своей любви, но не напрямую, не понуждая ее к какому-нибудь ответу. Он пишет, что готов принять от нее все – лучшее и худшее, дурное и хорошее – и будет принимать всегда с радостью, потому что получил огромные дары и счастлив будет вернуть ей то, что принял от нее:

Я Вас увидел, я Вас услышал – и я сам стал иным человеком. Мне кажется, что, как я не исстрадался в сознании невозможности придти к Вам, я с тех пор, как увидел, узнал Вас, стал вдесятеро, в сто раз лучше и сильнее. И, если Вы можете придать столько веры и бодрости человеку, значит есть и в Вас сила и вера.

И заканчивает свое письмо уже с жаром настоящей страсти:

Я бы всю ночь не переставая писал Вам, так полно сердце и так рвется оно беседовать с Вами, с Вами одной. Жму крепко Вашу руку, ту руку, которую я хотел бы покрывать тысячами поцелуев, если бы имел на это право.

В августе 1895 года, после отъезда Льва Исааковича из имения, Варвара написала ему вслед два письма, одно датировано 11 августа 1895-го и, видимо, писалось несколько дней:

Как грустно смотрит лес и озеро и вся Переверзовка после Вашего отъезда! Я очень привыкла к Вам и поняла Вас лучше и Ваша близость стала мне дорогой. <...> Вы сделали меня лучше, чем я была раньше, дотронулись до белья, которое заслоняло мне часть мира, и бельмо стало проходить, и я стала яснее видеть то, что было мне неясным, что я предчувствовала только, но что, я верю, станет частью моего сердца.

<...>

И как хорошо, что Вам дано делать это “другое” почти везде, где Вы не появились. И если бы не Ваши дела с сукнами, Вы создали бы себе путь в жизни, не похожий на другие пути. Трудный, но без фальши и компромиссов, ведущий к правде...

Их взаимные обращения как спасителей душ друг друга – рифмуются.

Варвара – к нему:

...И когда Вы будете умирать, то Ваша встреча со мной даст мир Вашей совести, хотя бы Вы ничего другого не сделали в жизни.

Она тоже считала, что он спас ее душу, открыв ей зрение и слух.
Лев Исаакович – к ней:

...И помните, что, если бы вы ничего больше не сделали за всю свою жизнь, что если бы Вам только удалось оживить одного человека, то и это великое дело, из-за которого стоит жить.

Но истинный смысл обращенных к ней слов, хотя отвечала ему с той же интонацией, которую он задал своими письмами, открылся ей намного позже. Лишь потом в дневниках Варвара Григорьевна смогла должным образом оценить тот порыв, тот дар, который получила от него. “Душа выросла в нем, – писала она. – Помог тогда расти человек, которого я тогда не могла полюбить, но который полюбил меня сильной, горячей, в смысле настоящести, высшего полета любовью, богоискатель-философ – потом прошедший путь ницшеанства, теперь длинным окольным путем пришедший к вере в Бога (Лев Шестов)”^[28].

Осень 1895 года

Скорее всего, Варвара всячески уговаривала Льва Исааковича отойти “от суконного рабства”, то есть от службы в мануфактурном деле отца, тем самым выражая веру в то, что он способен на нечто большее. Для него это было важнее всего. Сам факт, что любимая женщина благословляет его на особый путь, придавал ему уверенности, что очень скоро все изменится. Разумеется, этому выбору мешала отцовская воля. Забегая вперед, нельзя не сказать, что именно назревающая драма отношений Льва Исааковича и Варвары Григорьевны разорвет гордиев узел суконного рабства будущего философа.

То, в каком сложном положении уже давно пребывал Лев Шварцман, видно из письма его близкого друга Работникова^[29], который, вероятно, служил какое-то время у его отца в мануфактуре. Молодых людей связывали многолетние дружеские отношения. Работников, как и Лев Исаакович, печатается в киевских газетах, мечтает быть литератором или философом. Но по отношению к своему молодому другу Льву Шварцману (он старше его на шесть лет) он – некий ментор, который постоянно отчитывает его за те или иные проступки.

В июньском письме 1895 года Работников упрекает его:

...То, что ты приписываешь мне по отношению к твоим родителям не имело места в действительности, а сверх того и в голову мне не приходило. Жалко, что ты заблуждаешься, и с удивлением прочел те строки твоего письма, в которых ты таким убежденным тоном говоришь будто я “требовал” (на самом деле или в душе), чтобы ты “бросил” родителей, чтобы ты “мстил” им и прочее. Тем более жалею, что тебе должно быть хорошо известно, что в продолжении десяти лет ты от меня не слыхал ни одного дурного слова о твоих родителях. Только перед отъездом у меня, кажется, вырвалось недовольное замечание – одно, в первый раз и при исключительных обстоятельствах. Вообще-то о твоих родных я перед отъездом мало думал; не до них мне признаться, и поэтому могу повторить еще раз: жалею о твоём заблуждении. Вместо того, чтобы казнить по одному лишь подозрению, гуманно было бы сначала восстановить факт виновности...

Советовал ли Работников Льву Исааковичу или нет бросить родителей, то есть родительское дело, ясно одно: тот буквально слышит эти слова в себе. Оставить дела с “сукнами” – это и есть в

понимании Шварцманов “бросить” родителей. Но он старший сын. На него сделана основная ставка.

Дальнейший текст письма тоже свидетельствует о неравных отношениях между ними. Работников несколько высокомерно пишет, будто бы Лев Исаакович утверждает, что друг в нем “разочаровался” и предал его анафеме.

“Для устранения всяких недоразумений скажу тебе, что считаю тебя хорошим человеком, но слабым человеком. Не отрицаю, что слабость может довести человека до скверных поступков, в которых он будет раскаиваться, но между моими словами и анафемой всякий увидит пропасть”, – холодно подытоживает он.

Но самый необычный – последний пассаж письма. Работников, отвечая на упреки друга в том, что у того есть связь с женщиной, от которой у него трое детей, и на слова, что это безнравственно, раздражается насмешками в адрес Льва Исааковича, заявляя, что тот описывает свою личность “истерически высоким слогом”, что говорить с ним о женщинах не представляется возможным, потому что тот вообще ничего в них не понимает: “...любви ты не испытал, женщин не знаешь и судишь о них почти как розовый юноша”.

Вот таким его видит товарищ – нелепым гимназистом тридцати лет. Но, похоже, Работников не все знал о своем друге.

В августе в трех выпусках газеты “Жизнь и искусство” вышли несколько стихов и рассказ Варвары Григорьевны, подписанные ее собственной фамилией “Малафеева”. В том же письме, которое уже цитировалось выше (11-14 августа 1895 года), она дает поручение Льву Исааковичу, сменив возвышенный тон на лукавую просьбу о приобретении для нее корсета:

И вот опять отвлеклась от цели письма. Цель его прозаическая. Нужно узнать в редакции размеры гонорара за недавно напечатанный в “Жизни и Искусстве” бессодержательный рассказ – В. Малафеевой “В мае”^[30].

Если Вам не неловко это – узнайте, пожалуйста, и, если гонорар превышает 20 рублей, возьмите излишек и купите на фабрике у Дюта корсет (ценой от 3-х до 5-ти рублей), низкий (короткий) в 5-6 сантиметров. Оказывается, что без него нельзя шить платья. А платье, как Вы сами видели, мне необходимо. Простите за поручение дамского характера. Вышлите его отдельно от других вещей. [*Tout le monde*]^[31] будет шокирован, если узнает, что Вы выбирали для меня корсет.

Трудно себе представить такое поручение, как покупку корсета женщине, о которой возлюбленный только вздыхает. Что это? Скорее всего, ощущение своей власти и, конечно же, отсутствие страха

потерять его. А ее рассказ, о котором она, несомненно, рисуясь перед ним, говорит как о “бессодержательном”, был довольно-таки необычным, особенно в русле истории, которая развернется позже. В рассказе “В мае” говорилось о двух сестрах, влюбленных в одного молодого человека, и о том разладе, который между ними из-за этого возник.

Буквально через день, 16 августа, Варвара отправляет Льву Исааковичу послание совсем другого рода. Возможно, между ними только что произошло неловкое объяснение или, наоборот, многое осталось недосказанным, и она как-то хочет ослабить возникшее напряжение. Но получается не очень хорошо:

Зачем, друг мой, столько любви и столько чисто юношеской идеализации? Я не перестану повторять, что это идеализация, и придет время, когда Вы увидите, что я права. <...>

Вы просите прощения за ощущение страсти, которую испытали в гостинице, когда я положила свою руку на Вашу руку. Мне не в чем Вас прощать. Я не девочка, и я знала, что это так было. Но только я не думала об этом. И это, конечно, моя вина. А оправдание в том, что мне так хотелось Вас утешить. Говорить нежно и ласково я не умею – у меня всегда это звучит как-то насмешливо. И я протянула Вам руку. А потом я почувствовала, что Вы взволнованы. И еще раз я почувствовала это под гимнастикой в тот вечер, когда мы были у Шлейфов. Тогда я дала Вам цветок никоцианы. И в прикосновении Вашей руки, в Вашем взгляде было что-то, смутившее меня и поднявшее в моей душе опасение за Ваше будущее, за будущее наших отношений. Они должны быть чисты, друг мой, чисты, как взгляд Христа, протянувшего руку Марии^[32].

Драма была, видимо, еще и в том, что темпераменту тридцатилетнего Льва Шварцмана не было выхода. Находиться рядом с любимой женщиной, которая держит на расстоянии, было мучительно, но он готов был ждать в надежде, что все еще может измениться.

Потом Варвара напишет в дневнике о своем состоянии в те дни: “Неопытное сердце, еще не заживившее недавней раны своей фантастической и безнадежной любви (к доктору П.), не понимало, что настал час его обручения. Чувствовало в религиозном порядке важность этой встречи, но прислушивалось в ней только «к философии и литературе», пугалось всякого намека на возможность брачного характера отношений^[33]”.

А тем временем впереди маячила разлука. Осенью семья Балаховских уезжала с детьми за границу, и Варвара Григорьевна, которая считала, что работа гувернантки была нужна ей именно для

того, чтобы увидеть Италию и другие страны Европы, казалось бы, добилась того, чего желала.

Для Льва Исааковича после нескольких месяцев встреч, писем, любовных признаний ее отъезд, несомненно, стал драмой. С появлением Варвары для него вдруг забрезжил впереди некий свет.

Спустя двадцать пять лет Лев Шестов будет недолго вести “Дневник мыслей”. В нем осталась загадочная запись от 11 июня 1920 года: “В этом году исполняется двадцатипятилетие, как «распалась связь времен», или, вернее, исполнится – ранней осенью, *в начале сентября* (выделено мной. – Н. Г.). Записываю, чтобы не забыть: самые крупные события жизни – о них же никто, кроме тебя, ничего не знает – легко забываются”^[34].

Дата этого “крупного” (!) события приходилась на начало сентября 1895 года. О чем же могла идти речь? Только что прозвучало августовское письмо Варвары, где есть упоминание о каком-то сложном объяснении между ними. Но Лев Исаакович писал, что именно в начале сентября “распалась связь времен”. Может быть, он имел в виду свой разрыв с прошлым? Разъединение с отцовским представлением о его будущем? Именно в это время Лев Исаакович думал и писал о Гамлете. Но он понимал эту драму не так, как привыкли мы и та публика, которая видела трагедию на сцене. В своей работе он настаивал именно на слабости принца Датского, на его нежелании делать выбор, которого от него требовал Призрак отца. “Пала связь времен, зачем же я связать ее рожден, – писал Л.И. спустя время в знаменитой работе «Апофеоз беспочвенности». – Это значит – прежняя, бессознательная, дающаяся нам всем даром вера в целесообразность и осмысленность человеческой жизни рушилась. Нужно сейчас же, *немедленно* найти новую веру – иначе жизнь обращается в непрерывную, невыносимую пытку. Но как это сделать? Где найти веру? И есть ли такая вера на земле?”^[35]

Здесь, в “распавшейся связи времен”, для Льва Шварцмана сплелось все: и выбор судьбы, и возможный разрыв с верой отцов, и любовь к женщине, которая, хотя и ускользает от него, но дарит ему вдохновение.

Возможно, на обстоятельства того кризиса указывает запись в дневниках Варвары Григорьевны об усилившихся мучениях его в поисках веры. Она цитирует его сокровенное признание:

Когда я понял, что Бога нет – у меня нет, – потому что тот, какого мне подают ритуалы разных религий, для меня не существует и та замена, какую предлагают те или другие философы, Того Бога, какого я ищу, мне заменить не может, и что Того, кого я ищу, может быть, и нет – а я без него не могу принять жизнь – я бился головой о стену и

зарывшись в подушки стонал и рычал напролет целые ночи, как от неноснейшей физической боли^[36].

Лев Исаакович, как и Гамлет, усомнился в справедливости законов, по которым устроено человеческое мироздание. Но это не могло быть событием, имеющим четкие временные границы. Однако он ясно пишет, что с ним что-то *произошло*. Ответа на вопрос, что же с ним случилось в начале сентября двадцать пять лет назад (отсчитывая от дневниковой записи сентября 1920 года), у нас нет, но, возможно, он еще отыщется.

А тем временем Варвара собирается за границу и ненадолго уезжает в Воронеж, чтобы проститься с матерью и своей младшей сестрой. Возможно, именно тогда ей пришло в голову предложить Насе пожить в Киеве и тоже побыть воспитательницей. В письме Льву Исааковичу из Воронежа Варвара еще раз проясняет смысл своей поездки:

На Италию смотрю как на лекарство и на печальную необходимость. Красоты ее не трогают меня. И будь моя голова посвежее и нервы покрепче, как это и ничто не удержало бы меня от поездки в Петербург.

Она безотрадно пишет о неурядицах в доме. Жалуется на свою холодность, на упреки сестры, которая обвиняет ее в духовном аристократизме, фарисействе и эстетическом отношении к людям.

Он готов защитить ее даже от близких. От матери, сестры. Ведь никто не понимает ее так, как он. В этом эпистолярном диалоге Варвары с Львом Исааковичем видно, сколь огромно напряжение в их отношениях и сильна ее власть над ним.

Лев Исаакович, предчувствуя скорый отъезд Варвары, не может не страдать. Она же спокойно размышляет о своем будущем без него. Но он не в силах ничего изменить, только просит о встрече один на один, чтобы что-то еще прояснить на прощанье.

Все это звучит в его письме от 29 сентября 1895 года, отправленном из Москвы в Воронеж:

Боюсь, дорогая моя, что письма мои принесли Вам мало успокоения. Я слишком сильно сам волнуюсь, для того чтобы можно было скрыть свое настроение в письмах. Писать ясно, глядеть светло в таком настроении вряд ли можно. А ведь ничто так успокоительно не

действует, как ясность и светлость души ближнего. Но мы, родная, скоро встретимся, и я, увидев Вас, стану совсем другим. <...>

Мы встретимся, и я снова буду тем же, чем был и несколько дней проведенных вместе дадут мне сил и бодрости ждать целые месяцы. Не думайте, что я упал духом – я ужасно боюсь, чтоб Вы так думали...

В этом большом письме существует множество внутренних сюжетов, связанных с какими-то прежними письмами, разговорами о некой его слабости, о каких-то адресованных Варваре упреках. Он уверяет ее, что она поступила с ним благородно и она душевно выше и чище его, так как простила его за упреки. Никогда уже после он не будет так часто обращаться к ней “родная”. Видимо, здесь он проявлял абсолютно особую степень близости к ней.

“Большая часть писем Льва Шестова сгорела во время общероссийского пожара в 18 году, – писала Варвара в дневнике. – Уцелели разрозненные клочки. Самые ранние из них, киевские (я гостила в Воронеже) полны кристально-прозрачной, солнечно-щедрой любви и заботы. Я не умела ценить их в те дни”^[37]. Именно об этих письмах она вспоминала.

Итак, они должны были встретиться на станции “Курск”. Разговаривать долго-долго. И распрощаться, как им казалось, на непродолжительный срок. Но в той точке, где они сейчас оказались друг перед другом, ничем не связанные, незапутанные другими и собой, им уже никогда не быть.

Настя. Зима 1895-1896 годов

Почему Насте нужен я, воплощение несчастья...

Из письма Льва Шварцмана Варваре Мирович

Мы знаем точно, что 3 октября 1895 года Варвара и С.И. Балаховская с детьми выехали в Италию, так как в одном из писем 1896 года Лев Исаакович напомнил Варваре Григорьевне, что прошел ровно год, как они расстались.

В одном из первых же своих посланий из Италии Варвара спрашивала его о своей сестре Насте.

“Как я рада буду, если Вы сблизитесь с Настей! – писала Варвара 3 декабря 1895 года. – Возле нее никогда не было вполне достойного ее мужчины. И был такой, который доставил ей много душевной боли и обиды. Подойдя поближе к ее душе, Вы увидите, что такая молодая, она ранена уже и не смеет быть доверчивой. Но когда Вы узнаете ее

ближе, Вы увидите также, что это душа, достойная лучшей участи, чем пропадать в глухом закоулке Воронежа за непосильным трудом. Пожалуйста, напишите, как Вы нашли мою девочку, здорова ли она, хорошо ли ей у С.М.^[38] (нет ли шероховатостей отношений, которые при Настиной нервности могут стать для нее пыткой)“^[39].

Видимо, Настя приехала из Воронежа и устроилась гувернанткой в семью Эвенсонов, которые работали в киевской газете “Жизнь и искусство” и были близки как Льву Исааковичу, так и Варваре Григорьевне. Моисей Самойлович Эвенсон когда-то служил у известного русского библиографа и историка русской литературы С.А. Венгерова^[40]; участвовал в создании словаря Брокгауза и Ефрона. Из Петербурга Эвенсона, как еврея, выслали в Киев. Интересно, что и там он не имел права жить, и поэтому ему, способному литератору и отцу семейства, приходилось часто просиживать дни и ночи в шахматном клубе, куда не заходила полиция проверять документы. Его жена Сарра Максимовна, о которой Варвара упоминает в письме, была известная переводчица и журналистка. Многочисленные свои статьи она подписывала “С. Максимов”.

Настя была на шесть лет младше Варвары, ей в ту пору было двадцать лет. Она с детства очень любила старшую сестру, буквально боготворила ее. Они были очень дружны. “Это был период, когда в редакции «Жизнь и искусство» (Киевский журналишко, где мы обе начали печатать стихи и прозу), – писала Варвара в дневнике, – нас прозвали Радика и Додика – имена сросшихся сестер близнецов, которых показывали в проезжем музее. Если бы в тот период кто-то из нас умер, его друг не пережил бы потери. Я помню, с каким ужасом, с какой решительностью покончить с собой, если сестра обречена на смерть, подъезжала я к Одессе, где в лечебнице доктора Гамалея сестра лечилась от укушения бешеной собаки. Тогда обыватели не вполне верили в силу прививки. И я бросилась из Киева в Одессу за сестрой, измучившись подозрением, что ее уже нет в живых...”^[41]

Варвара очень хотела, чтобы ее сестра подружилась с Львом Исааковичем и чему-то научилась у него.

И в следующем письме от 7 декабря 1895 года она спрашивала его:

Получили ли Вы мои письма? Последнее я писала в очень нездоровом состоянии, и потому оно вышло мрачнее, чем среднее арифметическое моей жизни. Что делаете в Киеве? Как Вам живется? Как идут занятия? Как нашли Настю?

Странно, что, будучи уже взрослой и прозорливой женщиной, Варвара Григорьевна не смогла предвидеть, что отношения Насти и Льва Исааковича могут принять абсолютно непредсказуемый оборот.

В дальнейшем, анализируя внутренний склад сестры, Варвара пыталась найти первопричину будущей трагедии и душевной болезни Насти.

Это был ребенок с зачатками гениальности и с ядом безумия в мозгу. Пяти лет от роду она так говорила наизусть лермонтовского “Пророка”, с таким неподдельным жаром и с такими изумительными интонациями, что я до сих пор вспоминаю их, как исключительное по художественности впечатление. В 18 лет я могла говорить с ней, 13-летней о Фаусте, о Дон-Жуане, о Демоне, прислушивалась к ее мыслям. В 14 лет ее приняли в партию и посадили за политэкономия и социологию, предварительно заставив пережить отречение от семьи и от “личного счастья”, что требовалось от всех нас, как условие поступления. В партии она пробыла всего два года, надорвавшись физически и душевно. За этим последовали не менее надрывные два года на фельдшерских курсах. Полуголодная жизнь, каждодневные путешествия по 14 верст – семь верст до Кирилловской больницы (в Киеве) и обратно. На конку не было гривенника. Обе мы жили тогда на мои нищенские заработки, – за двух-трехчасовой урок платили 5-7, редко десять и в виде редчайшего исключения 20-25 рублей^[42].

Настя была не менее чуткой и открытой натурой, чем ее старшая сестра; писала стихи, мечтала о подвигах самоотверженности. И вот она оказалась в Киеве без Варвары, в семье журналистов. Рядом трагический и надломленный человек – Лев Шварцман. Варвара наверняка рассказывала ей о его благородстве, уме, честности. Не надо забывать, что Насте в то время было всего двадцать лет, она была робкой, неопытной девушкой. Но во Льве Исааковиче сразу же увидела, а может, и придумала себе своего Рыцаря Печального Образа и, конечно же, решила его спасти.

Тем временем в итальянской поездке отношения Варвары с Софьей Исааковной Балаховской все больше осложнялись. “Из Ospedaletti принципалы мои переехали к весне в Ниццу, – писала Варвара в дневнике. – Там Софья Исааковна Балаховская (мать Жени и Жоржика) понемногу усвоила себе раздраженно-барский тон по отношению ко мне. (Началось у нас с симпатии и прошло почти через дружбу.) Причины для раздражения, конечно, были – помимо тяжелой беременности и нараставшего разлада с мужем, во мне она обрела далеко не идеальную гувернантку. Я любила детей, умела их занять, но целодневное с ними общение стало для меня утомительным и тягостным *soins corporels* (физический уход). Я справлялась с ними неумело, неловко. И мне было странно, что при ее огромных средствах Софья Исааковна не догадывается возложить часть ухода за детьми на

горничную отеля за какую-то приплату, о чем та сама намекала, но встретила отказ”^[43].

“Если б было кому заменить меня у Софьи Исааковны, я не задумалась бы уехать отсюда завтра же, или сегодня вечером. Мне очень нехорошо здесь, потому что я не нахожу в себе достаточно любви к Софье Исааковне”^[44], – делилась она своей печалью с Львом Исааковичем.

Он ответил ей необычным письмом или письмами (?), одно из которых не имеет конца, а другое – начала. По их содержанию можно догадаться, хотя и не совсем точно, что уже что-то стряслось между Настей и Львом Исааковичем. Это станет ясно из второго отрывка.

Но вначале идет фрагмент с рассказом о лирической поэме Шелли, где вполне прозрачно прочитывается любовь Льва Исааковича к Варваре. Речь идет об “Эпипсихидионе”. Слово, давшее название этому произведению, толкуется как некий “сверхчувственный” опыт, находящийся вне этого мира. В журнале, жалуется Лев Шварцман в письме от 2 января 1896 года, ему не дали написать об этой поэме, которую сочли скучной. Смысл сочинения, говорит он, сводится к тому, что герой (сам Шелли) влюблен в девушку, заключенную родственниками в монастырь, и не может вызволить ее из плена. И тогда он решает, что надо создать некий выдуманный мир, где он сумеет воссоединиться со своей прекрасной возлюбленной:

Ему нужно было выдумать Бога, которого у него не было. Поэтический дар помог ему. Он нашел Бога – и забылся, утешился. А Бог был мечта о земном, мечта об избавлении несчастной девушки. И поэма называется “Эпипсихидион” – будто есть возможность иного, неземного общения меж любящими и разлученными людьми...

Разлученные возлюбленные; поиск Бога, который сможет соединить их; неземное общение – все эти темы, видимо, не давали Льву Исааковичу покоя.

В поздних дневниковых записях Варвара Григорьевна прокомментировала этот отрывок письма и разбор поэмы: “Экстаз Шелли, влюбленного безнадежно в Эмилию Вивиани, понадобился в какой-то момент Л. Шестову как музыкальное оформление его большой, действительно платонической, высоко романтической и безнадежной любви к женщине, которая была одержима такой же любовью (он знал это) к другому человеку. Это было только поэтически-музыкальное оформление своих чувств, а не личности, на какую они были направлены”, – так она пишет, опуская в своих записях все, что случилось буквально спустя несколько дней после этого письма. И еще одна запись:

Его письмо, начинающееся словами “Эпипсихидиона” Шелли: “О дух, небесным призракам родной, сверхчувственная нежность серафима! Ты скрыта в форме женщины земной, все что в тебе для глаз невыносимо, подобно яркости любви и чистоте и пламенно-бессмертной красоте”. И то, что мне было нечем на это письмо ответить^[45].

Тема безответной изнуряющей любви всплыла и в заметке Льва Шварцмана от 2 февраля 1896 года. Она была написана в те же дни, что и письмо, и вышла в приложении к “Жизни и искусству”, где Лев Исаакович под псевдонимом “Читатель” делал свой ежемесячный журнальный обзор: “Если жизнь не была для вас «пустой и глупой шуткой», если вы в жизни «по-настоящему» и крепко любили, то вы знаете пытку тоски. Уже издали вы ее чувствуете, и сердце бьется тревожнее и сжимается болью. Но ближе, плотнее надвигается она на вас и вдруг, словно какое-то чудовище, охватит вашу душу беззубою пастью и жует и пережевывает”.

Это отражает его состояние в те дни. “Нечего ответить” – пишет Варвара. “Пытка тоски” – отвечает в своей статье Лев Исаакович.

И вот Анастасия, видимо, до поры не понимая, вступает на зыбкую почву, словно для того, чтобы взорвать отношения двух близких ей людей, их призрачную связь.

Это же письмо, в котором отсутствует первая часть или же первая страница, Л.И. заканчивает рассказом о том, как они с Настей общаются с друзьями, как за ними наблюдают Эвенсоны, у которых она служит, и вдруг неожиданно у него вырывается фраза: “О Насте... Я вспоминаю ее слова: «Лучшее дело в твоей жизни, – что ты познакомила меня с Л.И.» (он говорит о ее словах, сказанных Варваре. – Н. Г.). Увы! Я боюсь, что ей придется иначе об этом говорить. Она, кажется, совсем не туда попала, куда бы ей следовало. Она так молода. Явилась сюда с блестящими глазами, с такими... (*Обрыв текста.*)”

В следующем письме Лев Исаакович разворачивает обстоятельства, которые несколько сбивчиво разъясняют брошенную фразу о новом присутствии Насти в его жизни. Подробности, возможно, были на пропавших страницах, потому что здесь о главных событиях почти не говорится (мы можем только догадываться о них из контекста). Перед нами лишь чувства и эмоции автора. Мы приводим главный отрывок письма и выводы из него: “Если я согласился взять Настю, то потому, что не мог решиться вслед за одной такой ужасной потерей, понести другую. Я не раз писал Вам, как я привязался к Насте. Думать, что я разбил ее жизнь – было мне невыносимо. И тем не менее наш разрыв был уже решенным делом. Она могла уехать в Воронеж, а я – в Москву (я писал Вам). Но потом все переменялось. Я увидел, что покинуть ее,

значить разбить ей сердце. И я покорился необходимости. Не знаю, хорошо ли это или дурно – не для меня, а для Насти. Она сама Вам объяснит. Теперь она будет со мной месяц или больше в разлуке. Если ей покажется, что она может забыть меня – мы простимся навсегда. Я не стою и того, чтоб иметь возможность работать или жить для другого, дорогого мне, как и Вам ребенка. Я больший грешник, чем Вы. И я знаю, за это казнит меня Бог. И я даже не смею просить пощады. Но пусть бы он меня одного казнил. При чем же Вы тут, при чем Настя? Почему мною отяготил он Вас? *Почему Насте нужен я – воплощение несчастья* (выделено мной. – Н. Г.). Но иначе Бог не мог казнить меня. До встречи с Вами я нес свое горе так, что никто и не подозревал ничего. Бывали минуты, часы, когда мне становилось душно, страшно. Но потом я забывал все, уходил в себя. Так разве это было наказанием. И Бог наказал меня иначе. И это было ужасно. Он заставил меня погубить Вас. Мучить и терзать Вас”.

В следующих строках этого сумбурного письма Лев Исаакович объясняет Варваре, что теперь он уже навеки потерял надежду. Что он внутренне умер, застыл, погиб...

Поймите все это, родная, и не упрекайте напрасно ни себя, ни меня. Вы думаете, что Вы мучили меня. Господи – да разве то, что Вы мне сделали есть муки. Ведь одно Ваше ласковое слово – и я все забывал.

Он говорит, что она приносила ему только счастье. Получалось так, что это письмо выглядело как прощальное письмо любви от Льва Исааковича Варваре. Дальше между ними предполагалось что-то совсем иное.

Восстанавливая события, которые стали развиваться стремительно, можно предположить, что по инициативе Насти произошло резкое сближение (вспомним темперамент Льва Исааковича). Возможно, случилась физическая близость, которая была принята девушкой за настоящее обручение. Шестову ничего не оставалось, как эту реальность принять. Он уже однажды разрушил одну жизнь, и теперь все повторялось. Значит, он должен изменить дурной ход событий. А как же Варвара? Вот тут начинается самое мучительное.

Все последующие эпистолярные выяснения (об этом можно судить только косвенно) говорят о том, что Варвара была очень задета изменившимися отношениями. Она даже просит прощения у Льва Исааковича за прошлые обиды, за то, что, наверное, “мучала его” и была с ним холодна. То есть, боясь потерять его, она пыталась загладить свои прошлые вины перед ним. На ее покаянные речи он буквально изливает потоки слез.

Настя, по всей видимости, тоже пишет обо всем сестре в Италию. Мы не знаем содержания этих писем; все, что известно, только отраженно, из писем Льва Исааковича. Видимо, в ответ Варвара посылает ему какие-то телеграммы, о чем свидетельствует фраза из его письма к ней:

Еще недавно, когда я вернулся из Москвы и застал Ваши телеграммы, смысл которых я не понимал еще, еще недавно я на глазах шурина своего рыдал над Вами, как женщина.

Надо сказать, что все раскрылось не только для Варвары, но и в первую очередь для семьи Шварцманов. Лев Исаакович объявил родителям, что собирается жениться на Анастасии.

Именно поэтому у младшей сестры возникает необходимость встретиться с Варварой, чтобы получить ее “благословение”: “Я сказал им, что Настя к Вам поехала за благословением, что Вы протестуете против того, чтоб мы жили невенчанными и т. д. (выделено мной. – Н. Г.)”.

То, что сестры встретились, подтверждается следующим письмом Льва Исааковича от 17 февраля, которое он пишет уже им обеим.

Варваре и Насте нужно было прояснить отношения и принять необходимое решение. И проблема, как оказалось позже, была даже не в родителях Льва Исааковича. Все стало мгновенно путаться. Сначала возникли взаимные подозрения, а затем попытки принести себя в жертву. Как выяснилось, несмотря на свои заверения о не отгоревшей любви к доктору (в чем была уверена и Настя), на самом деле Варвара терять Льва Исааковича не хотела, он много для нее значил. Просто она плохо еще это понимала. Потом она сформулирует так:

...у меня отношение к этому человеку было настолько глубоко и для всей внутренней жизни ни с чем несравнимо важно, что “отдать” его сестре без борьбы оказалось невозможным. И возгорелась борьба неописуемо жестокая тем, что наши души были как одна душа, что каждый удар, наносимый другому в борьбе, отражался такой же болью, как полученный возвратно удар. В этой борьбе окончательно подорвались душевные силы сестры, расшатанные предварительно отрывом от матери, поступлением в партию, непосильной идейной нагрузкой...^[46]

Так увидела эту картину Варвара уже спустя много лет. Какой была эта борьба, история умалчивает. Но в этом свидетельстве есть еще

одно необычное признание: “Человек, из-за которого мы боролись, сам переживал в это время – отчасти на почве этой нашей борьбы – огромный идейный кризис. *В житейской области он предоставил нам решать, кому из нас выходить за него замуж* (выделено мной. – Н. Г.). Перед сестрой он чувствовал вину, как перед девочкой, которой «подал ложные надежды» своим чересчур внимательным и нежным отношением, (я в это время была за границей и сама поручила сестру моральной опеке его). С моей стороны уязвляла и пугала этого человека неполнота моего ответа на полноту его чувства. И все это перенеслось для него в философское искание смысла жизни и в тяжелую нервную болезнь, которая привела его в одну из заграничных лечебниц и потом на целые годы за границу. *Я «уступила», наконец, его сестре...* (выделено мной. – Н. Г.)”^[47]

Нам неизвестно, на какие деньги Анастасия отправилась за границу к Варваре и вернулась оттуда (наверное, их дал ей Л.И.), как сестры встретились и о чем говорили. Одно несомненно: письмо Лев Исаакович адресует обеим. Он отправляет его из Житомира, где была еще одна фабрика отца. Там Шестов находился 17 февраля 1896 года.

Вот уже второй день я в Житомире, дорогие Вава и Настя. Вчера вечером начал было я писать вам письмо – но грустное настроение охватило меня и я бросил писать. Ведь у вас там и без меня невесело.

Слова “у вас там и без меня невесело” подтверждают мысль о том, что Лев Исаакович теперь ждет исхода своей судьбы, которая, как ему кажется, находится в руках сестер.

Само же письмо в такое сложное время почти целиком посвящено болезни и угасанию того самого друга Григория Работникова, который недавно так жестко его наставлял. Подробно, тоном старшего брата Лев Исаакович рассказывает Варваре и Насте, что бывают в жизни вещи пострашнее любых бед: неизлечимая болезнь, которая мучит молодого человека, а также самоотверженность служения жены Работникова, которая помогает ему во всем. Интересно, что Лев Исаакович, описывая эту беззаветно любящую женщину, конечно же, показывает сестрам, обремененным сложными интеллектуальными поисками, каким он вдруг увидел подлинный идеал женского служения мужчине. Удивительно то, что, столкнувшись с новыми трудностями и противоречиями на своем пути, Шестов вдруг увидел, как прекрасны простые и ясные чувства между мужчиной и женщиной, которые тогда стали так его притягивать. И судьба услышит его.

Нам до конца не ясно, какое “благословение” Настя получает от сестры и с чем возвращается в Киев.

А Лев Исаакович уже в Киеве, где в доме Шварцманов происходит нечто загадочное. В архиве библиотеки Сорбонны есть трагическая записка сына отцу. Может быть, она написана после скандала и разрыва?

[Начало 1896]

Дорогой папаша!

Приходи скорее ко мне. Хорошее слово, о котором ты пишешь – вот оно: я без твоего согласия ничего не сделаю. Я это и мамаше сказал и тебе повторяю. Мы поступим по общему согласию и навсегда останемся теми же, чем были друг для друга^[48].

Куда надо было прийти? Неизвестно.

К тому не совсем понятному инциденту, который предшествовал конфликту Льва Исааковича с родителями в феврале – начале марта 1896 года, он будет не раз возвращаться в письмах отцу и матери из-за границы, но все равно многое остается туманным.

Вне всякого сомнения, что, во-первых, он не хотел, чтобы его отношения с Настей стали известны, это произошло случайно.

Я думал, что вы об этом и не узнаете, и примиритесь с той мыслью, что я останусь неженатым. Ведь вовсе уже не такое несчастье видеть сына неженатым. Но вмешался случай, вы все узнали.

Во-вторых, он неоднократно повторяет, что теперь он страдает “душевым расстройством”.

А душевное расстройство обращало меня в мертвеца или полу мертвеца, который ничего не видит, не слышит и не понимает.

В-третьих, Лев Исаакович, безусловно, был унижен грандиозностью своего падения. Родители предприняли меры, чтобы скрыть в Москве его незаконного сына. На глазах всего семейства только что развивался роман с Варварой – и вот теперь новая история с Анастасией!

Из письма отцу:

Ты видел, каким я был в Киеве. Я сидел по целым дням в своей комнате, мне страшно было выходить на люди – разве этого одного мало, чтобы поверить мне и разве еще нужно доказательств каких-

нибудь? – теперь мне не только не лучше; мне много хуже и с каждым днем все ухудшается мое положение^[49].

Точнее всего он выразит свое состояние в личной записи от 1899 года: “Специфическое наказание для идеалистических, мечтательных, но страстных натур – унижение и позор”^[50].

“Пока было весело, причина и следствие все объясняли; с ними было лучше, чем с Богом, ибо они никогда не корили. Но каково жить с ними в горе? Когда несчастья, одно за другим, обрушиваются на человека, когда бедность, болезни, обиды сменяют богатство, здоровье, власть? Каково Иову, покрытому струпьями, лежать на навозе, с страшными воспоминаниями о гибели всех близких?” – задает он себе насущные вопросы в статье о Шекспире.

За несколько месяцев до всех драматических событий в “Киевском слове” вышла статья Л.И. о Гамлете, Шекспире и его критике Брандесе^[51]. И как уже говорилось выше, в нем он энергично обличал принца Датского в пустом философствовании и в нежелании действовать тогда, когда само Небо взывает к нему.

Конечно, это был разговор в первую очередь с самим собой. И, кроме того, он стремился преодолеть в себе все то, о чем говорил ему Работников: аморфность, слабость характера, страх перед волей отца. Теперь он решает действовать. Бежит из дома за границу.

В семье уверены, что произошло самое ужасное: он уехал, чтобы соединиться с православной девицей. Старший сын, надежда семьи, теперь откажется от иудейства и женится на русской девушке.

Бегство

Я “уступила”, наконец, его сестре...

Из дневника Варвары Малахией-Мирович

Он бежал за границу, сказав родителям, что уехал лечиться. У него тяжелая душевная болезнь, он может сойти с ума. Родители не верили. И правильно делали, что не верили. Болезнь лишь скрывала его истинные намерения.

Лев Исаакович действительно решил воссоединиться с Настей, но не сразу, а подождать, пока все утихнет. С одной стороны, он очень хотел поступить по отношению к ней честно. С другой, устал быть один, метаться. Он был готов к браку, пусть и к несчастливому. Где-то в глубине души его грело тайное чувство, что в новом раскладе найдется

место тесным и дружеским отношениям с Варварой. И что теперь они станут неразлучны.

Любил ли он Настю? Нет. Об этом он недвусмысленно написал Варваре. Но и Настя, видимо, очень скоро поняла, что оказалась меж двух огней, на пути какой-то огромной силы, которая сминала и ломала ее. Она запечатлела свое состояние в некоем стихотворении-вызове, обращенном к Варваре. В начале 1900-х годов оно было опубликовано в журнале “Северные цветы”^[52].

сестре
...Где, скажи мне, бывшая корона?
Кто низвел меня с пышного трона?
И в простую одежду одел,
И рассудку внимать не велел?

Что глядишь ты с печалью такою?
Я кажусь тебе странной, больною?
Золотистую пряжу прясти
Суждено мне на этом пути.

В золотистую пряжу из света
Я должна, я хочу быть одета!
Подожди... Ты увидишь меня
Королевой лазурного дня.

Непонятно, как Лев Исаакович уехал из дома. Ночью, чтобы никто не увидел? Тайно собрал вещи и скрылся?

Вероятно, сначала он оказался в окрестностях Вены. Вслед ему летели письма родителей с требованием вернуться и жить попрежнему. Нам известны лишь его ответы. Письма отца и матери не сохранились.

Он пишет матери, устав от ее обид:

Дорогая мамаша!

Только что получил письма от Мани и Саши^[53] и пересылаю тебе их. Прилагаю тебе конверт со своим адресом. Напиши мне несколько слов. Мы так нехорошо простились. Отчего, если и у тебя горе, и у меня горе – мы должны страдать отдельно, как будто бы каждый думал только о себе? Разве мне не больно, что я причинил тебе столько горя...

И в следующем:

Я получил твое письмо. Если бы ты знала, что за радость была бы для меня исполнить твое желание и поехать теперь в Киев. Но я чувствую, что это неисполнимо. Я не могу ехать в Киев, хотя я хочу все сделать, чтобы тебе было легче. Разве я не чувствую, как тебе тяжело и что тебе тяжело именно потому, что ты так же не можешь дать мне свое благословение, как и я теперь, несмотря на все свое желание, не могу ехать в Киев. И мне теперь еще тяжелее. У меня два горя – твое и свое. Я стал несчастным с тех пор, как понял, какая у меня болезнь и что значит она. И теперь, когда увидел, что ты так поражена моим поступком, я вдвойне несчастен. У меня на сердце вечно, непрерывно сидит какой-то червяк и сосет, сосет без конца. Я хожу, разговариваю, ем, пью – но червяк грызет и не перестает...

Но есть вещи, которые человек не в силах вынести. И это – мое горе. Оно такое, что с ним я не могу примириться. С Настей мне будет легче. Она любит меня – я знаю это – и сумеет мне помочь. Как же мне эту помощь оттолкнуть, без которой я не сумею жить^[54].

Горе – это болезнь, о которой идет непрерывный разговор. Настоящая душевная, страшная болезнь, с которой непонятно, как жить и как примириться.

Дорогая мамаша!

Я писал и говорил тебе только одну правду. Настя теперь в Воронеже, у своей матери. Я ее не мог вызвать, если бы даже и хотел, так как у меня не было денег. Володя^[55] не послал Работникову ничего, и он там остался один, умирающий, без гроша. Так я принужден был из своих послать. Теперь у меня всего сорок гульденов – следовательно, я не мог ее выписать, если бы и хотел.

Я живу в деревне. Здесь недурно. И не дорого, по крайней мере. Здоровье мое плохо.

Лев Исаакович переезжает в Карлсбад, и родители отправляют к нему мужа сестры Мани, Владимира Евсеевича Мандельберга, врача, чтобы он на месте проверил, действительно ли положение их сына настолько серьезно. После его приезда Лев Исаакович пишет матери:

Апрель 1896

Карлсбад

Дорогая мамаша!

Наконец, приехали мы в Карлсбад и как будто бы кончились все странствования и волнения. На самом деле оказалось совсем не то. Сейчас мы были у доктора. И выходит, что мне в Карлсбаде совсем нечего делать... Здоровье мое надорвано – и надорвано сильно. Если не принять теперь все меры, потом, может, уже поздно будет. Мне тридцать лет, а я еще не жил. Если оставить все в таком положении, если не найти средства к выходу, значит мне никогда уже не жить. Восстановить свое здоровье, устроить свою жизнь я могу или теперь, или никогда.

Он снова возвращается к главному для себя:

Я слишком измучен, слишком истерзан всем тем, что так неожиданно обрушилось на меня. Но я еще хочу бороться за право на жизнь и, может быть, если не все будет против меня, я еще добьюсь чего-нибудь.

Жить без Насти я не могу. Этой девушке я обязан всей жизнью, больше, чем жизнью. Если бы ее не было, один Бог знает, что произошло бы со мной. Она в самую тяжелую минуту жизни, когда я был готов на все, когда я был так же близок к помешательству, как и к смерти, подошла ко мне и спасла меня своей любовью. Если мы разошлись бы, это значило бы, что я навсегда, на всю жизнь отказался бы от брака. Конечно, люди доживают свой век и холостыми. Но люди и в богадельнях проводят весь свой век. Для меня же теперь уйти от Насти значило бы запереться в тюрьму, чтобы никогда не видеть больше света. Скажи же мне, неужели ты захочешь пожертвовать предрассудкам общества всей жизнью твоего сына? А ведь только эти предрассудки стоят между мной и Настей. Она редкая, удивительная девушка. Я убежден, что не будь она случайно христианкой, ты сама бы оценила ее. Но это не поправить и нужно примириться. При других обстоятельствах – этого не случилось бы. Но что же делать? Теперь я чувствую – все мое спасение в Насте. И ты можешь либо помочь мне, либо помешать. И вот о чем я прошу тебя. Летом мне необходимо отдохнуть и укрепиться. Для этого я должен быть предоставлен самому себе. И лучше всего мне это время провести в Житомире, а не за границей. Я могу найти там дачу с купаньем...^[56]

Ему вторит Владимир Мандельберг, его зять. Он пытается помочь Льву Исааковичу изменить жесткую волю Шварцманов, хотя тот факт, что их сын всячески настаивает на том, чтобы передать ему, непрямому родственнику, все дела с сукнами, не может их не настораживать.

Апрель 1896

Карлсбад

Дорогие родители!

Мы теперь уже второй день в Карлсбаде и только что возвратились от доктора, который очень внимательно осмотрел и расспросил Лёлю. Его диагноз и лечение вполне совпадают с тем, что нам сказали все венские профессора. С каждым из них я говорил отдельно без Лёли и даже не сказал им, что он мой родственник, я представлял его как своего пациента, с которым еду за границу для лечения, я хотел узнать всю правду. И вот что я узнал: операции делать пока не нужно. Они говорят пока, потому что может случиться что ему позже придется сделать операцию очень серьезную. Все нашли его состояние заслуживающим особого внимания в особенности ввиду полного расстройства нервов. Они были поражены, когда увидели его и все добивались причины нервного расстройства и сильного истощения, но когда мы отказались рассказать всю правду, то каждый из них счел своим долгом предупредить меня, что положение его очень серьезное и что во что бы то ни стало нужно постараться удалить причину, иначе они за него не ручаются. Лёля обо всем этом не знает, но вам я решил все написать, ничего не скрыть, потому что я не хочу, и я не вправе взять на себя ответственность за все, что может произойти. Прежде всего ему необходимо жениться и именно жениться, а не так только иметь сношения с женщинами. Это все говорят в один голос: ему необходимы правильные половые сношения, которые возможны только в браке. Это, собственно говоря, единственное лечение для него, все же остальное может только на время облегчить или совсем не облегчить. Когда я им сказал, что брак теперь невозможен, они мне прямо ответили, что тогда и излечение невозможно...

Вы не можете выбирать между да и нет, вы должны сказать да чего бы это ни стоило, потому что это вопрос жизни. Он не крестится ни теперь, ни через год, ни через два, а вероятнее всего и никогда этого не сделает. Ему так же трудно на это решиться, как и нам согласиться. Он дает честное слово, что не сделает этого, и вы можете ему поверить, вы достаточно хорошо знаете его характер. И я могу Вам дать свое честное слово, что это чистая правда... что это не делается только для того чтобы вас успокоить, но что это его твердое решение. Подумайте, мамаша, обо всем этом хорошенько и не откладывайте вашего согласия надолго, тут каждый день дорог, он стоит Лёле здоровья, а у него его немного осталось. Это не Миша, не я или не кто-нибудь другой из нас, *он в 30 лет в первый раз полюбил девушку и полюбил горячо и искренне. Это чувство не может уничтожиться оно может его уничтожить. Если не найдет удовлетворения.* Тут никакие средства никакие планы помочь не могут. Не мучьте же только папашу и себя и его не делайте так, как многие горячо любящие но неразумные

матери поступают что сначала все противятся надеясь на что-то неопределенное, а потом наконец дают свое согласие когда уже поздно и когда оно уже не нужно. Тысячи примеров этому были уже и каждый день случаются. Вы сами это отлично знаете. Это утешение недостаточное я согласен, но зато у вас другое утешение есть: девушка, которую Лёля полюбил, бесспорно лучше всех наших знакомых барышень, она несравненно выше всех их стоит и кроме того она очень добрая и совершенно бескорыстно полюбила Лёлю. Лёля с ней наверняка будет счастлив. Лучшей невесты в этом смысле Вы и сами ему не могли приискать. Я от всей души желаю, чтобы мои братья сделали такой же удачный выбор. Вам наверное тяжело будет писать ему письмо и потому лучше всего было бы если бы вы телеграммой одним словом “согласна” избавили бы его и себя от излишних мучений. Я уверен, что он сразу бы ожил и выздоровел. Ваш Володя^[57].

Непонятно, что ответили родители на столь сильные аргументы.

В газете “Жизнь и искусство” продолжают выходить колонки Льва Исааковича, подписанные “Читатель”, с разборами литературных новинок. Каждую он начинает особым вступлением, создающим доверительную интонацию. В этих обзорах снова слышатся отзвуки его драмы. Он пишет 16 апреля 1896 года: “Счастлив тот, кто не отведывал того ощущения внутренней опустошенности, при которой все безразлично и кажется разверзлись небо, расступись земля – не удивишься, не испугаешься... От себя бы ушел, да некуда”^[58].

Приключения Варвары. Европа, лето 1896 года

В подборке стихотворений Варвары в “Жизни и искусстве” от 10 марта 1896 года встречается одно – очень красноречивое.

в лесу
Мы заблудились... Нет сомненья
Ползет из чащи темнота
И реют бледные виденья,
Меж веток каждого куста...

Твое безмолвное смятенье
Упреков горьких мне страшней
Мы заблудились... Нет сомненья
И лес все гуще, все темней.

Письма Льва Исааковича Варваре в самые критические месяцы смятений, видимо, не сохранились, но их было немало, судя по последующим ссылкам на них. После того как Настя вернулась в Киев, представить, что происходило с Варварой Григорьевной, не так просто, потому что за несколько месяцев, с марта по сентябрь 1896 года, произошло множество событий, которые в дневниках описаны очень выборочно, причудливо и клочковато. Однако попробуем найти в них внутреннюю логику.

Нам достоверно известно, что Варвара все же ушла из гувернанток, оставив Софью Исааковну Балаховскую и ее детей. (Забегая вперед, заметим, что это никак не повлияло на их дальнейшие отношения, впоследствии они возобновят свою дружбу.) Скорее всего, это произошло ранней весной, после отъезда Насти. Ведь в письме к Варваре и Насте Л.И. передает привет своей сестре. Значит, тогда они еще были вместе, а затем пути их разошлись.

“Когда отношения окончательно расхолодились, – вспоминала В.Г. те дни в своих дневниках, – Софья Николаевна Луначарская (потом Смидович), с которой мы очень сблизилась, стала звать меня перейти к ним. У нее тяжело заболел муж (туберкулез мозга), и ей важно было иметь близкое лицо у себя в доме. И даже не это было главным мотивом, а приязнь, участие в моей судьбе и желание общей жизни. Мы в ту пору нежной заботливой любовью окружали друг друга, и за этот кусок жизни я храню нерушимую благодарную память милой женской душе, в то время так горячо несчастной и такой жизненно-доброй и чуждой всякого мещанства”^[59]. Именно в этой семье Варвара Григорьевна встречает будущего наркома просвещения Анатолия Луначарского.

“Далеко и туманно, точно в воспоминании сна, вижу его, 22-летнего юношу, – пишет она о Луначарском, – своеобразно некрасивого, с своеобразным горловым, уверенным, насмешливым голосом. Мне было в то время 26 лет. Начало романа, не имевшего продолжения. Главными действующими лицами в нем были – море, лунные ночи, весна, апельсиновые деревья в цвету, светляки, носившиеся огненными стрелками между пальм, кактусов. И юность еще не любившего сердца – у него. И раненость сердца безнадежной любовью – у меня (4 года такой любви, спасаясь от которой и за границу бросилась). Была с его стороны вдохновенная пропаганда марксизма. С моей – изумление перед его ораторским искусством и памятью (кого он только не цитировал наизусть!). Я называла его в письмах к Льву Шестову «гениальным мальчиком». Когда я уехала в Париж, а он остался в Ницце – каждый день приходило письмо с подписью: «Твой – Толя». Но он не был «мой» – не моих небес. Не породнились души. Встретились мы через год в Киеве привычным – в лунные ночи Ниццкого сада – объятием, которое мы считали страстным, но которое было лишь томлением о страсти и о любви. И в этот же час договорились, что

встречаться больше незачем. От этого было немножко больно. Мне. Он сказал, что ему – «ничуть»^[60].

Затем она уехала в Париж, где окажется, скорее всего, в конце мая – начале июня 1896 года.

“Когда родственница Балаховской, Соня (я так звала ее), молодая парижанка (и училась в Париже, и замуж вышла за именитого француза), очень дружественно ко мне относившаяся, узнала, что я ушла от Софьи Исааковны, она прислала мне приглашение пожить в их квартире – она знала, что мне хотелось побывать в Париже”. Прервем цитату. Софья Григорьевна Балаховская – дама, которая будет посвящена во многие повороты этой истории. Варвара Григорьевна в своих поздних дневниках говорит о ней следующее:

...Сони Балаховской, сахарозаводчицы, окончившей университет в Париже и вышедшей замуж за француза, очень богатого, очень культурного, очень элегантного, влюбленного в нее безнадежно француза Эжена Пети. Соня, выходя за него, замуж, обусловила, что брак этот “фиктивный”, союз дружбы – и только. Что она полна любви к другому, с кем ее жизнь разъединила.

Всплыл из далеких далей образ этой маленького роста “кукольно” изящной, но с царственно горделивой походкой и всей манерой держать себя, с победоносным взглядом больших искристо-серых глаз, с музыкальным смехом и чудесной улыбкой^[61].

По-своему показательно, что, будучи близкой родственницей Софьи Исааковны Балаховской, у которой Варвара работала только что гувернанткой и покинула ее и детей, другая Соня встала на сторону гувернантки. Предоставила ей свою парижскую квартиру.

“Сама она и ее муж проводили лето в Биаррице и еще где-то, – пишет Варвара, – и в мое распоряжение была отдана художественно обставленная квартира на бульваре *St. Michel* с полным пансионом. В квартире оставался только преданный им слуга, Арман, домоправитель и великолепный повар (в торжественные дни его звали готовить к министру Делькассе – родственнику Сониного мужа). Арману было лет за 40. Это был краснощекий, сухощавый овернец (вместо звука «с» произносил «ш»). Он кормил меня разными деликатесами и смущал тем, что во время обеда стоял в дверях, расспрашивая какое блюдо и насколько мне нравится и обсуждал меню завтрашнего дня. На столе каждый день появлялся букет свежих цветов”^[62].

Софья Балаховская-Пети некоторое время будет подругой и союзницей Варвары. Полгода спустя они вместе поедут завоевывать литературный Петербург в салон Зинаиды Венгеровой, близкой подруги Софьи.

А пока Варвара обходит галереи, погружается в бурную парижскую жизнь, Лев Исаакович пишет ей бодрое письмо на бумаге с виньеткой *Karlsbad*, в котором он по-учительски наставляет ее, беспокоясь о том, каково ей будет одной в Париже.

Он советует ей, что читать и писать, с кем встречаться, с кем нет. Но главное, он абсолютно уверен в их общей будущей жизни, – ее, его и Насти – которая ему видится. Куда делись надрывные ноты? Он все более ироничен и нежно покровительственен по отношению к ней:

...Когда вы будете опять с нами, я все свое влияние употреблю, чтоб направить вас именно по этому пути. Но напишите все-таки, что вы сами намерены читать: вы говорите, что у вас есть уже программа. Да – еще: непременно пишите. Я знаю, что у вас есть планы. Старайтесь их осуществить. Вам это необходимо, чтобы давать себе отчет в своих настроениях. И затем – не бойтесь бездны премудрости. Она не так страшна. И мне много недостает в знаниях: больше, чем вам, если принять в соображение, что от меня требуется. А я не робею. Не робейте и вы. Бывают грустные настроения – но они относятся к тому проклятому случаю, который наделал столько бед в моей жизни. А помимо этого, я убежден, что еще добьюсь своего, и выведу и вас, и Настю на путь. Но вы, Вава, вы не бегите моих указаний и не вздумайте подчиниться влиянию того круга, который встретится вам в Париже...

Он ругает петербургское литературное общество, которое теперь оказалось в Париже, и всячески уговаривает Варвару не поддаваться их влиянию:

...Поклонитесь С.Г.^[63] и г-ну Пети. Напишите, что вы нашли в Париже, каких людей и какие нравы. И встречали ли вы Флексера (Волынского) и какое впечатление произвел на вас этот бумажный арлекин^[64].

Имя Насти проходило через все письма Льва Исааковича этого времени, но голоса ее нигде нет. Скорее всего, она уже поняла, в какой переплет попала, и все дальше отходила от своего возлюбленного, который продолжал считать ее своей невестой и надеяться, что они рано или поздно соединятся.

Варвара же снова увлеклась. Теперь она несется по воле волн. На ее горизонте возникает красивый молодой человек по имени Андрей Иванович Шингарёв – врач, будущий трагически знаменитый депутат Государственной Думы (он будет убит пьяными матросами в 1918 году).

...Встреча в Париже у Чичкиной. Синеглазый доктор, что-то изыскано русское, что-то былинное в походке. Алёша Попович? Чурила Пленкович? И того, и другого понемногу, но и просто “млад – ясен сокол”, Иван Царевич, молодой месяц. И глаза. Сестра Настя позже, когда служила под его началом, писала о них: “Я знала, что могут такие глаза мой дух без возврата унести. В них первая свежесть, ночная гроза, в них тайна глубокая есть”. Потянуло ли его ко мне с первой встречи так же трагически сильно, как меня к нему, не знаю. Но знаю: что-то началось. Стали видаться каждый день. Осматривали вместе музеи, *Notre Dame*; пригородные места. Иногда вдвоем, иногда с его сестрой^[65], с Чичкиной и с П.Г. Смидовичем (теперь секретарь исполкома). Ярко-синяя шелковая рубаша, ярко-синие глаза. Они истлели теперь в земле, как и шелк этой рубашки. “Разбилась прекрасная форма”. Все парижские дни окрасились тогда этой живой лазурью глаз, глядевших на меня все пристальнее, все неотрывнее, все ласковее и тревожнее с каждым днем. В Медонском лесу уже была та торжественная грусть, которая стоит на страже входящих в душу серьезных чувств, уже можно было обмениваться долгими безмолвными взглядами. Можно было говорить о самом важном, о чем говорят с ближайшими друзьями. <...> То, что принесли в мою жизнь его глаза, было еще высоко и далеко от помыслов брачного характера. “Кто веслом так ловко правит через аир и купырь? Это тот Попович славный, тот Алёша-богатырь”, и “у ног его царевна полоненная сидит”^[66]. Эта царевна была я. Он часто читал это стихотворение; и другие стихи А. Толстого, своего любимого поэта. И у него в ту пору, я думаю, не было обо мне ни одной мужской, страстной мысли. “Вы, – сказал он мне однажды, – тень от облака ходячего, вас не прибить гвоздем к сырой земле”. В Россию решили возвращаться вместе, втроем, Андрей Иванович, его сестра Саша и я. Близость в вагоне, в тесноте создала новую, волнующую, земную тягу. Сестру, изнеженную и истеричную, уложили кое-как. Пришлось сесть тесно, прижавшись, друг к другу. “Давайте спать по очереди. Вы на моем плече, а я потом на вашем. У меня есть маленькая подушечка”. Это была наша первая и последняя брачная ночь. Без поцелуев и объятий, но в глубоком слиянии душ. Слышно было, как бьется сердце и свое, и другое, и в каждом ударе его – глубокое, трагическое счастье. Приподнималась с плеча голова, и встречали глаза долгий-долгий, откровенно любящий взгляд. Мелькнули, как сон из другой, из нашей общей жизни, ворвавшиеся в эту, разделенную навеки, – мелькнули Инсбрук, Зальцбург, Вена. На границе меня арестовали, – я взяла запретные рукописи с печатью Союз <...> Совет, которые дал мне Смидович^[67].

Варвара вместе с Шингарёвым и его сестрой выезжает из Парижа в Россию. Луначарские – Смидовичи дают ей в дорогу сверток с запрещенной литературой. На границе был произведен обыск, и Варвару арестовали.

2 июля 1896 года, на пограничной станции Волочиск, при осмотре вещей у прибывших из-за границы, было обнаружено, что в саквояже домашней учительницы Варвары Малафеевой, между прочими вещами, находилась рукописная тетрадь с заметками противоправительственного содержания. В виду этого Малафеева была арестована и отправлена в С. Петербург. <...> Привлеченная к дознанию в качестве обвиняемой Варвара Малафеева объяснила, что, находясь для поправления здоровья в Италии, задумала, по окончании курса лечения, осмотреть Париж. С этой целью она получила от своих знакомых рекомендательное письмо к проживавшей в Париже Варваре Васильевне Чичкиной. Познакомясь с последней, Малафеева посещала ее и встретила там некоего Петра Смидовича, который, зная хорошо Париж, сопровождал Малафееву при осмотре города. Узнав, что она вскоре собирается в Россию, Пётр Смидович обратился к ней с просьбой отвезти его матери свои “исторические заметки” и передал ей довольно толстый сверток, обернутый серой бумагой и обвязанный шнурком; при этом он объяснил, что этот сверток нужно передать Начальнику станции “Лаптево” Николаевской железной дороги, для дальнейшего отправления в село Зыбино, на имя Марии Тимофеевны Смидович или же отправить заказной бандеролью из Москвы. На вопрос Малафеевой, почему он не отправляет свертка этого прямо из Парижа, Смидович сказал, что посылки часто теряются; при этой передаче Смидович спросил у Малафеевой, не привлекалась ли она ранее к политическим делам и, получив отрицательный ответ, добавил, что в таком случае ей нечего опасаться подробного осмотра на границе; письмо с адресом г-жи Смидович было, по словам Петра Смидовича, вложено в сверток. Малафеева, недалеко от границы, желая вспомнить точный адрес г-жи Смидович, развернула сверток, но самое письмо оставила по прежнему в тетради, содержанием которой не поинтересовалась. Кроме этого свертка Смидович дал ей рекомендательное письмо к сестре своей Ольге Смидович, которую Малафеева должна была разыскать в Москве через Адресный Стол или при содействии некоей г-жи Якобсон. В Волочиске Малафеева отдала, по первому требованию, свой саквояж, несколько не подозревая преступного содержания упомянутого свертка и на вопросы жандармского офицера изложила все приведенные обстоятельства^[68].

Отпустили ее почти сразу: в поздних, уже советских автобиографиях она склонна была преувеличивать тяготы, понесенные ею при участии в революционном движении, чтобы получить

повышенную пенсию, но в действительности все закончилось подпиской о невыезде, а вскоре дело и вовсе было прекращено.

Варвара, недолго пробыв под следствием, возвращается в Киев.

Лето - осень 1896 года

Летом Лев Исаакович пишет Варваре из Берлина в Киев, но ни словом не упоминает, что ему должны сделать операцию. Какую? Неясно. Ведь болезнь его сугубо нервная. В своем письме он называет ее по-дружески Вавой, волнуется о ней и вновь спрашивает о Насте. Предлагает прислать им немного денег. В этом послании он между прочим высказывает дорогую для него мысль о страдании, отсылая Варвару к открытому им совсем недавно немецкому философу:

...Ницше в каком<-то> письме сказал, что горе и лишения не принадлежат к “ненужному и неразумному в человеческом существовании”, а *gehören zur Sache*^[69] – будем жить этой верой, которая, быть может, гораздо глубже убеждения, где горе и лишения бесполезны. Ибо, в таком случае вся жизнь, где всякому дано лишь исчезновение, а вечны лишь утраты – одна большая бессмыслица. И посему, я не хочу жаловаться.

Из месяца в месяц Лев Исаакович накапливает тот трагический опыт, который окажется абсолютно необходим для всех его философских работ. В книге “Достоевский и Ницше” он напишет: “Трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства, и, по-видимому, настало время не отрицать страдания, как некую фиктивную действительность, от которой можно, как крестом от черта, избавиться магическим словом «ее не должно быть», а принять их, признать и, быть может, наконец понять. Наука наша до сих пор умела только отворачиваться от всего страшного в жизни, будто бы оно совсем не существовало, и противопоставлять ему идеалы, как будто бы идеалы и есть настоящая реальность”.

Понять и принять трагедию существования.

В конце письма Варваре он с грустью отмечает: “Полегоньку, да понемногу на шаг отодвигаемся друг от друга, что скоро с трудом будем понимать один другого”.

Конечно, он не может не чувствовать, что их уносит в разные стороны, но будет еще хвататься за надежду на общую жизнь. Нет, не с Варварой. Хотя бы с Настей. Поэтому он продолжает объяснять родителям, что его будущее с Настей – дело решенное.

В письме отцу в августе 1896 года Шестов пишет:

...Как утопающий хватается за соломинку, так я ухватился за последнюю надежду на спасение. Эта девушка, о которой говорили столько дурного, не заслуживает тех упреков, которые так сыплются на нее со всех сторон. Я тоже умею узнавать людей. Она добрая, умная и честная девушка. Единственный ее недостаток – это сдержанность и застенчивость, которая многими принимается за скрытность и враждебность к людям. Но не в этом еще дело. И не в том дело, что она, как ты пишешь, по мнению некоторых, некрасива. Если бы мне было 18 лет – это было бы страшно. Главное в том, что она христианка и мне нельзя жениться на ней. Это действительно ужасно, ибо по теперешним понятиям в России брак невозможен – а вы ее не можете принять в дом, если она останется христианкой. Прежде я об этом не думал. Я искал себе спасения, искал пристанища, и нашедши его был рад, что хоть немного отдохну. <...> Что теперь делать? Теперь, когда после целого года таких ужасных мук, как те, которые мне пришлось вынести, после двух операций – я еще не в силах даже собраться с мыслями, чтоб обдумать свое положение, поискать выхода какого-нибудь, ты хочешь, чтобы я отказался от своих намерений. Я обещал вам ничего не предпринимать без вашего согласия и от слова своего не откажусь. Но, ради Бога, дайте мне время осмотреться, прийти в себя. Когда я стану здоровее, крепче – тогда я сам от себя, и вы от меня можете требовать больше. Пока я даже от операции не оправился. И не знаю, принесет ли она мне пользу. Всего несколько дней, как я избавился от мучительнейших болей, которые наводили меня на мысль, что операция не только не улучшила, но значительно ухудшила мое положение. Оправиться труднее, чем заболеть. Я пять лет болел – если я не подумаю о своем здоровье, болезнь, в излечении которой я и теперь не уверен, вернется во всей своей прежней силе и тогда я снова никуда не годный человек. Если же я успокоюсь, если вследствие этого, болезнь хоть уменьшится (боли происходят чисто на нервной почве), тогда мы окончательно все разрешим. Твои желания, мамшино спокойствие мне гораздо дороже, чем кто-нибудь может думать^[70].

Но, по всей видимости, Настя во всех этих планах Льва Исааковича участия не принимает. Еще в самом начале истории, встретившись с сестрой, она поняла, что и Варвара вовсе не была равнодушна к ее избраннику, и сам Лев Исаакович был привязан именно к старшей сестре.

Именно поэтому Лев Исаакович вынужден писать матери 6 сентября 1896 года:

Теперь можешь быть спокойной. Настя и не думает сюда приезжать. Она, вероятно, поступит на какие-нибудь курсы в Петербурге или Москве. Это будет для нее самое лучшее, если окажется возможным. О ее приезде, повторяю тебе, и речи нет и не будет.

Он напоминает матери:

Не забудь, что я сделал эту девушку несчастной.
И тут же:

О здоровье своем мне нечего говорить. До сих пор я в таком положении, что не могу заметить хоть какой-нибудь пользы от операции. Боли сильные и продолжительные. Таких до операции не было. Но я уже свыкся со своей болезнью и терпеливо выношу ее.

Он чувствует себя разбитым, очень больным человеком с нечистой совестью, и это не может его не угнетать.

3 октября 1896 года из Мюнхена Лев Исаакович пишет в Воронеж Вава – теперь он всегда будет так ее называть – очень нежное и в то же время ироничное письмо:

Сейчас, дорогая Вава, написал письмо С<офье> Г<ригорьевне>. Мне хотелось переписать его и послать Вам. Не потому, что оно так умно или тонко написано, а чтобы хоть раз в ином тоне что-нибудь написать Вам, чтобы хоть раз попросту, как все люди, поболтать с Вами. Боже мой – уже ровно год, как мы с Вами расстались и еще ни одного простого письма, где бы не было речи о задачах человека и о существовании Бога, я не написал Вам. Но как писать Вам иначе, если Ваши коротенькие, большей частью наскоро написанные письма полны всегда такого отчаяния! Язык не поворачивается говорить о чем-либо запросто! Я уже думал: ведь и Вы, и я – мы ведь не всегда строго, серьезно и торжественно настроены. Ведь смеемся же мы и радуемся. Отчего же все письма носят такой монотонно-угрюмый характер, словно мы разговариваем у постели умирающего. И так мы привыкли к этому тону, что всякий другой показался бы уже почти неприличным. Но ведь мы еще не умираем, живем еще и надеемся, так <нрзб> уж неприлично немного повеселее поговорить?

Он призывает ее перейти в переписке на менее драматичный тон. Л.И. шутит, хотя ему явно не до шуток. Он занят своей большой работой о Шекспире. И тут он делает важное признание:

...Я собираюсь писать о Шекспире – а разве можно говорить о трагедиях и не разъяснить всей той спорной путаницы, которую мы пережили за этот год. <...>

Но, если Вы будете жить с нами, я надеюсь еще направить Вас. Все-таки, я старше Вас, больше жил и больше видел. Со мной Вам можно было бы Нитше читать. А одной нельзя. “Мне даны ноги, говорит он, не за тем, чтоб ходить, а чтоб топтать, давить”. Ну-с, есть у Вас охота попасть ему под ноги? Он безжалостен: помните это. Потому, запаситесь терпением. Со мной прочтете его и останетесь верить Евангелию. Помните: “все это дам тебе, если падши поклонисься”. – Отойди от меня, Сатана... И еще: “претерпевший до конца – спасется”.

Вообще, в этом письме было запечатано столько идей, рассыпано столько будущих замыслов, что, кажется, оно фиксирует один из поворотных моментов в жизни Льва Исааковича. Здесь и Ницше, который может растоптать своего читателя, если его неправильно понять, и Евангелие, которое становится более прозрачным после чтения немецкого философа. Отсылки к их первому разговору об искушениях дьявола. И любимое высказывание уже философа Шестова: “Претерпевший до конца – спасется”.

В этой истории он все еще видит их возможную жизнь с совместным чтением в общем доме, но, вероятно, уже и сам понимает, что это утопия. В конце октября 1896 года в письме из Берлина он уже осознаёт, что все его надежды не оправдались:

...Грустно мне, Вава, читать Ваши письма. Грустно еще и потому, что Настя заперлась от меня совершенно. Мне кажется, что она не только Вам но и мне не хочет простить прошлого. Если бы она умела рассказать все Вам и мне было бы много лучше. Но, она с каждым днем все глубже и глубже уходит в себя. Слава Богу, что она не поехала в деревню. Может быть, в Киеве она развеется немного.

И тут же:

...Судьба разлучила нас, и меня, и Вас, и Настю. Но друзьями мы можем, должны остаться. Мне больно, невероятно больно думать, что и в этом мы не победили судьбы. Но, может быть, победим...

А тем временем в киевской газете “Жизнь и искусство” от 2 октября 1896 года в очередном обзоре он делится безрадостными размышлениями со своими читателями: “Говорят любовь ясновидяща, любовь слепа... И чего только не говорят о любви! Одно достоверно: зарождаясь в тайниках души, одного любовь ведет на высоты нравственного совершенствования, другого любовь толкает в болото духовного растрепания. Посланица ли она небес, или проклятье первого грешника, но именно она есть тот неуывающий мотив жизни, под звуки которого человек живет, умирает, и без звуков которого сама жизнь становится «мечтанием пустым»”.

Свой медицинский диагноз в письмах Лев Исаакович не произносит ни разу. Он говорит о неких припадках, неврастении, болях, но они не объясняют основного – что это за болезнь? Еще больше затемняет смысл разговор с родителями о будущей операции.

В конце октября того же года он объясняет родителям, почему не остался жить в Париже:

Я торопился, так как мне хотелось жить спокойно, чтобы опять не заболеть. А к врачу я не обратился потому, что мне на мои расспросы все отвечали, что врачи в Париже – шарлатаны. Я хотел было ехать в Берлин, но мне вдруг стало хорошо, и я надеялся, что больше лечиться не нужно будет. А теперь снова стали являться боли и я уже не хочу запускать и думаю ехать, как можно скорее... Лучше мне уже кончать лечение в Берлине. Бергман видел меня до операции, знает мою болезнь – может быть, он лучше посоветует. Во всяком случае, я, если до получения ответа вашего выеду отсюда, то телеграфирую вам. В общем – здоровье мое хорошо. Если бы не эта болезнь – мне не на что было бы жаловаться: желудок отличный, сплю крепко. В этом отношении морские купания помогли.

Некий немецкий врач сделал ему операцию. Бергманн^[71] был знаменитый хирург, который делал сложные операции на мозге. Но представить, что у Льва Исааковича была надобность в таком вмешательстве, невозможно.

И уже в самом конце октября он пишет родителям:

Вчера был у Бергмана, но даром только деньги выбросил. Я ничего от него не добился. Он свое окончил, операцию сделал – и теперь ничего знать не хочет. Посоветовал мне свинцовые примочки. Израэли, другой профессор, был гораздо внимательнее. Он высказал, что не следовало делать операцию. Что боли от совсем других причин и приписал два лекарства, затем какие-то ванны. Я думаю, исполнить все это, нужно же что-нибудь делать. Но с врачами – беда. Если у многих спрашивать, то не будешь знать, что делать. Каждый советует по-

своему, даже диагнозы разные ставят. Попробую Израэли послушать, хотя мне все кажется, что это только лишние хлопоты: лекарства, да еще внутренние никогда много пользы не приносят.

За границей и в России. Конец 1896 года

В журнальном обзрении киевской газеты “Жизнь и искусство” вновь появляется обзор Льва Исааковича под псевдонимом “Читатель”, где он почти документально описывает свое физическое и моральное состояние: “Если когда-либо злой недуг приковывал вас к постели на долгие месяцы, то вы помните свой первый выход под веселые теплые лучи весеннего солнышка. Вы помните, с какой жадностью в этот день захватывали вы в грудь теплый, легкий, струящийся воздух; вы помните, как жадно-любовно глаза ваши впивались во все, что открывалось вашему взору: и нежная лазурь неба, и кисейные тучки на нем, и зазеленевшее свежей листвою деревцо, и случайный прохожий, и пробежавшая собака, и пролетевшая птица, – все привлекало и тешило ваш глаз: вы любовались, радовались жизнью, вы пожирали природу всем измученным в болезни существом своим”.

В конце 1896 года Лев Исаакович, обсуждая в письме с Софьей Григорьевной Балаховской-Пети ее брата Митю, о котором речь шла выше, откровенно признается: “А порвать с прошлым, найти для себя новое небо, навряд ли сумеет. И я бы не сумел, если хотите знать. *Меня случай привел к решительному повороту* (выделено мной. – Н. Г.). И какое это счастье! Что бы я делал теперь, если бы у меня короля Лира и Гамлета не было?”^[72]

Теперь все пережитое за последний год, при всей драматичности событий, дает ему энергию к творческому росту, который он ощущает как счастье. Тем удивительнее все происходящее с ним дальше. Возникает необходимость все договорить до конца, разрубить узлы между ним, Настей и Вавой. В письмах поздней осени 1896 года он пишет о том, как Настя оказалась внутри их с Варварой отношений:

...Если Вы говорите о письмах из Ниццы, то ведь, их содержание ей было известно – это я увидел сейчас же, как она приехала. И теперь ничего не должно быть тайной от Насти, дорогая Вава. И она не должна ничего скрывать. Но я уже писал ей, что она мне многого не говорит – и это нехорошо. Я был виной тому, что Вы научились иметь тайны от Насти. И это очень горько. Настя за этот год перестала быть девочкой – и стала женщиной. Она много и прежде выносила – но все это оказалось ничтожным пред тем, что в этом году она вынесла. Теперь – она лучший друг для Вас, который все поймет, что Вы ей скажете. Я

хотел обереечь ее от горя и накликал на ее голову самую ужасную беду, какая только могла быть.

Еще до конца не зная своего будущего, Лев Исаакович подводит итог той короткой, но в то же время насыщенной истории, где все любят друг друга, как в пьесах Чехова, и где у каждого в сердце остается шрам от происшествий 1895-1896 годов. “Вы обе сыграли такую роль в моей жизни, что мы навсегда связаны. Чтобы ни случилось в моей жизни – началом его – Вы и Настя”.

Грядут новые события. С точки зрения исполнения судьбы философа, неясно, то ли это завершающий аккорд, прозвучавший в письме Льва Исааковича Варваре, вызвал буквально из воздуха – студентку-медичку Анну Березовскую, то ли в его одинокую больную жизнь наконец пришло спасение.

Появление Анны Березовской

Когда Варвара Григорьевна в дневнике пыталась объяснить себе и будущим читателям, почему в жизнь Льва Исааковича неожиданно вошла другая женщина, она написала, что, пока они с сестрой благородно решали, кому соединиться с будущим философом, и она уступила его, наконец, сестре, за тот год заграничной жизни он встретился с женщиной, “которая с величайшей простотой и безо всяких с обеих сторон обязательств привела его на свое ложе”^[73].

В позднем анализе тех обстоятельств нельзя искать объективной картины. К концу 1896 года Настя полностью устранилась из этого треугольника, считая себя в нем лишней и нелюбимой, а Варвара, пережив уже несколько любовных приключений, собиралась ехать в Петербург искать счастья на литературном поприще. Ни о каком сближении или соединении с Львом Исааковичем речи не шло. Хотя спустя время ей виделось все по-иному. Возможно, что-то и могло произойти, но в тот критический момент на пороге жизни Льва Исааковича появилась молодая женщина, которая приняла решение за него.

В своем письме к дочери, Наталье Барановой-Шестовой, которая в 1945 году задумалась о создании биографической книги об отце, Анна Елеазаровна Березовская рассказывает о возникновении отношений с Львом Исааковичем: “Милая Наташенька, я сначала расскажу о том, как Папа жил до 1896 г. (ошибка памяти А.Е. – они познакомились в 1897 году. – Н. Г.), когда мы встретились в Риме.

От вас мы старались всегда скрывать трудности нашей жизни. Когда Лёля кончил юридический факультет, (в 1888 г.?) он жил

некоторое время в Москве, где был недолго помощником присяжного поверенного. Затем ему пришлось вернуться в Киев, ибо его отец запутался в делах (магазин мануфактурных товаров) и надо было спасти семью от разорения. Лёля провел 6 лет в этом деле, распутал все, что было запущено, но это занятие, несвойственное его природе и устремлениям, настолько расстроило ему нервы, что он стал страдать очень сильными невралгиями, да и жизнь в его семье была не по нем; пришлось отправить его на излечение сначала в Берлин, а после на ванны в Рим, всё еще в плохом состоянии здоровья.

В 1896 году (события происходили в 1897-м. – *Н. Г.*) я с двумя студентками (еврейками) во время вакаций весенних поехала в Италию, нам дали его адрес в Риме. Он нас встретил, и я осталась в Италии, а мои подруги вернулись в Цюрих. Нам пришлось скрывать, что мы сошлись, потому что его родители были бы против его связи с христианкой”^[74].

Хотелось бы обратить внимание на то, что Варваре нельзя было отказать в прозорливости. Инициатива в том, чтобы “сойтись”, безусловно, принадлежала Анне Березовской. Хотя само слово “сошлись” настолько не подходит к характеру Льва Исааковича, что даже странно его видеть написанным о Шестове. Но несомненно следующее: одиночество и некая тупиковость жизненной ситуации сделали свое дело. Подруги-студентки уехали, а Анна Березовская осталась в качестве любовницы с полужнакомым молодым человеком. К сожалению, нигде и никогда не появится объяснения, зачем он ей понадобился – не очень здоровый, странный философ-еврей, который никак не мог на ней жениться. Правда, будут домыслы подруги Шестова, Евгении Герцык; они прозвучат здесь чуть позже, но это были явно романтические умозаключения.

Скорее всего, встреча с Анной происходит в самом начале апреля 1897 года. Именно тогда Лев Исаакович отправляет темпераментное письмо Софье Григорьевне, разумеется, оставляя все случившееся за скобками, но эмоции прорываются в каждой строчке:

Апрель 1897

Теперь, зато я устроен чудесно. Живу почти в раю, ибо, если есть рай на свете – такой, каким его представляли себе люди, то этот рай в Вико. Здесь живут не знающие скорбей человеки. Право! Все здесь так довольны своим существованием, что в молитвах никто ни о чем не просит Бога, как только о том, чтобы все осталось по-прежнему. И я скоро тоже стану таким. Правда, мне еще хочется быть здоровым. Но, когда мне становится лучше, я все позабываю и тоже ничего больше не хочу. Передо мной Везувий, Неаполитанский залив и Неаполь. Воздух дивный. Квартира, – в которой, может быть, жил сам Брут. Макароны десяти сортов разнообразят стол. Общество – Работников (я его

вытащил сюда) – что же лучше? Тем более, что статью я уже услал в Питер и забыл о ней... Хорошо, совсем хорошо. Скоро купанья начнутся. Вот Вам все о себе^[75].

Его друг Работников, которому Лев Исаакович на пороге смерти устроил поездку на теплое море, все еще надеясь на его исцеление, совсем скоро покинет этот мир^[76]. Но это время Шестов проводит в обществе Анны. Весной 1897 года они поехали из Рима осмотреть Неаполь, Сорренто и Капри, а потом поселились на все лето в прелестном местечке Вико около Неаполя, на берегу моря. Воспоминания об этом чудесном путешествии у А.Е. остались на всю жизнь. На столе у нее всегда стояла небольшая фотография Голубого грота, который они тогда посетили. Эти факты приводит Наталья Баранова в своей книге об отце.

“После первого года, проведенного в Италии, – продолжала Анна Елеазаровна свой рассказ о прошлом в письме дочери, – мы жили врозь, виделись только иногда летом. (Из прилагаемых писем ты увидишь, как это было тяжело.) Все это время Лёля жил большей частью в Киеве, чтобы иметь возможность высылать нам на жизнь, да и Серёжа еще был у него на руках. Иногда он уезжал в Петербург и за границу; еще в тот год, как мы жили в Риме (1897–1898), он писал «Шекспир и его критик Брандес»^[77], но для заработка ему приходилось писать статьи в газеты, что, конечно, мешало его основной работе”.

Так они прожили вместе до рождения старшей дочери Тани, которая появилась на свет 31 декабря 1897 года. Но главная линия воспоминаний точна: Лев Исаакович уезжал, а Анна вынуждена была оставаться одна. Кем же была будущая жена Льва Исааковича Шестова, возникшая в нужное время в нужном месте и, наконец, создавшая ему семью?

Анна Елеазаровна родилась 17 (29) апреля 1870 года в Тамбовской губернии. Она была дочерью помещика, потомственного дворянина, коллежского асессора Елеазара Александровича Березовского и Александры Николаевны Костомаровой. Отец А.Е. умер, когда ей было шестнадцать лет, а мать свою она потеряла еще раньше. Собственно, этим и объясняется ее относительная свобода действий. Она уехала учиться, встретила с человеком, который ей понравился, и стала с ним жить.

У нее было пять братьев: Сергей – известный московский хирург, в будущем профессор Московского университета; Александр, унаследовавший имение отца в Симбирской губернии; Николай – инженер; Пётр – драматический актер, игравший в провинциальных театрах; Алексей, которого убили на дуэли, когда он был еще студентом Петровской академии. Березовские были в родстве с семьей анархиста П.А. Кропоткина, а также с С.А. Муромцевым, председателем

Первой Думы. В архиве Льва Исааковича, как пишет Наталья Баранова-Шестова, сохранилась фотография, на которой Анна Елеазаровна снята с Олей Муромцевой в гимназической форме. А.Е. была очень дружна с Верой Николаевной Буниной, урожденной Муромцевой, племянницей С.А. Муромцева. Бунин называл ее “тетушкой”. Еще учась в гимназии, А.Е. решила поехать в Швейцарию изучать медицину, чтобы лечить русских крестьян. Ей пришлось преодолеть много препятствий, чтобы осуществить этот план. В 1897 году она отправилась в Цюрих. Александр Березовский, ее брат, станет председателем Ардатовской уездной земской управы в 1904-1907-м и членом Третьей Государственной Думы от Симбирской губернии и позже вступит в кадетскую партию.

Николай Елеазарович в 1902 году выпустил книжку “О нормальных проектах судовой машины”^[78]. Именно он напишет своей сестре очень раздраженное письмо. Наверное, Анна будет вынуждена рассказать братьям о своей беременности и невозможности вступить в брак с неправославным. Тогда, видимо, возникнет разговор о том, что если она бросит Льва Исааковича, то братья согласятся усыновить ее ребенка.

Сестра! Все деньги Катя^[79] отдала тебе; все твои деньги находятся в государственных бумагах у Серёжи и Саши. Я никаких больше денежных счетов с тобой не имею. Было – молодцу не укор и молю Бога, чтобы он вразумил тебя; будь уверена, что всегда найдешь поддержку как у меня, так и у других братьев. Ты мне сестра потому, что ты дочь моего отца и дочь моей матери, и мне жаль, что с тобой случилось то, о чем ты пишешь. Но не отчаивайся никогда, если будет тяжело, пиши мне и я помогу тебе. Бог с тобой, не знаю подробностей, но мне до слез жалко тебя. Переменить веру, опозорить семью, память отца и матери, постыдно. Правда, что ты не виновата, тебя обольстил хитрый жид, но помни, что я тебе говорил, когда ты уезжала, я знал наперед, что так будет. И теперь говорю тебе, когда у тебя откроются глаза, приходи и я приму тебя, как блудного сына. Твой Николай^[80].

Но, скорее всего, сомнения Анны по поводу своего будущего привели ее к мысли о том, что лучше оставаться невенчанной женой, чем быть зависимой от братьев.

Как уже говорилось выше, первую общую зиму 1897-1898 годов Лев Исаакович с Анной прожили в Риме, где у них родилась дочь Татьяна. После рождения ребенка было решено, что А.Е. следует возобновить прерванные занятия медициной и получить профессию, так как будущее семьи в то время представлялось неопределенным. Весной 1898-го она вернулась с маленькой Таней в Швейцарию, где продолжила учебу в Цюрихе, в Берне и главным образом в Лозанне. Лев Исаакович тоже приехал в Швейцарию, где оставался до конца 1898

года. Жить им приходилось врозь, так как он боялся, что родители могут узнать о ребенке и внебрачной связи. Осенью 1898-го он отправил Анне Елеазаровне покаянное письмо. Видно, насколько оно по интонации отличается от тех, которые Л.И. посылал Варваре. Он пишет А.Е. так, словно они прожили вместе не один год и успели устать друг от друга. И в то же время он понимает, что именно с этой женщиной он будет иметь покой и общий кров.

[10] 1898

Ферма около Лозанны

Получил сейчас на почте твою открытку, дорогая моя. Мне хочется писать тебе и ждать ответа. Какой смысл писать эти письма, когда никак и нигде мне не удастся помочь тебе? Если бы я не боялся припадков, я бы приехал, побегал бы по Берну и, наверное, нашел квартиру. Но теперь я уверен, что если приеду, то буду только в тягость тебе. И, действительно, ничего из того, что нужно было бы тебе, я не могу сделать. Хотел искать здесь прислугу – но ведь этого ни под каким видом не следует делать. <...> Лозанна маленький городок – и скрыться трудно. Мне ничего бы не стоило поискать и я, наверное, нашел бы, если б не боялся оказать тебе медвежью услугу. Все это так неприятно, так злит, эти вечные “если бы”, так надоели, что мне стыдно писать тебе.

Я наводил справки насчет заключения брака. Кажется, на паспорте отметок не делают. Но, отнимают метрики. Так мне сказал один знакомый <нрзб>. Он тоже русский подданный. Но, опять же, хлопот будет много. Нам обоим нужно по крайней мере 6 недель жить в одном и том же месте. Затем – необходимо публиковать о заключении брака. Я думаю, что лучше всего нам будет это устроить не в Швейцарии, а в Италии. Можно поехать в Милан и там устроить. В Берне или Лозанне это очень опасно, так как здесь всюду знакомые. Вчера я встретил в Лозанне одного молодчика, которого я сам когда-то выправил за границу. Если бы он узнал, хорошо было бы мне. Он здесь совсем одичал и, конечно, не преминул бы воспользоваться нашей тайной. Словом, нужно приготовиться. Если бы кто-нибудь из твоих друзей согласился остаться в течение следующих вакаций с Таней в Берне, то ты могла бы уехать в Милан и все устроить. В Италии на этот счет удобнее всего. Там можно и подсунуть чиновнику все в таком роде. А правила там почти одни и те же. Как глупо мы сделали, что не устроили всего этого в Италии! Это было бы так легко и просто. <...>

В Берн мне лучше попозже ехать, а не сейчас. Я перестал принимать порошки и хочу подождать, чтоб увидеть, как будет с болями. Иначе, *Cassu* не может мне дать никакого эффекта. Вот уже неделю, как я его не принимаю. Пока ничего; хотя отдельные угрозы старых болей чувствовались. Но – далеко не заходило. Я прожду еще

некоторое время – тогда будет видно. И затем, лучше бы мне приехать, когда у тебя квартира будет. А то – плата в гостинице не слишком ли дорого. Лучше я тебе заплачу: теперь у меня будут деньги. А то я только разорил тебя! Напиши мне письмо подробное, а не открытку. Мне так совестно перед тобой и так больно, что я ничем не могу помочь тебе. И все кажется, что ты сердишься на меня. И, наверное, в душе сердишься, только говорить не хочешь. Правда? Признайся уже. Лучше выругайся, нехорошо, конечно, но, когда ты молчишь, еще хуже. Выходит, будто бы я тебе чужой. А я твой, весь твой и только обстоятельства мешают мне доказать это тебе так, чтоб у тебя сомнений не оставалось. И не из нравственности, а потому, что ты мне нужней всего на свете. Если бы мы могли спокойно жить вместе – я бы на половину был уже удовлетворен. Вторая половина – только еще работа. Ты – да работа: вот все дамы, которые меня занимают. Ты видишь, ничего не дается: по крайней мере мне. До тебя никак не доберешься и работу трудно добыть. А другим все с неба падает! Может за то лучше будем знать свое счастье, когда добьемся его. Целую тебя нежно и обнимаю от всей души. А ты уже и обнимать, и целовать меня перестала! Злая девочка. Пиши на домашний адрес: *If Grangette. Lausanne*. Поцелуй Таню за меня. Видишь, я совсем разнежился. А не следует: нужно держаться крепко^[81].

Романтический флер его тайной семейной жизни пыталась приоткрыть в своих мемуарах Евгения Герцык. Скорее всего, она просто дорисовала за него историю: “Какая-то трагическая черта в его лице поразила курсистку-медичку, и когда ее товарищи двинулись дальше, она осталась сиделкой, поддержкой никому неизвестного молодого еврея. Вероятно, тогда она и вправду уберегла Льва Исааковича, но может быть и позже не раз ее спокойствие, трезвость, самоотвержение служили ему опорой. Шестов должен был скрывать брак от родителей, так как его отец ни за что не дал бы своего согласия на то, чтобы сын женился на православной девушке. Братья А.Е., конечно, тоже не одобряли этого брака. Младшей сестре Фане, с которой Шестов был очень дружен, он сообщил о браке в 1898 году, когда Фаня приехала за границу, а другим сестрам и братьям, вероятно, только несколько лет спустя. Отец, вероятно, о браке так и не узнал, а матери он сообщил после смерти отца”^[82].

По тогдашним русским законам брак был нелегальным, и документы А.Е. и детей были сделаны на ее имя. Дети оставались “незаконнорожденными”, но с согласия Шестова они были крещены.

Итак, то, чего так боялись родители, случилось. Лев Исаакович стал жить в гражданском браке с христианкой. Но не с Настей и не с Варварой, а с Анной Елеазаровной Березовской.

Но разговор не прерывается...

Лев Исаакович продолжает делиться с Варварой своими замыслами и литературными планами. Для него будто ничего не изменилось. Он говорит с ней обо всем, что его волнует в это время. А волнует его больше всего – Ницше. Лев Исаакович буквально болен им и пишет большую работу о нем и Льве Толстом.

“Нам важно, что оба, – рассуждает Шестов в своих заметках, – они представляют к нравственности такое требование, какого не предъявляет ни один философ <...>. У обоих душевное потрясение было так велико <...>, что они могли принять нравственность, если у нее не отнималось божественное происхождение, если она могла быть Бога. Гр. Толстой на этом остановился. Он не хотел и не мог идти дальше”^[83].

Сквозь понимание Ницше, которого он считает именно тем, кто “претерпел до конца” и потому спасся, кто более верующий, чем все, кто постоянно твердит о Боге и нравственности, Лев Исаакович идет к своей главной теме.

Он уже знает, чувствует, что должен делать, для чего ему нужно жить. А Варвара блуждает. С февраля 1897 года она в Петербурге. Шестов мягко, но очень настойчиво убеждает ее перестать следовать то за одними, то за другими веяниями. Он упрекает ее в увлечении толстовством, в том, что она так и не разобралась в себе самой:

...Если б, пишете Вы, Бог приказал Вам убить Исаака Вы не сделали бы этого! Нет, ошибаетесь, Вы не только бы сделали – а были бы несказанно рады тому. Что значат несколько лет жизни на земле, если есть Бог? И что значит наша “любовь” в сравнении с Богом? Ведь Бог – это высшая мудрость, высшая любовь; он всемогущ и всемогущ – так разве несколько часов, дней, лет страданий страшны для того, кто <нрзб> Бога? Понимаете? Это моя формула “по ту сторону добра и зла”.

Он видит то, что не дает ей двигаться вперед:

...Вам нужно и можно исправить свое прошлое. Поезжайте в Киев, закройте глаза на могилы, создайте себе прочное положение. У Вас всё есть: нужна только энергия. Если Вы и ее найдете у себя – Вы спаслись. А идеалам – Вы достаточно отдали, слишком много. Пора подумать о действительности.

Он намекает ей на ее выдуманный роман с доктором Петровским. На то, что она, по сути, еще не начинала жить. Но он не отступает от Вавы, которая дорога ему не только как любимая женщина, но теперь уже как друг и собеседник. Он говорит ей, что все объяснит статьей о Толстом и Ницше. Но статья еще не вышла, она появится в печати только в декабре 1899 года. Это письмо он заканчивает словами: “Пишите поскорее. Я люблю и получать Ваши письма, и отвечать Вам, хотя ни Вы мне, ни я Вам ничего приятного никогда не сообщаем”.

Как мы помним, в апреле в его жизни появляется новая женщина.

Наверное, именно поэтому его следующее письмо начинается со слов: “Давно не писал я Вам, дорогая Вава. И, думаю, Вы не очень об этом скорбите...” – обращается он к ней из того самого райского Вико с юга Италии весной 1897 года. Рассказывает, как с удовольствием читал ее рассказ “Облака” в “Жизни и искусстве”.

...Пишете ли Вы теперь что-нибудь? Мне так странно думать, что кто-нибудь может теперь писать. Я могу только ходить, спать, купаться. Я даже уже не понимаю, как это я свою статью написал. Теперь я с трудом складываю слова в фразу...

И вдруг у него прорывается что-то прежнее:

...Когда-то я боялся Вас отпускать. А теперь я боюсь бояться. Право, самый разумный жизненный принцип, это ничего не бояться. Ибо боящийся подвержен гораздо большим опасностям, чем смелый. Я не знаю, чем руководятся очень смелые люди; но, может быть – именно тем, что опасность опаснее, если ее избегаешь, чем если идешь ей навстречу. Это Вам скажет всякий, кто испытал опасность и знает ее особенности и свойства.

Нет даже намеков на его новое положение. Или, может быть, он не уверен еще, что связь с Анной надолго? Заметим, что это и последующие письма пишутся уже в присутствии Анны Елеазаровны. Казалось бы, после того как Лев Исаакович соединился с Анной, его история с Варварой должна была бы сойти на нет. Но ничего подобного не происходит. У Льва Исааковича выходят книги, рождается еще одна дочь, он разрывается между Киевом, Москвой, Петербургом и Швейцарией, где живут Анна и его дети, к нему приходит огромная слава, идут годы...

Однако Варвара Григорьевна все время рядом. У них общий круг друзей, общие интересы. Однажды все повторится вновь. И тут же погаснет.

Варварин Петербург. 1897 год

Еще в ноябре 1896 года Варвара в Воронеже готовилась к своей поездке в Петербург, о которой они договорились в Париже с Балаховской-Пети. Незадолго до их приезда Софья Григорьевна рассказывала своей близкой подруге Зинаиде Венгеровой о Варваре:

Я выеду отсюда через дней 8. Я поеду на Анжу в Париж. Со мной поедет Таня <нрзб>, а может, будет и моя *bella* <нрзб> с двумя детьми и с очень милой образованной воспитательницей их Варварой Григорьевной Малахиейвой. Об этой девушке я хотела с тобой поговорить, так как, если моя *bella* <нрзб> останется в Киеве, то Варвара Григорьевна уедет в Петербург. Я ее считаю совершенно выдающейся женщиной, <нрзб>. Один из ее рассказов настолько поразил меня, что, как только она приедет сюда я пришлю его тебе. Она <нрзб> гордая, чистая. Она часто мне напоминает тебя – это лучшее, что я могу сказать о ней. Если она поедет в Петербург, ты познакомься с нею и приласкай ее. Она легко сходится, как вообще люди <нрзб>. Рассказ ее называется “Люди, которые очень верят”, когда я тебе вышлю его, ты непременно сообщи мне твое мнение о нем^[84].

Видимо, реакция Венгеровой на восторги подруги по поводу Варвары была весьма иронична, поэтому Софья Григорьевна пишет ей:

8 декабря 1896

...То, что ты говоришь и тон, в котором ты говоришь о Вар. Гр. мне кажется забавным. Когда ты познакомишься с В.Г. близко, ты поймешь, что о ней нельзя говорить в снисходительном тоне. Она полна провинциализма (это именно и есть то, что я называю отсутствием вкуса в ней), но она величина и красивая величина^[85].

Софья Григорьевна еще в Париже, и Лев Исаакович рассказывает последние новости о Насе (видимо, она в курсе всей драмы) и о Варваре. Это письмо отправлено еще до появления Анны Елеазаровны, то есть осенью 1896 года, но оно говорит о том, как глубоко все участники тех событий были погружены в жизнь друг друга:

Новостей мало. Настя взяла место сельской учительницы. Надеюсь, что ненадолго. Вава – в Воронеже, с матерью – в нужде и тоске. Ее с триумфом принимали в Киеве. Т. Куперник и Минский были у нее с визитами. Минский ей не понравился, но она сочла себя обязанной прочесть, да еще два раза книжку “При свете совести”. По всей вероятности, она, как и всякий человек, ничего в этом не поняв, но из чувства приличия написала мне длинное письмо и нежное, в котором я только понял, что она хочет беспристрастно отнестись к непонравившемуся ей лично писателю^[86].

А 14 декабря 1896 года Лев Исаакович писал Варваре, когда они должны были с Балаховской-Пети сойтись в Петербурге:

Поклонитесь Софье Григорьевне. Она на мое последнее письмо не ответила мне – не знаю, почему. Что она поделявает? Вы в Питер едете с ней? В добрый час! Там Вас будут угощать российским декадентством и российским же материализмом...Что лучше? Не знаю. Кажется, материализм. Там хоть искренность есть. Не в философии, конечно. Русский человек в молодости к философии совершенно равнодушен. А в старости, если не собьется на путь философской болтовни, *à la* Соловьев, то доходит до безумия, вроде Гоголя.

Интересно, что Шестов, тогда еще презрительно относящийся к петербургской декадентской среде, совсем скоро будет вынужден с ней смириться и влиться в нее. Это случится, когда он станет известным и даже модным писателем и философом. Но в то время ему почему-то грезится, что Варвара непременно будет иметь большой успех в петербургском литературном кругу.

“Полвека тому назад повезла меня туда подружившаяся со мной очень богатая молодая женщина, по рождению киевлянка, по местожительству и по мужу парижанка, Софья Григорьевна Балаховская (первая женщина-адвокат во Франции), – писала Варвара в дневнике. – Повезла она меня «делать карьеру», литературную, к чему я отнеслась равнодушно и скептически. Карьеризм мне был чужд и даже противен, в значительность своих новелл, печатавшихся в Киевском журнале «Жизнь и искусство», я не верила, так как сама была ими недовольна и стыдилась их, так же, как и стихотворений, охотно принимавшихся в местных газетах. Тем не менее, перспектива увидеть город Пушкина, Достоевского, Петропавловскую крепость, увенчанную именами героев и мучеников Революции, была так завлекательна, что я с благодарностью приняла приглашение Софьи Григорьевны погостить у нее, когда она задумала провести зиму в Петербурге. Ей самой

хотелось сделать писательскую карьеру в России, и она вошла с помощью своей приятельницы Зинаиды Венгеровой в литературный круг возле некоторых «толстых журналов». Я была прикосновенна к Гайдебуровской «Неделе»^[87], куда послала в предшествующие годы какие-то стихотворения, и они были благосклонно встречены”^[88].

Но это Варвара Григорьевна написала годы спустя, а тогда она действительно пыталась влиться в литературную петербургскую среду.

Осенью 1897 года Лев Шестов, отвечая на ее письмо с описанием петербургской жизни, отмечал:

...То, что Вы написали мне о Венгеровой, удивительно соответствует впечатлению, выносимому из чтения ее статей. Действительно, она неглупая, начитанная и добрая женщина. И язык у нее (слог) очень недурной. Куда лучше, чем и Волынского и Минского. Она добросовестная и честная писательница. Но “своего” – у нее нет. Вот почему она стесняется Вас. А что С.Г.? Изменилась? Она перестала мне писать, не знаю почему. Обидел я ее? Узнайте, это очень любопытно. Кажется, я ничего себе не позволил – такого, на что можно было бы обидеться. Хотелось бы мне на две недели в Питер.

Он очень нервничает по поводу выхода своей работы о Шекспире. Шутливо-иронично отзываясь о литературном будущем Варвары. Он еще в Италии. И они с Анной уже готовятся к рождению ребенка. Но об этом никто еще не знает. Свое письмо он заканчивает словами: “И вообще пишите из Питера, о Питере. Поклонитесь Софье Григорьевне и ее супругу. Печатали Вы что-нибудь? И вообще, что писали Вы за последнее время? Я так Вам всегда о своих писаниях рассказываю, а Вы мне – никогда. Что это значит?”

Он продолжает что-то из денег за статьи посылать Насте, хотя ему уже совсем нелегко:

...Меня так беспокоит мысль, что у Вас нет денег. Расскажите мне подробно о своих обстоятельствах. Тогда я сделаю, конечно, все возможное. Счетов между нами я, надеюсь, не должно быть: Вы верите в искренность моих отношений к Вам и Насте, следовательно не будем говорить о деньгах.

Варварин Петербург. 1898 год

Наступает 1898-й. Заметим, что Шестов и Варвара не виделись уже почти три года. 10 января она пишет своей подруге Леонилле Тарасовой из Петербурга:

Не знаю, Нилочек, приеду ли я в Киев раньше весны. Порою я думаю о тебе и обо всех вас с величайшей нежностью и жаждой свидания. Но что-то держит меня в Петербурге. <...> Приехала третьего дня Настя. Мы по обыкновению много говорили и даже смеялись. Но – “недоступная черта между нами есть...”^[89].

Про Настю мы слышим только отраженные речи. Но есть несколько стихотворений Анастасии Мирович. Их совсем немного. Они будут напечатаны в “Северных цветах” в начале 1900-х годов. Часть стихов отсылает к драматическим событиям тех лет.

раздумье
Порвалася пряжа времен...
Что было в те дни – я не знаю...
Как смутный загадочный сон
Себя и других вспоминаю.

Я в призрачном доме жила
Я все сосчитала ступени,
Когда возведенной была
В покои, где прячутся тени

В покои, где времени нет,
Где слышится смех безучастный
Где брезжит томительный свет
Оранжевый, синий и красный.

“Порвалася пряжа времен...” – это несомненная реминисценция шестовской работы о Гамлете. Ведь Лев Исаакович в одном из писем говорил Варваре, что Настя осуждает его за отношение к Гамлету, за то, что он посмел обвинить его в трусости. Но в этом стихотворении речь идет о том, что из жизни героини исчезло ее собственное время. И ясно почему.

17 января 1898 года Варвара пишет Леонилле из Петербурга:

Настя притаилась у соседнего стола и творит. Читали ли вы ее “Гусеницы” в Рождественском номере “Ж. и Ис.”? Я полюбила этот рассказ. Настя стала отзывчивей к жизни и многим интересуется.

В “Гусеницах” с инициалами “А. М.” была описана необычная история о том, как садовник отломил ветку с гусеницами и растоптал их. Две чудом выжили. Одна рассказывала другой: “Я вижу чудные сны. Я вижу сны, которые говорят мне, что с моею смертью не кончится мое существование. Я ощущаю то, чего никогда не знаю в действительности: полет. Верю в то, что оболочка, которую ношу теперь, не разрушится, но переродится”. Она оказывается права: обе они становятся бабочками и летят, продолжая разговор: “– Ты помнишь, – сказала бабочка своей сестре: – я говорила тебе о чудных снах. Они сбылись теперь. А что скажешь ты об опыте и наблюдении? Что предсказывали они тебе? Развей нам свое учение.

– Но разве я, – ответила другая, – тоже не видела этих снов? Разве не было у меня предчувствия полета еще давно, когда я ползала по земле гусеницей и не имела крыльев? Я боялась верить предчувствию, а ты верила. Вот в этом и было различие между нами”.

Настя, несомненно, очень талантлива. Очевидно, что она снедаема тяжелой депрессией. Но пока все скрыто в глубинах ее души. Она уезжает из Петербурга, а Варвара продолжает свою литературную жизнь.

“...Пока живу у Сони в одной комнате с ней, – пишет она Леонилле. – У нас хорошие отношения и мы не стесняемся друг друга. Единственное неудобство – не даем друг другу спать длинными ночными разговорами. У меня к ней нежное отношение как к дорогому, редкому и вдобавок крылатому цветку. У нее – не знаю, что, но что-то хорошее, прочное и исключительное. Встаю поздно; читаю всякие летучие вещи; между прочим нашла книгу о Нитше – <нрзб>. Обедаем в 6 ч. у Венгеровой. Там часто бывает Минский. Минский интересный человек, но есть в нем что-то изломанное, искусственное, пряное и жесткое вместе. Жесткое, потому что в базисе всего лежит алчный, малодушно боящийся смерти эгоизм. Он сильно увлечен Соней, а ко мне у него странное отношение – как ни странно, а есть между нами какая-то не от нашей воли зависящая близость. Про меня он сказал вчера, что я похожа на маленькую итальянку – молчу, как будто не умею говорить и вдруг подниму нож и отрежу кому-нибудь или чему-нибудь голову. Была на финляндской выставке – претенциозная попытка символизма – и такой север – то суровый, то унылый, то лубочно яркие краски”.

О Соне Балаховской-Пети она потом напишет в дневнике:

...Еще до революции разность наших путей, идейных и жизненных интересов, расхолодила нашу дружественность и свела ее на “нет”^[90].

Варвара еще много раз вернется в будущем к вопросу, почему так и не прижилась среди петербургских декадентов. А пока она пишет отчет Леонилле в Киев о последних событиях тех дней:

27 марта 1898

...Перейдем к Петербургу и к моему петербургскому существованию. Я живу уже отдельно от С.Г., в крошечной, но чистой и тихой комнате на Преображенской улице, № 3, кв. 2. У хозяйки моей сын, который поет по вечерам <...>. Живу исключительно стишками, т. е. в кредит. Неделя платит мне по полтиннику за строчку.

22 апреля 1898

...Вчера я была на редакционном обеде в “Неделе”. Гайдебуров (отнесшийся ко мне с большим вниманием и участием) дает раз в неделю великолепный обед ближайшим сотрудникам редакции. Был Меньшиков^[91]. (Читал элементы романа. Похожий на маленькую коренастую бабу, расторопную и упорную. Того пророческого настроения, какое есть в его статьях, за обедом в нем не заметила.) Был камергер Случевский^[92], человек с каким-то свирепым самомнением, и с первого взгляда надменностью и вульгарностью. <...>

Был Соловьев (Слона то я и позабыла). Это философ – добродушный и строгий, похожий на Васнецовских угодников; он же и стихотворец *a la* Тютчев. Говорили об искусстве, о Толстом (читала его последнюю статью), о Котарбинском^[93] – в Петербурге много шума наделали его сепии.

12 октября 1898

...Вчера были на именинах у Зинаиды Венгеровой в декадентском кабинете, где днем горит лампа под красным абажуром. Были только родственники – тяжеловесный доброжелательный толстяк Семён Венгеров, худенький черноглазый Слонимский^[94] с двумя детьми Мишэ и Вовэ^[95]. Была вчера также в университете на лекции Соловьева. Лекцию он закончил так: знаю только одно, час воли Божией надвигается, и желаю только одного, чтобы без крушений и бедствий мирным и широким путем совершилось то, что должно совершиться и что неизбежно совершится. Я писала об этой лекции корреспонденцию в “Киевское Слово”. Сейчас была у Мумы^[96]. Это совмещение мадонны и римского гражданина.

В дневнике она подытожит общую жизнь с Софьей Григорьевной и ее попытки сделать литературное имя.

Соне Балаховской так же не удалось, как и мне, “сделать карьеру”. Через года два или три единственную пьесу^[97], какую она написала, поставили в Александринке, но успеха эта вещь уже потому не могла иметь, что даже язык ее был какой-то неживой, с французскими оборотами, уснащенный местами простонародными русицизмами (может быть она брала их из словаря Даля. Помню обращение одного из ее действующих лиц: “Ах, ты моя болезная!”).

Неуспех пьесы ее очень огорчил. И, насколько помню – после провала ее, Сонины наезды в Петербург прекратились. Она стала заправской парижанкой. У нее, по слухам, появился в квартире салон, полуреволюционного, полулитературного характера. И один из киевлян в начале нашей революции видел, как она там царила в пламенно-красном платье.

Где же то мое “я”, которое с таким правом подружьей, доверчивой и живой, близости провело с ней зиму в Петербурге, в одном номере какой-то (забыла какой) фешенебельной гостиницы на Невском. И потом, и до этого, с таким трепетным интересом вскрывало ее парижские письма, и с любовью, и с волнением переживало ее нескончаемый, сложный, платонический роман, о перипетиях которого она мне сообщала. Где эта возможность целые ночи напролет беседовать и в Петербурге, и в киевском ее палаццо, и об этом романе, и обо всем на свете, и бесперегородочно делиться всеми впечатлениями дня, когда я гостила у ее родственников в их Курском имении. И где она сама, эта беспокойная, жадная, гнавшаяся за славой или хоть за первым местом на жизненном пиру (его она получила) женщина, душа которой была не чужда исканий высшего смысла жизни, открыта для искусства и Красоты в природе, в человеке (и не только к внешней красоте, к которой была болезненно чувствительна, но и душевной, и духовной). Ей столько же лет, сколько и мне и много вероятий, что она перешагнула тот рубеж, у которого я так надолго задержалась...

Если бы она сейчас вошла сюда, у нас навряд ли нашелся бы общий язык – о себе и о жизни “в общем и целом”. Мы бы испытали бесконечно грустное чувство преходящести всех явлений в мире. И нас самих. “Проходит образ мира сего”. Я делаю ударение на двух последних словах (“мира сего”). Она по свойствам ее души, боюсь, свела бы этот афоризм к соломоновскому “Все проходит” – “и вот уж плакальщиц раздались стенанья, и дома вечного открылись ворота. А дух уйдет к тому, кто дал тебе дыханье. Все суета сует. Все тлен и суета”^[98].

Рождение Льва Шестова и сестер Мирович

Для издания своей первой книги “Шекспир и его критик Брандес” Льву Исааковичу потребовалось 350 рублей. В октябре 1897 года ему одолжила их Софья Григорьевна. Книга вышла в Петербурге в типографии Менделевича в 1898 году (вероятно, в декабре) и не была замечена критикой.

Подписана была новым именем – Лев Шестов.

Мир не заметил ни нового писателя, ни нового философа. Его слава была еще впереди. Но удивительно, что в декабре 1898 года, когда на небосклоне появился писатель-философ Лев Шестов, почти одновременно с ним возникли еще два литературных имени – Варвара Малахиева-Мирович и Анастасия Мирович. То, что Варвара поменяла незвучную фамилию “Малафеева” на “Малахиеву” (от старца Малахия, к которому она относила свое происхождение) было более-менее понятно. Но почему обеим сестрам так приглянулся псевдоним “Мирович”?

Скорее всего, это было связано с именем героя ранних автобиографических рассказов юного Льва Шварцмана. “В архиве Шестова сохранились недатированные черновые рукописи десяти неоконченных рассказов. Они интересны тем, что, несомненно, содержат некоторый автобиографический элемент. Герои большинства этих рассказов – бедные талантливые юноши-идеалисты, мечтающие о том, чтобы «сказать новое слово и начать новое дело»”^[99].

В рассказе “Не туда попал” молодой неудачливый писатель Мирович рассказывает свою жизнь. “Очень рано, когда я был в четвертом классе гимназии, т. е. 13 лет от роду, вкоренилось во мне убеждение, что не писать я не могу и что я непременно стану хорошим писателем... Основной взгляд на литературу у меня установился уже в то время, и я свято, неизменно следовал своим детским верованиям, несмотря на всю «суровость» пройденной мною в последние 15 лет жизненной школы. Когда мне было 13 лет, я уже много прочел. Не говоря уже о Пушкине, Лермонтове, Гоголе и других наших классиках, я читал тогда уже иностранных писателей – Шекспира, Гёте и даже менее крупных – Ауэрбаха, Шпильгагена и т. п. Из русских писателей особенно полюбил я в то время Некрасова. Т. е. любил я и Пушкина, и Лермонтова, ибо я каким-то чудом избегнул господствовавшего в то время, даже среди гимназистов, отрицания Пушкина, должно быть потому, что успел прежде полюбить этих писателей, чем познакомиться с отрицательным направлением своих товарищей. Но и в Некрасове я высоко чтил любовь к ближнему, любовь к простому народу. Его поэзия санкционировала в моих глазах еще тот уголок правды, о котором мало говорили другие поэты. Вся поэзия представлялась мне тогда апофеозом правды, точнее добра... Я всегда думал, что жизнь есть не что иное, как постоянное стремление этого «добра» к победе над злом и что носители идеи добра постоянно

увеличиваются в своем числе и победа их есть только вопрос времени. (Не туда попал.)”^[100].

Скорее всего, и Варвара, и Анастасия хорошо знали о существовании литературного Мировича. Иначе зачем им было называть себя одним и тем же псевдонимом?

Анастасия подписывает свои стихи в поэтических сборниках “Мирович”, Варвара становится Малахией-Мирович. По остроумному предположению Татьяны Нешумовой, подготовившей том стихов Варвары Григорьевны, фамилия могла обозначать заключение мира между сестрами. Однако нигде в дневниках об этом не говорится. Интересно, что еще 18 ноября 1897 года Варвара Григорьевна, откликаясь на повесть А.П. Чехова “Моя жизнь”, подписывает свое письмо “Малафеева”. А уже спустя несколько месяцев – “Малахиева-Мирович”.

11 декабря 1898 года Варвара пишет Леонилле в Киев: “Ты знаешь, что Лев Исаакович приехал в Киев? Неужели никогда не видишься с Балаховскими?”

После того как в Лозанне Лев Шестов закончил книгу о Толстом и Ницше, он отправляется в Киев с рукописью новой книги. Оттуда пишет Варваре насмешливое письмо:

14 декабря 1898

Получил Ваше первое письмо в Киев, дорогая Вава. Вы горько иронизируете по поводу моих советов. И Вы, конечно правы. Советы очень редко бывают полезны. Пожалуй, лучше совет не давать их. Поговорим лучше о киевских новостях. Вы хотите знать, какими я застал Жоржика и Женечку.

Речь идет о тех самых детях Балаховских, у которых Варвара Григорьевна служила гувернанткой. И далее Лев Исаакович методично излагает бытовые и семейные подробности жизни общих знакомых. Неизвестно, что на самом деле вызвало раздражение Варвары в его письме и о каких советах шла речь. Возможно, она реагировала на что-то другое. Скорее всего, до нее уже долетели новости о новом семейном положении Шестова. В этом же письме он ее спрашивает, встречала ли она в Петербурге Ловцкого^[101] – мужа его сестры Фани. Имя уже все известно. Они знакомы с Анной Березовской и видели новорожденную Таню. Варвара могла узнать новость от них или от Софьи Исааковны в Киеве.

Весной 1899 года Шестов по издательским делам едет в Петербург. Он пишет Анне Березовской:

В Петербурге все хожу смотреть литераторов. Был у Венгеровой и встретил там Струве, того самого Струве, который заведует экономическим материализмом и являет собой Мазини марксистов. Ведь он здесь в концертах выступает: поет арии из политической экономии. И после концертов марксистки обрывают ему фалды, чтобы иметь кусок сюртука на память... Если бы ты знала, какой он смешной! Первым делом внешность русского интеллигента старого пошиба, т. е., длинные прямые волосы, в которых он почесывает рукой, спутанная борода, грязная рубаха, из-под которой видна старая фуфайка, вылинявший галстук. Сам длинный, тощий, бледный. За неимением другого сравнения, в нем находят сходство с Христом. Разве после 40 дней искушений в пустыне Христос был таким! Только я не полагаю, чтобы Струве знал искушения. Он уже от природы лохматый и тощий, да еще от Маркса... Поговорили мы с ним немножко. Венгерова старалась популярным доступным ему языком выяснить что-то о искусстве, но он не соглашался. Тогда я пришел к нему на помощь, стал доказывать ему его правоту, но моя защита ему не понравилась, т. е., он даже оставил свою <нрзб> ниву, встав, и, нисколько не способен, оживленно доказывал, что можно иначе одерживать “учеников”, а не тенденций. А сама Венгерова очень милая женщина, такая простая и искренняя, совсем не то, что Минский и вся эта компания “декадентствующих”. Правда, она немного наивна, и как человек, и как писательница...^[102]

Интересно, что он и Варвара ходят к одним и тем же людям, наблюдают, разговаривают. Но ее в Петербурге, видимо, уже нет. Они снова разминулись. Лев Исаакович все время испытывает чувство вины перед Анной Елеазаровной, которой приходится жить в одиночестве за границей, отдавать ребенка в чужие руки, чтобы учиться дальше медицине. Он пишет ей сердечные письма, в которых, конечно же, нет влюбленности, но есть понимание будущей общей жизни.

“Нехорошо только, что ты так мало обо мне вспоминаешь, – иронизирует он. – Того и гляди в самом деле забудешь. У меня наоборот. Я с каждым днем все больше чувствую, как много ты значишь и можешь значить в моей жизни. Сколько не думаешь о будущем, и как о нем не думаешь, всегда на фоне всех планов – ты. Я и не могу себе представить, что будет не только хорошо, а сносно, если не будет у меня тебя. И, представь себе, – этого я и сам не ждал, не только ты, но и Таня несмотря на то, что я несколько дней с ней пробыл, стала для меня частью меня самого. Как же дивился! Почему так привязываешься? Какие такие связи существуют?”

И вот, наконец, Варвара и Шестов встретятся спустя три года. Но эта встреча будет случайной.

Варвара Григорьевна по пути в Киев остановится в дорогой сердцу Переверзовке, куда ее все время звала Софья Исааковна, у Балаховских, которые для нее почти как родственники. И надо было, чтобы они с Шестовым встретились именно там, в месте, которое так много значило для начала их отношений.

Варвара рассказывает об этом Леонилле:

13 августа 1899

Переверзовка

...Лев Исаакович приехал внезапно, огорчил меня своим приездом безмерно и, кажется, скоро уедет. Мне ужасно тяжело с ним встречаться. Я стараюсь не выходить из моей комнаты или ухожу гулять с Из.<абеллой> Аф.<анасьевной> (Белла)^[103], но все же встречи неизбежны. Софье Исааковне это тоже тяжело, но она не хочет, чтобы я уезжала. Может быть, потому что я люблю ее неподвижную красоту и пустынную ночь ее души.

18 августа 1899

...Слабая стала душа, не хочет выносить прощаний, недоразумений и нелепостей, в которых человеческие сердца обречены купаться в течении своей короткой жизни. Л.И. уехал.

Вспоминая то лето, Варвара запишет в своих дневниках:

Курск. Пены. Сахарный завод. Потревоженные тени далекого прошлого. На фоне меловых гор и свекловичных полей красивая, тоскующая среди своих плантаций Софья Исааковна. Ее брат, с которым была связана душа “дружбой, большей, чем любовь”. Тяжелое лето, когда дружба расшатывалась, заболела недоверием, уходила из жизни. Чувство уходящей молодости. Переломные годы – дантовские. Дремучий лес, где Дант заблудился на “половине жизненного пути”^[104].

Дремучий лес

Вспомнилась одна из встреч с Львом Шестовым в годы общего “богоискательства”. И его волнение, с каким он переводил мне, плохо знающей немецкий язык, строки из Заратустры: “Вы не искали меня, но думали, что нашли меня. Так делают все верующие. Я отниму у вас веру. И тогда, если вы будете искать – вы найдете меня. И никто уже не сможет после этого отнять у вас меня...”

Из дневника Варвары Малахиевой-Мирович

По письмам видно, что Варвара вовсе не придумывала, когда говорила, что по-дантовски заблудилась на своем жизненном пути. Наверное, реальная потеря Льва Исааковича, уход его после всего пережитого к другой женщине дался Варваре нелегко. Буквально через четыре дня, которые прошли от последнего письма к Леонилле, она вдруг пишет в Киев:

22 августа 1899

Нилочек мой дорогой!

Попроси скорее Настю разузнать, принимают ли на борьбу с чумой лиц без медицинских познаний и напиши мне, как обратиться и куда с прошением. Мне кажется, что ты знаешь меня настолько, чтобы понять, как глубоко обосновано у меня такое решение. То, что я не поехала на голод^[105], было для меня величайшей неудачей, которая, как я и предчувствовала, завела меня в большие дебри. Что я не умру на этой чуме, я знаю наверное – но мне нужно быть близко к смерти и при самом трудном.

Перед многими из тех, с кем я говорю, я не решилась бы так обнажить моих мотивов – но ты, дружок, знаешь, что давным-давно мне не может прийти в голову щеголять чувствительными фразами – и что, увы! теперь это лишено героической окраски, и просто и сурово, как осенняя даль. Еще раз повторяю тебе, деточка, что я страшно заблудилась в моей душевной жизни, и буду метаться и ползать по земле, как притоптанное насекомое, если не найду самого для себя трудного и нужного – просто в какой-нибудь барак тифозный не хочется – это отбивать хлеб у какого-нибудь фельдшера. А на чуму не так много желающих. У нас в доме поселился дух тяжести. С.Г. из тихой меланхолии часто переходит в острую и вся темная говорит самые безнадежные вещи. Соня не знает, что с собой делать.

Однако, видимо, чумных барачников для нее не находят, и она едет в Воронеж к матери и в сентябре 1899 года пишет Леонилле:

...в 12 часов дня, приехав с вокзала по невылазной грязи в родные палестины. Еще все мне так странно здесь, как сон (я не была дома полтора года) и все так знакомо, так полно прошлым, молодостью, любовью, гордыми надеждами, мыслями о смерти. И Петровский, и Настя, и все, что было позже здесь живет странной полной незримых слез жизнью, смотрит на меня с увядающих астр клумбы, с печального

лица богоматери, у которой ранена щека, и капельки крови катятся, как кровавые слезы.

И далее 25 сентября 1899 года:

...И так, дитя мое – разговоры о копейках, о юбках, о тратах, растратах, о болезнях. Бедняжка мама ни в чем неповинна, если раздражается – ее жизнь так сложилась – болезнь, нужда, неудачные дети – что она имеет право как Иов роптать и разговаривать раздражительно не только со мной, но с самим Богом.

А Лев Исаакович погружен в издание своей книги о Толстом и Ницше. Он пишет А.Е. из Петербурга, где был занят книгой:

[Декабрь] 1899

Теперь я уже, собственно, печатание книги совсем окончил. Остаюсь только, чтобы дожидаться решения цензуры: выпустят ли книжку или нет. Это невесело ждать, но еще прежде, чем получишь это письмо, вопрос будет решен. Если, паче чаяния, книжку выпустят – можно будет ехать домой. Если нет, опять неделя беготни наступит, но зато уже самая последняя. Думаю, что в Киеве не заживусь и к концу семестра – уже выберусь за границу. Это было бы лучше всего... В среду ответ от цензуры должен быть. Я тебе в среду же вышлю книжку и, значит, в субботу или воскресенье, т. е. 18 или 19 ты ее получишь, как знак того, что все по этой части благополучно. Выйдет опять в рождение Тани. Увидим, какое счастье^[106].

И благодарит судьбу, что Анна Елеазаровна появилась в его жизни:

Это чувство, что именно ты так всецело связала меня с собою, и что я за тысячу верст могу знать, что ты не отворишься, не уйдешь никуда – лучшее из всего, что может мне дать жизнь. Даже писать об этом так отрадно. Я бы в каждом письме это повторял – если бы не было <нрзб>. Я не знаю, чувствуешь ли ты это. Но знаешь, если бы иногда не пугало меня мое здоровье, я бы считал себя вправе сказать, что недаром жил, если нашел тебя. Здоровье только мешает в том смысле, что нет прочной уверенности, что сохраню найденное. Ведь найти – это только начало; главное – сохранить. Правда? Иногда же бывают такие

настроения, что кажется, будто бы судьба хорошо тебя послала быть в жизни и чего у меня нет^[107].

Варвара тем временем едет к Насте в больницу в Гнездиловку под Воронежем, где та работает фельдшером. Сообщить новость о встрече с Львом Исааковичем? Или попытать себя в качестве сиделки? Нет. Скорее всего, ей становится известно, что тот самый Шингарёв, который уже встретился раз на ее пути, когда она пыталась бежать от Шестова и Насти, снова оказался рядом.

“Через два года сестра Настя, фельдшерица по профессии, – писала Варвара в дневнике, – поступила в земскую больницу под Воронежем, где главным врачом был Андрей Иванович^[108]. Я приехала к ней погостить. Здесь я почувствовала себя замкнутой в очарованном круге (на это я впрочем, и ехала в Гнездиловку)”^[109].

А дальше следует рассказ из Варвариных дневников, где все становится яснее, но все-таки некоторый туман в ее рассказе присутствует:

Здесь у царевича моего вырывались уже полупризнания, чаще в стихотворной форме. “Радость безмерная, ты ли душа моя, красная девица” – таким речитативом не раз выдавал он себя, повстречавшись со мной на дороге в больницу. Но уже мы начали избегать друг друга. Вскоре я заболела тифом. Ему пришлось каждый день навещать меня. Вот тут уже были не только взгляды. Была робкая, но все более неудержимая ласка. Я прикладывала его руку к своей щеке. Он, склонившись надо мной, дышал или шутливо дул на мои локоны. Я не хотела выздоравливать, не хотела жить без него. Не хотела и с ним (жена, двое детей)^[110]. И я выпила морфий. Но такую большую дозу, что она уже не могла подействовать, и нетрудно было меня спасти. Впрыснули апоморфин, поднялась тошнота, и все прошло. Думаю, что тут сыграл свою роль и тиф. Без ослабленности нервной, в какой я тогда была, без изменения сознания, я бы ни до, ни после не решилась на самоубийство^[111].

По смыслу сюда ложатся три недатированных письма к Леонилле, хотя и они не до конца проясняют все случившееся.

Скорее всего, письмо написано в конце марта или апреля 1900 года:

Отчего молчишь так долго, Нилочка?

Хотела бы иметь о всех вас подробный отчет. Если нет для него настроения, то хоть краткий конспект жития. (Владимир Соловьев

говорит, что в молодости жизнь, а после уже житие – “проще время живота”).

На праздники еду к маме. Пиши на Воронеж. Последним месяцем я жестоко страдала – за жизнь и душу человека, с которым связал меня слепой рок. Все наше прошлое осветилось таким трагизмом, что, если бы я раньше знала то, что знаю теперь, не уехала бы от него никогда ни на одну минуту и не спрашивала бы ни о чем, ни разу – молчала бы под пыткой. Все приходит слишком поздно. Теперь я могу быть только безучастной вещью в его жизни со всем моим пониманием происходящего.

Я даже не могу писать ему – он в санатории. Письма запрещены. На сколько это времени, ненадолго или навсегда – тоже неизвестно. Душа моя от меня далеко. Живу в полусне. Теперь даже не болею.

Несмотря на отсутствие имени некоего человека, понятно, что речь в письме идет о Шингарёве. В 1928 году в письме к младшей подруге Зинаиде Денисьевской она напишет ту же фразу о нем, что и в письме Леонилле: “Мы чувствовали дыхание рока между нами”.

Об окончании истории с Шингарёвым Варвара вспоминала:

После Гнездиловки мы с Андреем Ивановичем увиделись последний раз в Воронеже. “Выпала жемчужина из нашей встречи, – сказала я, – нам больше ее уже не найти”. “Что же делать, – сказал он глухо, – да, я и сам их не хочу”. Жемчужиной мы называли ту близость, легкость, простоту и открытость в наших отношениях, какая сразу установилась у нас. Но беда была в том, что я уже хотела других отношений, что мне страшно и не нужна была жизнь без них, что, может быть, даже компромиссную, закулисную любовь я приняла бы от него, только бы не расставаться. И то, что он предрешил расставание, что мог мыслить жизнь свою без меня, нанесло мне тяжкое оскорбление: и оно же было исцелением раны, нанесенной встречей с Андреем Ивановичем, и последней строчкой в эпилоге нашего трехлетнего романа. Мы встретились еще раз на Пироговском съезде, но тут стало для нас ясно, что и дороги, и сердца у нас разошлись в разные стороны, и стали мы чужими.

И только один раз, в 18-ом году, в Киеве, когда я узнала, что Андрей Иванович погиб от ножа убийцы^[112], я испытала жгучую горечь и целые сутки чувствовала себя, как бы вдовой его. Только одни сутки.

Да еще вот в снах изредка вижу его лицо, склоненным ко мне в звездной темноте степной ночи (как было однажды). И что-то вроде тех слов, какие он сказал – забытой молодой всеозаряющей радостью пройдут через память сердца: “Зачем звезды, когда так близко ваше лицо. Посмотрите же на меня своими ясными зореньками”^[113].

В это же время, когда Варвара переживает свои события в Гнездиловке, Лев Исаакович шлет Анне письмо с неожиданной припиской:

9 (21) марта [1900]

Сегодня еду домой, дорогая Анна, – (речь идет о Киеве) – но вчера получил письмо твое и хочется хоть несколько строчек в ответ написать тебе. У меня в последние дни масса беготни. Нужно со всеми проститься и, затем, пришлось о Варваре Григорьевне похлопотать. Она, как я писал тебе, заболела. Нужно было хлопотать в фонде о пособии, и т. д., и т. д.^[114].

В письме начала 1900 года Варвара делится с Леониллой Тарасовой своими проблемами. Оказывается, что она вызывала к себе Шестова разрешить денежные затруднения: “Ты знаешь, что нам дано умирать и воскресать при жизни. Но страшно, что есть при жизни умершие люди. <...>

Я живу одна. Живу далеко от мамы. Навещаю ее – она все болеет, и читаю ей и Ане вслух трилогии Толстого, Чехова – все, что они хотят. Но чаще я сижу, как сейчас, в своей крошечной комнате возле Чугунного кладбища, слушаю, как часы говорят: без-ваз-врата, без-ваз-врата; что-то пишу, что-то читаю, не позволяю себе ни на минуту лечь в течение дня, и веду борьбу с собой за свой рассудок всю ночь, рассказываю сказки, уговариваю, не могу найти достаточно ласковых имен для себя.

Вот уже три недели, как никто ко мне не приходит. Да и кому прийти – знакомые – <нрзб>, Гнездиловка – далеко, за морями, за пропастями, за необозримыми кладбищами. А поэтому, пиши. Дай Бог тебе сил, терпения и радостей. *Деньги нужны были для уплаты долга и для квартиры. Льву Исааковичу я написала, чтобы приехал сюда. Ну вот и все* (выделено мной. – Н. Г.). Пиши. Вава”.

Скорее всего, Лев Исаакович просто отвозил ей собственные деньги, но не мог об этом открыто сказать жене. Связь между ним и Варварой – настолько прочная, что он каждый раз кидается ей на помощь. Он пишет об этом Анне, которая, повсей видимости, догадывалась, какое место та занимала. Или не знала? Варвара Минович в биографии дочери Шестова упорно названа другом, которому Лев Исаакович постоянно помогает. Весной 1900 года он едет в Швейцарию и пишет оттуда в Париж Софье Григорьевне Балаховской-Пети встревоженное письмо опять же о Варваре:

31 мая 1900

Берн

Скажите, Софья Григорьевна, не имеете ли Вы вестей о Варваре Григорьевне? Тотчас же по приезде из Парижа, за неделю до прихода Вашей открытки, я получил от нее письмо, очень и очень мрачное. Я, конечно, сейчас же ответил ей (в Воронеж) – но до сих пор от нее не получил ничего, вот уже скоро три недели будет, как я писал. Меня это очень тревожит, тем более что, по-видимому, она и Вам, и Мите писала в таком же мрачном настроении. Боюсь, не случилось ли с ней чего. Если знаете – напишите, буду Вам очень благодарен. Хотя, конечно, хорошего ничего Вы не сообщите – но ведь нужно и дурное знать. А я почти уверен, что есть что-то дурное... Пожалуйста, хоть открытку напишите – если даже ничего не знаете: а то мне всякие подозрения приходят в голову^[115].

В это время Шестов за границей работает над очерком “Достоевский и Ницше”. Главная мысль, которая звучит со страниц его будущей книги: надо перестать жить в иллюзиях, придумывать жизнь, действительность. Лишь понимание единственности и трагичности отдельной судьбы человека и поиск на этих путях Бога.

Скорее всего, Софья Григорьевна, взволнованная состоянием Варвары, позвала ее к себе в Париж, где она и оказалась в конце 1900 года. Об этом сохранилось несколько двусмысленное письмо Балаховской-Пети к Венгеровой, где они обсуждают угасшие отношения Варвары и Шестова:

[Ноябрь – декабрь] 1900

Варвара Григорьевна действительно в Париже. Я ее редко видал из-за ее спутницы мадам Эвенсон. Вот, что за ужасный тип! Ну и вкус же у твоего Семёна^[116]!

Если бы ты знала, как далеки теперь В.Г. и Лев Исаакович! Не только потому, что он в Швейцарии, когда она здесь, а потому что им нет дела друг до друга. В.Г. недолго здесь останется и поедет отсюда, вероятно, в Москву.

Какой ужас смерть Грюнберга^[117]. Он оставил, вероятно, в нужде всю свою большую семью?

Твое письмо прибыло сегодня во время отъезда. У нас обедали Надежда Владимировна Кончевская и Ольга^[118].

А Шестов в эти дни пишет Варваре из Швейцарии дружеское письмо, беспокоясь о ее состоянии:

Конец 1900 года

Берн

...“Достоевский и Нитше”^[119] не оправдает Ваших надежд, если только Вы оные возлагали на него. <...>

Недели через две, как покончу с Достоевским, поеду доживать зиму в Италию. Там и дописывать работу буду. А Вы – уже назад в Россию собираетесь? Зачем так скоро? Стоило ли из-за трех недель столько ездить? А я в Россию вернусь не раньше чем через месяцев 6, 8. <...>

Поклонитесь Софье Григорьевне и Мите. Что, собирается Митя проехаться, как он предполагал в Италию? Или уже передумал. Скажите ему, что на несколько дней я готов служить ему спутником. Пишите и Вы. Что, Сара Максимовна не хочет отвечать на мои поклоны, или Вы забываете передавать их?

Ваш ЛШ. Адрес: Berne, Villa Frey.

Помимо очерка, который он пишет, у него возникают и другие заботы. В Берне 26 ноября 1900 года у него родилась дочь Наташа – его будущий биограф.

Анастасия Минович и Валерий Брюсов

С начала 1901 года Варвара и Настя обосновались в Москве. Варвара занимается переводами. Живут они раздельно, судя по адресам на конвертах. Живут бедно и все больше случайными заработками. О своем московском бытовании Варвара пишет Леонилле:

27 января 1901

...Я в Москве, на Гагаринском пер.^[120], дом Шлиппе, на Шпоре. У меня сейчас сидела Настя и еще один “страшный и умный дух”. Она ушла, я одна и бьет 12 часов и в шотландском замке (так называет Настя мою комнату) ненарушимо тихо.

9 февраля 1901

...Бальмонта я видела. Не понравился – позёр, франт, фат – из тех, что носят браслеты и кружева. И вдобавок упал в обморок от раны самолюбия – плохо прочел свои стихи. (Обморок не иносказательный, настоящий.) Я люблю его “Чет и нечет” (без окончания). А в остальном он, по-моему, надуман, холоден, претенциозен – модный франт, нарядившийся в последнее слово европейской моды. Но как переводчик Шелли – он поэт истинный и незаменимый.

Перевод Шелли – тот самый, о котором ей говорил Шестов.

Настя тоже ищет свое место в литературной жизни. По письмам и документам, которые обнаружил Александр Соболев^[121] в архиве Брюсова в РГБ, можно проследить их общение с поэтом в течение двух лет.

В феврале – марте 1901 года Брюсов пишет в дневнике:

Анастасья Минович как-то однажды пришла ко мне, оставила свои стихи и записку, прося дать суждение. Мне все было некогда. Так через месяц пришла она опять, застала меня. С час я беседовал с ней; одета она была очень бедно. Читала (поэтов) мало. Говорила не очень глупо^[122].

Упомянутая записка сохранилась в брюсовском архиве:

Милостивый Государь!

Не зная Вас лично, но будучи знакомой с Вами по Вашим произведениям, я хочу попросить Вас, если у Вас найдется время, прочесть мои произведения и дать о них свой отзыв, хотя бы письмом. Мой адрес: Знаменка, дом Крюгера, кв. 21. Анастасия Григорьевна Минович.

Уважающая Вас А. М.

Брюсов берет два ее стихотворения в первый выпуск “Северных цветов”... Вероятно, что-то происходило между ними летом и осенью 1901 года; большая часть писем и записок Анастасии Григорьевны Брюсову не датирована:

Валерий Яковлевич!

Если свободны, зайдите сегодня (в среду) ко мне – вечером. Есть маленькое дело, а у самой нет навыка заходить к Вам. Пожалуйста.

А. Минович

Или:

Простите, Валерий Яковлевич, что, несмотря на полученное от Вас письмо, никак не могла остаться дома. Весь день и вечер у меня в разъездах. Вы интересовались моими стихами – передаю Вам их. Во вторник, возможно, буду в Литер<атурном> Кр<ужке>. Хотя боюсь утомиться. Сил немного.

А. Минович

Или:

Хотела бы Вас видеть. Есть маленькое дело. Завтра в 6 ч. вечера буду дома. Адрес: Кудринская площадь. Дом Молчанова. Кв. Пашутиной.

А. Мирович

Возможно, к этой же осени относится записка, на которой проставлена только дата – 16 сентября, но нет года:

Сентября 16-го

Такое тяжелое чувство у меня осталось от вчерашних Ваших вопросов и догадок, что я не хотела бы видеть Вас.

Вы добры и ласковы, но я не люблю, когда меня слишком понимают. Рукописи могут остаться у Вас. Они не нужны мне.

А. Мирович

В том же сентябре Брюсов делает в дневнике вторую запись о ней:

Видал я Анастасью Мирович. Живет бедно, втроем с двумя подругами. Некрасива и неловка. Но она очень современна. Ее мысль направлена на заветнейшие тайны наших дней. Мы говорили (долго, целые часы) о том, что страшно, о том, что все страшно, везде ужас и тайна. Она чувствует это более чем все, кто много говорит и пишет об этом. Я сказал ей о смерти Ореуса^[123]. Она испугалась, задрожала, заплакала. Она любила его? По ее словам, она видела его всего 3–4 раза в жизни. Он одобрял ее драму “Морская легенда”^[124].

Той же осенью они встречаются еще как минимум один раз. 20 октября 1901 года Мирович отправляет Брюсову записку:

Меня можно застать дома почти каждый день от 6-ти часов. Я была бы очень благодарна Вам, если бы Вы нашли возможность дать мне прочесть рукописи Добролюбова. Хотела сама зайти к Вам с этой целью, но стеснялась.

А. Мирович

Рядом в архивной единице (что не всегда имеет датирующее значение) лежит послание, заканчивающее, по всей вероятности, этот этап их общения:

Письмо Ваше понравилось мне цельностью настроения. Но очевидно оно было написано не по моему адресу. Нет ничего более чуждого моей натуры, чем то настроение, которым проникнуты Ваши стихи (хотя, может быть, сама я произвожу другое впечатление). Я слишком люблю Данте. Я не вижу необходимости уверять Вас, что грех любить не должно. Вы любите, значит Вам так и подобает. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы так сильно и безжалостно двинули мою душу в ту сторону, куда сама она идти не решалась. Я более не нуждаюсь в Вас. Если опять случайность сведет нас, мне кажется, мы встретимся как люди, ничем друг друга не обидевшие.

А. Мирович

В архиве Брюсова сохранилась недатированная записка Варвары:

Недели две тому назад Аким Львович передал Вам мои стих<отворения>. Будьте добры, если прочли их, сообщите мне о результате. Кроме того – я вообще хотела бы повидаться с Вами. Если найдется свободный час – сообщите, когда можете принять меня.

В. Мирович-Малафеева.

Новинский бул. д. Молчанова кв. Пашутиной

Аким Львович Волынский (Флексер) приезжал в Москву в ноябре 1901 года; по всей вероятности, тогда же он и передал Брюсову стихи Варвары Григорьевны: таким образом, записку можно отнести к концу ноября – началу декабря (в той же архивной единице, но отдельно, хранится конверт с почтовым штемпелем 2 декабря 1901 года: возможно, в нем она и лежала). Впрочем, продолжения этот сюжет не имел: на следующем (и последнем) письме Малахиевой-Мирович, присланном около 1903-го, Брюсов сделал пометку “Варвара Мирович, сестра Анастасии”. Примечательно, что в 1901 году адрес сестер совпадает. В “Северных цветах” за 1902-й помещены три новых стихотворения и два прозаических этюда Анастасии: “Ящерицы” и “Эльза”; под вторым из них сделана загадочная пометка “*Villa Camille*” – значит ли это, что она побывала где-то за границей? Между тем, ее стихи и проза не остались незамеченными: так, Блок, внимательнейший

читатель первых “Северных цветов”, отметил на полях ее стихотворение из первого выпуска (наряду с драмой З. Гиппиус и стихами Брюсова). С той же Гиппиус сравнивал ее и не слишком доброжелательный критик А. Смирнов (Треплев): “К чести г-жи Гиппиус должно признать, что ее «небесные слова», действительно, небесно чисты, не отдают дурным запахом и не заключают ничего кладбищенского. Таковы же вещицы г-жи Анастасии Мирович, занимающейся красивым рукодельем из пестро окрашенных слов”. Весной 1902 года Брюсов поневоле должен был вспомнить о ней, получив записку с просьбой о гонораре за “Северные цветы”, препровождая ее компаньону по изданию, он язвительно замечал: “Мы забыли, увлекшись дешифровкой майевских писем, о делах. Письмо прилагаемое напоминает. Сей девице т. е. им двоим я передам причитающееся. Но как быть с остальными”. При поступлении этого письма на архивное хранение, в музейной инвентарной книге было сделано примечание: “С вложенной в письмо запиской А. Мирович: ныне записка утрачена, либо отъединена и хранится где-то среди неопознанных бумаг. Зато сохранилось последнее ее письмо:

6 августа 1902

Мне жаль, что наше знакомство так странно оборвалось, благодаря моему нездоровью. Я, положим, часто бываю с Вами, потому что на столе у меня Ваши стихи. Столько роскошного разнообразия в настроениях не дал, вероятно, ни один поэт, но это разнообразие повредило чему-то единому, тому душевному синтезу, который свойственен человеку и который я ценю в человеке. Вот почему мне грустно, когда я открываю Ваши стихи. Но ведь Вы же знаете, что Вам все простится – не мною, – а на тех весах, которые, я верю, скрыты за гранью нашего понимания и откуда получаем мы только извещения: простилось ли, нет ли. Я была у Вас – не знаю, говорила ли Вам прислуга. Я видела у Вас на столе конверт с пейзажем Венеции. Вы были там? Вы видели море? Если хотите написать мне – я Вам оставляю адрес: Станция Молоди по Курской ж. д. Мещерская больница. Терапевтическое отделение. Для меня. Нужно написать: фельдшерице. Иначе не найдут меня здесь. В человеке слишком много протестующего начала. Зачем оно? Боже! Кто захотел этой мировой трагедии. Если бы все люди были созданы по образу Авеля – пастбища и цветники покрыли бы всю землю.

А. Мирович^[125]

Брюсов действительно в мае – июне был в Венеции. Неизвестно, ответил ли он Насте.

8 августа 1902 года Варвара пишет Леонилле:

Отвечаю тебе, Нилок, на киевский адрес <...>. Когда письмо твое пришло в Москву, я гостила у Насти – в двух часах от Москвы. В Мещерской больнице, где она обосновалась, по ее словам, на целую жизнь. Там психиатрическая больница на 700 человек и есть терапевтическое отделение, в котором Настя состоит фельдшером за 35 рублей в месяц и квартира с отоплением и светом и т. д. Я довольна ее устроенности и для ее нервов это лучше, чем лихорадочная погоня за хлебом по московским редакциям.

Итак, Настя теперь работает фельдшерницей в сумасшедшем доме в Мещерской больнице. Рядом дача Чехова. Он вложил в эти лечебницы немало своих средств. И странное соединение чеховского сюжета, описанного в “Палате № 6”, и Настиной судьбы совсем скоро произойдет в стенах этой больницы.

Общий круг: Семён Лурье

С Семёном Лурье Варвара и Настя познакомились тогда же, в начале 1900-х, в Москве – он был близким приятелем Льва Шестова. Они подружились еще в конце 1890-х годов, когда тот ездил в Москву закупать товары для семейного дела и навещать своего незаконного сына Сергея Листопадова. Семён Лурье был не только богатым фабрикантом, у него была масса увлечений и талантов: философ, юрист, журналист, публицист, литературный критик, редактор, издатель (еженедельника “Еврейская неделя”), член редколлегии журнала “Русская мысль”.

Таня Лурье, дочь Семёна Владимировича, станет ученицей Варвары. Красивая голубоглазая девочка с пепельными волосами, по-ученически влюбленная в свою учительницу, будет часто появляться на страницах ее мемуарных записок. “Завтра пойду, например, на «пурим», – сообщает Варвара Леонилле в письме 1901 года. – Там будет детский маскарад – дитя, в которое я влюбилась со всем эксцессом стародавней страсти, будет в неаполитанском костюме [Татьяна Лурье]. Но дело не в том. Я пойду на Пурим, потому что там будут и взрослые [Семён Лурье]. И я лелею сумасшедшую мысль подойти к первому попавшемуся золотому и сказать: дай мне кусок золота величиной с твою голову. Я давно собиралась сделать это. Но почему, скажи мне, полевая маргаритка, законная жена, девочка Красная шапочка и Архангел Гавриил – скажи мне, почему я, которую еще «у наших» называли Эвтиждой, никак не соберусь сделать этого. И мало

того – когда это золото – и телец подходят сами ко мне и мычат выжидательно – и стоит только протянуть руку – я вдруг всем существом предпочитаю ему нищету и отчаяние из-за пяти рублей”.

Настя тоже была под обаянием его личности и посвятила ему стихотворение.

еврейская мелодия

(Посвящаю С.В.Л.)

Лепечущих волн Иордана
Напевы смущают мой сон.
И гул иудейского стана
И тихий печальный Сион.
Волнуется сердце глубоко
С ресниц ниспадает роса
– О, благостный месяц востока!
Я славлю твои небеса.
Здесь арфа Давида звучала...
Я тень псалмопевца зову!
Хочу я, чтоб арфа рыдала
Во сне... Наяву...

1900-е

В эти годы состоялась общая поездка Варвары и Шестова в дачный дом Семёна Лурье в Тарусе на Оке, о которой она вспоминает в дневниках. Скорее всего, это было в 1904–1905 годах. Улеглись страсти. Все стало более определенным. У каждого было свое дело, но они все время были связаны – общим прошлым и новыми друзьями.

И вспомнилось, как много-много лет тому назад мы ехали с Львом Исааковичем из Тарусы в имение (забыла, чье), где снял на лето барский дом С.В. Лурье. Помню мост, его арки. Голубое, в перистых облаках небо, голубой простор Оки, лиловые дали. Стройные сосны по берегу. Щедрая, полнозвучная красота солнечного летнего дня. И вдруг Лев Исаакович спросил меня:

– А вам не кажется, что все это сон?

– Что – сон?

– Все, что вокруг. И то, что мы с вами едем к Лурье. И все, что с нами совершается. Вся наша жизнь на этом свете.

Тогда я лишь отчасти поняла, что он хотел мне сказать. Но после, в такие минуты, как сегодня на пороге ванной, понимаю ясно – исходя от ощущения близкого пробуждения.

Далее, продолжая свои воспоминания, Варвара писала:

...сказочно тепло вспомнилось вдруг Сенькино^[126], имение на Оке, где гостили в семье Лурье, одновременно я и Шестов. То, что называют “личной” жизнью и у него, и у меня шло по отдельным руслам. Но было общее русло неизменного сопутничества душ. И каждая встреча, каждый разговор были проникнуты ощущением – теплым и нездешне – праздничным. Когда он уехал (Шестов), осталось общество Тани Лурье и Лили (сестры М.В. Шика) – ученически в меня влюбленных и мною нежно любимых. Лев Шестов и Лиля в загробном мире. Таня – давно в загадочной стране, называемой безумие. В Париже в какой-то лечебнице. Может быть, и она уже прошла земной предел, хотя в сновидениях моих, какими общаюсь с миром потусторонним я встречаю только Льва Шестова и Лилю. Таню же, если и вижу – встречаю в аспекте, в каком вижусь с моими живыми друзьями. И вот – забыто почти все, о чем говорили они со мной под липами и елями огромного парка и на песчаной отмели Оки. Памятны лишь некоторые темы разговоров. Но помнится общий колорит устремленности друг к другу, бережного внимания и неослабного интереса. Помнится, как лестница, ведущая на какую-то ступень горного царства, куда мы вместе должны были войти.

И еще помнится овраг, который тянулся до самого поля через огромный, тенистый парк, где жили совы и белки. Какая-то большущая белая сова два раза прилетала к моему окну перед рассветом, садилась на соседнюю елку и стучала клювом в окно. И залетали несколько раз в мою комнату летучие мыши. Эти аксессуары средневековых ведьм дали повод девочкам и Л. Шестову и другим взрослым шутить надо мной, обвиняя меня в колдовстве^[127].

Конечно, она колдунья в прежнем смысле. Лечит прикосновением рук, заговорами, постоянно видит вещие сны. Необычность ее мировосприятия, общение с потусторонним – притягивали к ней поэта Елену Гуро и прозаика Даниила Андреева.

Через Семёна Лурье Варвара войдет в семью Вольфа Мироновича Шика, который был коммерсантом, купцом первой гильдии и почетным гражданином Москвы, что давало семье право проживания в столице, а детям – возможность обучения в гимназии, а потом в университете. Варвара готовила к гимназии младшую дочь Лилю – будущую актрису театра Вахтангова. Знакомство с семьей Шиков станет началом огромной драматической истории жизни Варвары Григорьевны.

Ее отношения с Лурье не избежали сложностей и двусмысленности. Об этом она вспоминала годы спустя:

...переехала в Москву. Здесь я познакомилась с близким приятелем моего друга Л. Шестова, известным в Москве фабрикантом-философом Семёном Владимировичем Лурье и с его семьей. Жена была незаметная, ординарнейшая дама, круга золотой еврейской буржуазии, благотворительница и домохозяйка. От нее после многих лет знакомства осталось только впечатление чистенькой голубой эмалированной кастрюли то с теплым молоком, то с компотом из сухофруктов, то с прокисшим холодным супом. Она была маленькая, с большой головой и с большими выпуклыми глазами водянисто голубого цвета. И все, что она говорила, было водянисто и бледно. Хорош у нее был только смех, в котором была какая-то птичья свежесть, музыкальность и что-то неожиданно неудержимо веселое. Смех восточной женщины из гарема. Эстета высококультурной марки, фабриканта Семёна Владимировича, вероятно, этот смех ее и привлек к брачному с ней союзу. Просто на “богатой невесте” он бы не мог с его европейской утонченностью жениться. Этим всесторонним европеизмом он сразу привлек мое внимание, и скоро мы с ним не то, что подружились, но заинтересовались друг другом и стали часто видаться – то в его роскошно обставленной квартире, то в моей студенчески бедной комнате от жильцов в Замоскворечье. Меня привлекало в нем изящество мысли, красиво совпадавшее с изяществом манер и одежд. К тому же он был красив картинной и одухотворенной красотой. Напоминал “отрока Христа в храме” на картине Гофмана.

Я видела, что ему нравится мое общество, что его тянет ко мне. И очень ценила, что при всем этом он не спускался до так называемого ухаживанья, каким в тот период нередко меня окружали и этим отталкивали мужчины, с какими я знакомилась. Помешивая алюминиевой ложечкой остывший чай на моем письменном столе, он часа два подряд чаровал меня своими рассказами о Египте, о Риме, о Байарете – где он только не был! Заграницу он ездил часто и как-то запросто – редко на какую-нибудь подмосковную дачу. Не видимся дней 10-12, и вдруг приходит письмо из Парижа, из Вены с его почерком, который уже начинал меня притягивать и волновать – может быть потому, что в письмах были вкрадчиво нежные тона вопросов. Помню одну открытку, где была изображена женщина, уснувшая сидя за столом – голова ее с печальным профилем молодого и прекрасного лица покоилась на руках, скрещенных на столе. Он подписал под ее изображением строчки из сонета Микеланджело к его статуе “Ночь”. (Я потом перевела этот сонет: “Мне сладко спать, но слаще умереть во дни позора и несчастья. Не видеть, не желать, не думать, не жалеть –

какое счастье! Для этой ночи нет зари. Так не буди ж меня – ах. Тише говори”.) А на другой стороне открытки, вложенной в конверт, были строки, где говорилось, что эта женщина похожа на меня, и что от какого-то горя я сплю. И печальна невозможность, и была бы счастьем возможность разбудить меня. (О горе, в какое была погружена моя душа, он догадался сам, я в такой степени интимности не дружила с ним.) Такие, как это письма, такие разговоры о красотах природы, о великих произведениях искусства, о музыке, которую он хорошо знал, понимал и любил, незаметно окружали меня тонким очарованием – еще бы немного, и я вошла бы в заколдованный круг. От этого меня предостерегала полюбившая меня поэтическим поклонением его родственница – она не жалела красок живо рисуя его как опасного сердцеда, и не Донжуана, а ловеласа и прожигателя жизни. Но я не верила ей: победы его над женскими сердцами казались мне естественными, но сам он оставался в моих глазах безупречно изящным и романтичным в историях этих побед... до одного часа, когда застала его лицо с таким выражением, какое не могла предполагать в нем. Он подымался ко мне по лестнице и не видел, что я смотрю на него из полутьмы верхней площадки – он же был на свету. И было у него такое хищное, чувственное и жадное лицо, что я испугалась и сразу насторожилась всеми фибрами души. Действительно: в этот же вечер он повел более открытую атаку – хоть и по-прежнему с осторожным и поэтическим видом. Предлагал не ехать к Тарасовым, остаться на лето в Москве, и когда семья его уедет за границу, начать вместе и сделать до осени литературную работу – пьесу или что-нибудь еще... Но я уже была как Брунгильда окружена недоступным для него кольцом пламени после этой встречи на лестнице, о которой он никогда потом не узнал, хотя “дружить” мы не перестали. Но это было уже в поверхностных слоях, без нарастания и без интимных нот в дружбе^[128].

Но все-таки они не только “дружили”, как пишет Варвара, именно Лурье поставит ее заведовать литературно-критическим отделом журнала “Русская мысль”, где она проработает около двух лет.

И еще одна страничка воспоминаний Варвары:

“Все течет, все изменяется”. “*Panta rei*”^[129] – помню, как 40 лет тому назад поразило меня это слово в устах давно умершего С.В. Л<урье>. И самая мысль (она же в послании ап. Петра – “проходит образ мира сего”), и звук слова “*Pantarei*”. И странно: говоря о предметах философского порядка, этот очень умный, всесторонне развитый человек, по природе своей властный, эксцентричный и гордый – всегда делался робким, как бы бесправным. Он был очень богат, всегда модно и по заграничному одет, самоуверен и самонадеян, – а цитируя какого-

нибудь мыслителя, казалось, стоит на пороге его жилья, в бедном, дешевом – с толкучки – платье, не смеет войти и застенчиво созерцает золотые монеты, зная, что из всех этих богатств ему дадут двугривенный.

Однажды я спросила писателя Льва Шестова – друга этого “философа” (увы! Семён Владимирович был философом в кавычках): Отчего Семён Владимирович, при его данных, за всю жизнь написал две философские статьи? Лев Исаакович со своей тонкой, доброй улыбкой ответил с юмористической интонацией:

– Трудно верблюду войти в игольное ушко. И прибавил: Творчество, особенно там, где человек ищет истину, всегда жертвенно. Во-первых – это горение, “муки творчества”, во-вторых – сосредоточение интересов не на том простом, легком, непосредственно приятном, в чем привыкли жить такие баловни судьбы. А в-третьих, чего доброго, найдешь такую истину, как Франциск Ассизский – разденься донага и живи всю жизнь голяком...^[130]

Болезнь Насти

...но он за год заграничной жизни встретился с женщиной, которая с величайшей простотой и безо всяких с обеих сторон обязательств, привела его на свое ложе. Она стала его женой. Он стал крупным писателем. Сестра заболела душевно и окончила свои дни в психиатрической лечебнице. А я по какой-то унижительной живучести осталась жить и без него, и без сестры, и “без руля и без ветрил”.

Из дневника Варвары Малахиевой-Мирович

Видимо, несчастье случилось в сентябре.

Из письма Варвары Леонилле в Киев:

[3] октября 1902

...Настя заболела тяжелой нервной болезнью, сложной, причин и течения которой врачи не понимают. Предполагается консилиум, предполагается и то, что она может не выздороветь. Это случилось месяц тому назад и за это время не было улучшения.

И через несколько недель продолжение истории недуга Насти:

25 октября 1902

...Скажи Костичке, чтобы пока не заботился ни о чем. Настю необходимо месяца на два оставить еще в Мещерске. Я сейчас только оттуда. Мне дали в два дня четыре свидания. Не знаю, было ли в жизни что-нибудь тяжелее, неправдоподобнее, ужаснее. Все, впрочем, было тихо. Она не говорила с нами. Но ее нельзя узнать – страшная худоба, прозрачные руки и ничего Настинного – ни взгляда, ни голоса. На вопросы она отвечала почти сознательно, но странно. Большую часть часов проводит в религиозном экстазе. Остальные в полной угнетенности, от пищи отказывается. Не ела пять дней, отчего меня и вызвали. Удалось уговорить ее съесть яйцо и выпить стакан какао. Моментами она сознательно и многое помнит, но многое и забыла. Говорят, что она рассуждала совершенно логически, исключая некоторые пункты. Но я этого уже не застала. Не застала, к счастью, и того периода, когда она была буйной. На вопрос, хочет ли она уйти оттуда, она отвечает: Нет, мне здесь хорошо. Да и неудивительно, отношение к ней прекрасное. Сам директор больницы навещает ее через день. Все сослуживцы директора и фельдшерицы принимают участие – но потом будет печальным осложнением отсутствие близких и родных и домашней обстановки. Для этого я и хотела бы перевести ее в Москву и постараюсь сделать это. А если сама все порву с Москвой – буду хлопотать о Виннице или о чем-нибудь киевском и перееду в Киев.

Вскоре Настю решают отправить в киевскую Кирилловскую больницу, ту самую, где лечился Врубель и где работала сама Настя.

[Ноябрь 1902]

...Настю отправляют в Кирилловку. Земство, а главным образом директор Мещерской больницы, грубы со мной и вряд ли дадут знать, когда ее отправят. Я, конечно, помимо них это узнаю, но, возможно, что это будет позже на несколько дней. Поэтому очень прошу тебя, справься по телефону, как получишь это письмо – не привезли ли ее в больницу.

О состоянии Анастасии становится известно Ремизову. Он пишет 8 ноября 1902 года: “Анаст<асия> Мирович – в сумасшед<шем> доме (также и Врубель, – сообщал он П.Е. Щёголеву^[131])”. Об Анастасии Мирович, скорее всего, он знал от Брюсова.

Выезд в Кирилловскую больницу откладывался. Настю держат в Мещерском.

Варвара пишет Леонилле:

[Декабрь] 1902

Нилочек мой дорогой! Пишу из Мещерска, куда приехала навестить Настю. Здесь хороший лес, парк, снежные сугробы, а с больными я не только свыклась, но и сдружилась. Запросто беседую с буйными помешанными, хожу к смирным, изолированным во время припадка, позволяю “искать” у меня в голове, обнимать и толкать, бить они не смеют того, кто их не боится. С тихими пью чай – нахожу все это общество мало отличающимся от, так называемых, здоровых людей.

Только слабоумных не люблю. Давно уже назревали у меня мысли, что все одинаково в мире – жизнь и смерть, радость и страдания, здоровье и болезнь. Настю через неделю могут отпустить в Воронеж. Из Воронежа постараюсь заглянуть к вам, если денег хватит.

Видимо, Настю отпустили с Варварой домой на Рождество 1902–1903 года. Они вместе поехали к матери в Воронеж. В дневнике Варвара вспоминает об этом:

...Страшная ночь, когда выпущенная из психиатрической больницы сестра Настя, казалось уже совсем выздоровевшая, закричала ужасным голосом: “А! Мертвые? Мертвые!” – в то время, когда я убирала елку. Это было в Воронеже. У Насти сделался буйный приступ. Ее связали, и брат Николай остался с ней, мать забилась в нервном припадке в чулан, а я помчалась под звездным сверкающим небом в больницу за врачом. Сверкал и серебрился снег пустынной площади, жалобно перекликались паровозы у вокзала. И душа силилась совместить трагическую сторону мира – жребий безумия, гибели, невознаградившей утраты – с звездным небом рождественской ночи^[132].

Александр Соболев приводит в своем исследовании отклики литераторов на болезнь Анастасии Мирович. “Слух о ее помешательстве распространился в литературной среде: несмотря на скромность вклада, имя ее было небезызвестно. <...> Для русских модернистов, равно чувствительных к смерти и безумию, ее имя могло стать одним из каноничных (как рано погибшие Коневской или Виктор Гофман) – но не стало. В 1908 году умный и наблюдательный А.А. Кондратьев, заканчивая статью «Голоса юных», где поминались его покойные литературные соратники, писал: «Вас, о девушки, на которых была пролита священная кровь Киприды, вы, чья душа полна была ее неутолимою скорбью, – вас хотел бы я оживить моей братскою любовью. Я свято храню ваши стихи, где подражаете вы божественной Мирре [Лохвицкой] или другой, столь же рано и подобно ей в безумном

бреду кончившей дни Анастасии Мирович, этой единственной талантливой из всех поэтесс декаденток»^[133].

“Покойная сестра моя, – вспоминала Варвара – перед тем, как заболеть психически (в последние свои здоровые годы жила в большом напряжении богоискания), говорила однажды: «каждый сумел бы написать “свой” апокалипсис, если бы умел удалиться на Патмос с разъезженных дорог». У нее была полоса мрачного безверия. Во время одного припадка она повторяла в отчаянии: «если бы был Бог! Хоть бы какой-нибудь Бог!» Потом перед тем, как совсем погас в ней разум, уже в больнице на несколько дней, она засветилась таким светом, что совсем не мистически настроенная фельдшерица говорила мне: «Я никогда не видела больных в таком сиянии». В этом сиянии я видела ее несколько раз. Лицо было светящегося белого цвета (как просвечивает белый абажур на лампе). Из глаз шли снопы лучей. «Подойди ко мне, – сказала она, – я скажу тебе очень важное. Для тебя. Не думай, что я больна. Я была больна. Во мне была тьма. То, что называют дьявол. А теперь во мне Бог». И через минутку просветленно-торжественное лицо ее вдруг потускнело, изменилось до неузнаваемости, и резким движением она схватилась за цепочку на моей груди, как будто хотела задушить меня ею. Тут вошла надзирательница и увела ее^[134]”.

Варвара написала после смерти сестры стихи.

сестре а.г.м.

*“Должна быть шпага,
на которой клянутся”*

(Слова бреда)

Твой озаренный бледный лик,
Твой голос, дико вдохновенный,
В пожар души моей проник,
Как перезвон набата медный.

“Должна быть шпага. На клинке
Ее начертаны обеты.
Не здесь. Не в мире. Вдалеке,
В руках у Бога шпага эта”.

Как белый саван облекал
Тебя, наряд твой сумасшедший,
И неземным огнем сиял
Твой взор, в безумие ушедший...

Мой дальний друг, моя сестра,

Я эту шпагу отыскала,
И знаю, как она остра —
Острее, чем самой смерти жало.

1921. Сергиев Посад

Снова и снова в поздних дневниках своей старости Варвара возвращалась к тому, что говорила ей сестра. Словно до нее доходил подлинный смысл произошедшего с нею:

Есть добрые желания. Есть совесть. Есть тоска (увы, чеховская!) “о жизни чистой, изящной, поэтической”. Благие порывы. Но нет крепкой воли. Нет в моменте выбора “шпаги, на которой клянутся”. “Должна быть шпага, на которой клянутся!” – так, заболевая душевно, закричала однажды сестра Настя, поднявшись во весь рост на кровати: “Все насмарку, если нет шпаги, на которой клянутся!” И еще раз, больше 40 лет тому назад, мы обменялись с ней жуткими словами в концертной зале. Помнится – это был “Реквием”. Настя сказала мне на ухо: “А что, если все, что мы и что с нами – все написано мелом. На пробу. И проба не удалась”. И мне показалось тогда, что приближается к этим меловым строкам огромная влажная губка и сейчас начнет стирать все написанное. И меня, конечно, вместе с ними.

Я сказала об этом сестре. Она посмотрела на меня с любовью и сказала: “Нет, Варочек, губка этого не посмеет”. Какой большой любовью она меня любила! Как много любви на меня излилось и другими людьми. И посейчас этот бальзам, эта живая вода не перестает меня врачевать и поить. Какая задолженность! Вовек мне не расплатиться. Но об этом потом, потом. Это можно отложить (расплаты) и до “жизни будущего века”. Неотложно необходимое – нырнуть в бездны подсознания и достать там “тайные тьмы” свои, и спросить своего даймона, как быть с ними сегодня, сейчас. И как укрепить рычаги, какими управляется жизнь в днях, в делах, в тех или иных запретах – в сторону помыслов и поступков, пропыляющих и оскорбляющих образ Божий в человеке^[135].

Настя когда-то ответила Варваре на все времена настоящие и будущие.

посвящается В. Мирович
В тебе не отразилось ничего,
Что было мудростью создавшего тебя
И мнится мне, что ты слеза Его,
Упавшая в стихию бытия.

В его слезе сверкают отраженья,
Сверкают рощи, солнце и цветы,
Безумный круг земного сновиденья
– И это ты, и это ты.

Вот почему тебя я так любила,
Тебя проклясть была не в силах я.
Мне было сказано, мне откровенье было,
Что ты слеза в стихии бытия.

Анастасия Мирович окончательно ушла от всех в свой мир душевной болезни, откуда так и не возвращалась до самой смерти от голода в Мещерской больнице в 1919 году.

Апофеоз беспочвенности. Ответы на вызовы судьбы и другие события

Лев Шестов неоднократно писал своим близким о надвигающемся безумии. Боялся, что именно такой финал его ждет. Но сумел отойти от края пропасти – благодаря своим сочинениям, Анне Елеазаровне, детям. А Настя не смогла. Она словно взяла на себя его болезнь. И даже слова, которыми она встретила Варвару в сумасшедшем доме, были своего рода внутренними цитатами из Шестова: “Если бы был Бог! Хоть бы какой-нибудь Бог!” Но она оказалась слабее Шестова и своей сестры.

Нам абсолютно неизвестно, как Шестов отреагировал на болезнь Насти. Что сказал, что подумал. Свидетельств об этом не сохранилось. Но в 1903–1904 годы он работает над своей знаменитой книгой “Апофеоз беспочвенности”. Книга эта переворачивает все представления о норме, о причинности и закономерности. Книга-бунт. Книга об одиночестве человека на космическом сквозняке.

“Не знаем, испытал ли сам автор одну из тех жизненных трагедий, в которых он видит единственный источник истинной, реальной философии; во всяком случае, эта его книга, как и две предшествовавшие ей, исполнена духом страстного, до боли напряженного искания, притом искания не «обмана», хотя бы убедительного и возвышающего нас, а трезвых истин, хотя бы и «низких»: всякая новая истина, говорит в одном месте г. Шестов, всегда безобразна, как новорожденный ребенок. И это именно придает высокую ценность его книге”^[136], – эти слова Гершензон написал о его работе “Достоевский и Ницше”. Но эти слова отвечают и главной книге Шестова – “Апофеоз беспочвенности”.

В “Апофеозе” неожиданно возникает маленький сюжет о гусенице. Конечно же, Лев Исаакович читал Настин рассказ “Гусеницы” о разговоре двух гусениц-сестер о преображении плоти, которое непременно настанет, но они его только предчувствуют. Удивительно, как Шестов разворачивает ту же притчу, но уже по-иному.

“Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мирке. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т. п. вещах. Уничтожать то, созидание чего стоило таких трудов! И затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир! Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой – нет никому дела.

Крылья – это мистицизм, самоугрызение же – действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палачей: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами”. Это был протест против пронизавшего весь мир позитивизма. И через несколько абзацев снова раздражающие публику суждения Льва Шестова.

“Безнадежность – торжественнейший и величайший момент в нашей жизни. До сих пор нам помогали – теперь мы предоставлены только себе. До сих пор мы имели дело с людьми и человеческими законами – теперь с вечностью и отсутствием всяких законов. Как можно не знать этого!”

Мир, в котором нет надежды, где человек оставлен один на один с Богом, о чем говорит и Лев Толстой в своей “Исповеди”, абсолютно неприемлем для обывателя. Без сладких снов и сказок он не может существовать.

“Человек трагически одинок”, – говорит Шестов. Ему не спрятаться ни за общепринятую мораль, ни за позитивистские представления о причинности. Но чтобы думать и говорить об этом – нельзя бояться. Он заканчивает свою работу словами, написанными в Альпах для путешествующих по тропинкам над пропастями. “Для тех, кто не боится головокружения”. Это определение восходит к цитате из Фридриха Ницше, который тоже часто совершал горные прогулки. “Мужество побеждает даже головокружение на краю пропасти; а где же человек не стоял бы на краю пропасти! Разве смотреть в себя самого – не значить смотреть в пропасть? Мужество – лучшее смертоносное оружие: мужество убивает даже сострадание”^[137].

Тот самый Шестов, которого близкий друг обвинял в инфантилизме, трусости, который пережил приступы болезни, ощущение тупика и одиночества, – больше не боялся головокружения.

Лев Исаакович выбрал свой путь. И сумел увлечь других.

Реакция на “Апофеоз” была предсказуемой. Книгу не приняли. Но в то же время возмутитель спокойствия стал замечен всей интеллектуальной России. От него уже было невозможно отвернуться.

“Рецензией «Русских Ведомостей» я не огорчился, – писал он зятю Ловцкому. – Я знал, что книга будет недружелюбно принята, и теперь, когда мои предвидения оправдались, только сообщил тебе об этом. Между прочим, «Апофеоз беспочвенности» не имел успеха даже у тех, которые справедливо относились к моим предыдущим работам, никто из моих знакомых, которым я разослал книгу, не ответил мне ни словом. Но стороной я узнал, что все недовольны: и Левин^[138], и Лурье, например. Даже Бердяев, как ты увидишь или уже увидела из его статьи в «Вопросах Жизни» [март 1905 года], недоволен. Правда, он мне признался, что прочел книгу наскоро, так как она ему была некстати: у него уже сложилась в голове статья по прежним моим работам, а «Ап. б.» немного расстраивал готовый план. Но все же впечатление было не в мою пользу. Володя сказал мне, что ты тоже «не понимаешь». Так вот тебе совет: прочти статью о Чехове^[139] – в ней связнее и проще передано содержание «Ап. б.». Правда, связность и упрощение обрезывает материал, но зато дает некоторую нить. Мне кажется, что после статьи о Чехове «Ап. бесп.» будет понятнее”^[140].

Наталья Баранова-Шестова пишет в его биографии: “Возмущению не было конца в московском обществе после выступления Шестова... – на каком-то вечере в Литературно-Художественном Кружке, когда он прочел свои парадоксальные афоризмы из «Апофеоза беспочвенности»... Бунт Шестова против разума и морали был непонятен и неприятен для его поколения, до такой степени оно было «в плену у научности». “Шестов ближе нам, людям призывного возраста Первой мировой войны. У нас в гимназии был кружок, где был настоящий культ этого писателя”^[141], – вспоминал один из его молодых поклонников.

Единственный, кто с восторгом воспринял эту работу и шестовский взгляд на мир, был начинающий писатель Алексей Ремизов. Он-то и стал ближайшим другом философа до конца его дней. Через Ремизова Шестов продолжал устраивать статьи Варвары в журналы. Из письма Шестова Ремизову в конце сентября 1905 года:

...А на просьбу просьбой отвечу. Я передал Бердяеву статью В. Мирович о Лохвицкой. Прелестная статья. Бердяеву нравится, но может Чулков станет противиться. Так скажи ему, что, если статья не пойдет – обидит меня насмерть. И, чтоб поскорей напечатали.

Ремизов, как и Шестов, жил в Киеве, где они и познакомились в ноябре 1904 года. О том, как это произошло, он вспоминал в статье «Памяти Шестова»: «А познакомил нас Бердяев, всеми любимый и всегда желанный. Был конец ноября, но не Бодлеровский, с болью глухо падающими дровами для камина, а киевский – этот сказочный, захватывающий душу вестник рождественских колядок, с теплым чистейшим первоснегом. На литературном собрании, доклад В.В. Водовозова, Бердяев повел меня куда-то вниз и не в «буфет», как я подумал, или мне хотелось так выдумать, а в «директорскую» с удобными креслами. «Да где же тут Шестов?» И вдруг увидел: за конторкой под лампой, сидевший, сняв пенснэ, поднялся, мне показалось, что очень высокий и большие руки, – конечно, «Лев Шестов»! Это и был Шестов. «Рыбак рыбака видит издалека!» – сказал он и на меня глянули синие печальные глаза... Мне с моим взбалмошным миром без конца и без начала Шестов пришелся на руку, легко и свободно я мог отводить свою душу на всех путях ее «безобразия». И моим «фантазиям» Шестов верил, доверчиво принимая и самое «несообразное»... «Беспросветно умен», так отзывался о Шестове Розанов, а я скажу «бездонно сердечен», а это тоже дар: чувствовать без слов и решать без «расчета»»^[142].

Влюбленная дружба: Евгения Герцык

Интересно то, что Варвара Григорьевна была одной из немногих, кто хорошо знал Шестова до его славы. После того как он опубликовал свои работы, к нему начали слетаться самые разные люди. Евгения Герцык заметила его с первых же книг и стала искать возможность познакомиться с ним.

«Я курсистка первокурсница, – писала она о начале своей дружбы с Шестовым. – Исправно хожу на лекции... красота, идеал, научный метод, истина – чудом стоит под высоким лепным плафоном. И мне ни к чему все это... Дома лежит книга [«Толстой и Нитше»]. Совсем неизвестного автора. И вот она мне живой родник... Так Лев Шестов вошел в мою жизнь. Но где его найти? Просматриваю январский номер «Мира Искусства» и вся восторгалась: новая работа Шестова и на ту же тему. Пишу в редакцию, спрашиваю адрес... Тогда [в 1902 году] завязалась наша долгая переписка... Из всего погибшего в 17 году в московской квартире мне больше всего щемит душу потеря тоненькой пачки шестовских писем того раннего периода... В первый раз я видела Шестова в 1903 году в Швейцарии, в Интерлакене... Он пришел как из опаленной Иудейской земли – темный загар, коричневая борода и такие же курчавившиеся над низким лбом волосы. Добрые и прекрасные

глаза... Ему 38 лет – он и не кажется старше, но почему какая-то надломленность в нем”^[143].

Но “Апофеоз беспочвенности” Евгению разочаровал: “А что последняя книга «Апофеоз беспочвенности» написана афористически – так это только усталость. Нет больше единого порыва первых книг – все рассыпалось... Афоризм – игра колющей рапиры или строгая игра кристалла своими гранями, но игра – разве это шестовское?”^[144]

Но надежда видеть и говорить с ним наконец стала явью – в свои приезды в Москву Шестов стал приходить в дом в Кречетниковском переулке. В феврале 1907 года Шестов появляется в московском доме Герцык. Сестра Евгении Аделаида (недавно вышедшая замуж) рассказывает подруге в письме: “[Шестов] оставил впечатление удивительного благородства, величия и трогательности. Ты знаешь, как во всем великом, одиноком есть что-то детское и наивное. Такие мелкие рядом с ним Бердяев, Жуковский (муж Аделаиды Герцык. – Н. Г.), а главное, все люди его школы – Мирович, Лундберг^[145] <...> Бердяев, когда был у нас, удачно выразился, что всех шестовцев характеризует «жадность, обида – они смотрят на жизнь и как бы ждут подачки от нее»... Но если б ты знала, до чего это не подходит к нему самому и как бы он по праву мог сказать, что он не «шестовец»... Вообще, родная, ты полюбила бы его и его правоту...”^[146]

Судя по письмам сестры Аделаиды их общей подруге Вере Гриневич, Евгения в то время была влюблена в Льва Исааковича:

...он завтра уезжает, и это их последний вечер, и как она говорит, прощальный. От него это тайна, но она про себя с ним прощается, потому что он слишком большой и важный, чтобы быть не единственным, чтобы быть между прочим... И она приносит его в жертву Вячеславу [Иванову], говорит, что надо отказываться от самого ценного...^[147]

У Евгении к тому времени долгий и абсолютно бесперспективный роман с Вячеславом Ивановым. Сёстры Герцык называют несимпатичную им Варвару – курсисткой с тетрадкой, “шестовкой”. Какая удивительная метаморфоза! Трудно представить Варвару появляющейся в виде назойливой тени Шестова. “Нередко, приходя к нам вечером, он приводил с собой «шестовцев», как мы с сестрою их прозвали. Молчаливый народ, неспаянный между собой, а с ним, с Шестовым, каждого порознь связывали какие-то вовсе не литературные нити. Милее всех была мне Бутова^[148] артистка Худ. театра, высокая и худая с лицом скитницы. Мы стали видеться и в отсутствие Льва Исааковича. Большая, убранная кустарными тканями комната с окнами на Храм Спасителя. В шубке, крытой парчой, она тихо двигается, тихо говорит на очень низких нотах. От Худ. театра культ Чехова... Но были и другого рода люди. Красивый еврей Лурье, преуспевающий

коммерсант, но и философ немножко, в то время увлеченный «Многообразием религиозного опыта» Джемса, позднее им же изданным. Хмурый юноша Лундберг, производивший над собой злые эксперименты: проникнув в Лепрозорий, ел с одной посуды с прокаженными, потом в течение месяцев симулировал немоту, терпя все вытекающие отсюда последствия и унижения. Хорошенькая и полногрудая украинка Мирович, печатавшая в журналах декадентские пустячки. Вся – ходячий трагизм”^[149].

Какое-то нескрываемое раздражение кроется за этими строчками, особенно в отношении к “хорошенькой и полногрудой украинке”. Спустя много лет, в конце 1930-х годов, Герцык уже, забыв свою ревность, будет расспрашивать их общую подругу Надежду Чулкову о Варваре, ее жизни и самочувствии. Их так мало останется от тех лет, что все дурное забудется.

А в те времена Герцык сообщает подруге в письмах, как они с Шестовым перед его отъездом пошли на спектакль по Гамсуну, как горячо говорили о нем, как он рассказывал ей, что перечитывает ее письмо, написанное два года назад. А потом он уехал, и она терзалась мыслями о том, есть ли у него кто-то или нет.

Скорее всего, Льву Шестову очень льстило внимание умной дамы, тяготеющей к философии. Евгения же изо всех сил пыталась разгадать его тайну – чувствовала, что он что-то скрывает от них. И вот тайна Шестова, как показалось сестрам, была открыта. В 1909 году Аделаида Герцык, недавно вышедшая замуж, жила за границей. 13 апреля делилась с сестрой:

Вчера мы вернулись из Фрейбурга, где провели два дня... Красивый городок и кругом мягкие холмы Шварцвальда. Почти недозволенная идиллия немецкого благополучия. Вечер мы провели у Шестова. Накануне Дмитрий один прямо с вокзала зашел к нему, тот встретил его смущенно и сознался страшной тайной, что у него семья. Он 12 лет женат на русской бывшей курсистке (теперь она доктор) и у него две дочки 11-ти и 9-ти лет. Он должен скрывать эту семью из-за отца, которому 80 лет, и он не перенес бы такого удара, что она не еврейка и потому до его смерти они решили жить за границей. Я видела и жену его – лет 38, <...> молчащая, но все знающая, что интересно ему...^[150]

Аделаида со своим мужем Жуковским случайно столкнулись с Шестовым, и ему ничего не оставалось делать, как признаться, что неподалеку здесь обитают его гражданская жена и две дочери. Сестра тут же написала об этом Евгении, а та сочинила романтическую историю о несчастном больном философе и ухаживающей за ним студентке-медичке.

“В его отношении к близким ему людям ни тени позы или литературного учительства (в те годы это в диковину) – просто доброта и деловитая заботливость, – писала Евгения Герцык в мемуарах. – Одного он выручал из тюрьмы и отправлял учиться к самым-то ортодоксальным немцам, ничуть не трагическим, другому – беспомощному писателю – сам тогда еще никому не известный, добывал издателя, помогал деньгами, разбирал семейные драмы. Все это без малейшей чувствительности. И сам он такой деловой, крепкими ногами стоящий на земле. Притронешься к его рукаву – добротность ткани напечет о его бытовых корнях в киевском мануфактурном деле. Когда садится к столу – широким хозяйским жестом придвинет себе хлеб, масло, сыр... Сидит, так сидит. Так не похож на птичьи повадки иного поэта-философа: вот-вот вспорхнет... Во всем его облике простота и в то же время монументальность. Не раз при взгляде на него мне думалось о Микель-Анджело, то ли о резце его, то ли о самом одиноком флорентинце. Неужели ни один скульптор так и не закрепил его в глине и мраморе?”^[151]

Михаил Шик и Варвара. “Многообразие религиозного опыта”

Как уже говорилось выше, в 1904 году Варвара Григорьевна устроилась домашней учительницей в семейство Семёна Лурье, богача-мецената, страстно увлекающегося философией. Тогда же она встретила семнадцатилетнего гимназиста Михаилом Шиком. Эта встреча перевернет как его, так и ее жизнь. Но тогда никто не мог себе такого даже представить. Их разделяла двадцатилетняя разница в возрасте, они были из абсолютно иных миров.

“Знакомство наше произошло так, – вспоминала о нем Варвара в специальной тетради, предназначенной его старшему сыну Сергею Шик. – Меня пригласили, зная с одной стороны мою охоту возиться с детьми, с другой – полную неспособность к сношению материальному устройству, заниматься с шестилетней девочкой Лилей (Л.В. Шик-Елагиной). Кроме Лили в семье этой оказалось два еще мальчика, в старших классах гимназии. Мне не пришло в голову расспрашивать о них. Я их почти не заметила, так как этот возраст у мальчиков меня никогда не интересовал. Девические 15–17 лет мне всегда казались чем-то благоуханным, весенне очаровательным. У мальчиков же угловатость и дисгармония их психики в этом возрасте не казались мне ни интересными, ни привлекательными.

В это время было напечатано в каком-то журнале мое переложение «Экклезиаста», в стихах. В семье <...> попросили меня прочесть его.

– Я позову Мишеньку, – сказала Гизелла Яковлевна^[152]. – Я хочу, чтобы он с вами познакомился. Он такой стал дикий, совсем странный. И в гимназию неаккуратно ходит. Вдруг пропустит без всякой причины. И, что бы вы думали, стоит без всякой причины полдня у окошка, ко всем спиной, на вопросы не отвечает. Я серьезно боюсь, чтобы он не заболел психически. Я уже думала сводить его к Минору (врач-психиатр).

В этот вечер я увидела мальчика, странно тихого и, несмотря на какой-то налет меланхолии, странно светлого, с глазами, какие Розанов назвал бы трансцендентными. Их недетский, и даже неюношеский, а какой-то особый мудро проникновенный грустящий, отрешенный, ангельский взгляд, поразил меня, и сразу показался где-то, но не на этом свете, виденным. И взгляд, и голос я вспомнила (потусторонним воспоминанием) узнала сразу.

Но так далека была от привычек жизни мысль о чем-нибудь похожем на дружбу с полу ребенком, полу юношей, что я не включила его в круг знакомств и скоро о нем забыла.

Велико было мое удивление, когда, встретившись с ним однажды в вагоне конки (тогда трамваев еще не было) я услышала от него просьбу разрешить ему зайти ко мне. Я жила очень далеко от него, в другом конце города, и заходили ко мне лишь немногие близкие друзья. Тем более что я жила не у себя, а в чужой мне богатой еврейской семье. У меня была большая низкая комната в мезонине, с камином. Камин топился, когда пришел тихий мальчик с прекрасными глазами. Оказалось, что он не так уж молчалив. Он живо и умно, как взрослый вел беседу, стараясь разузнать, «что я люблю», спрашивал про огонь камина, про зиму, про снег. Потом говорил о Достоевском, о целях жизни, о страхе смерти и о желании ее. С удивлением я поняла, что могу и буду дружить с этим гимназистом, «Лилиным братом».

В бесконечной запутанности и мучительности моей личной жизни, как она в те годы сложилась, эта встреча почувствовалась мне, как помощь, как нездешний свет и дуновение иного мира. С этого дня он вошел в мою жизнь и внес в нее тот звездный свет, который озарил темную ночь моей души и затерявшиеся в безднах отчаяния пути ее восхождения^[153]”.

Михаил Шик был учеником 5-й Московской гимназии, которую окончил в 1905 году. Одноклассниками и близкими друзьями Шика были Георгий Вернадский, сын академика, впоследствии профессор русской истории в университете в Нью-Хевене, и Владимир Фаворский – знаменитый художник-график, академик, Дмитрий Поленов, сын художника, позднее директор музея в усадьбе Поленово, Василий Сахновский, известный режиссер. Однажды у Георгия Вернадского Михаил встретил Наталью Шаховскую^[154], которую за ее фантастическую доброту и жертвенность называли “княгиня Марья”^[155].

Тогда Варвара встречалась с известным в Москве терапевтом Лавровым^[156]. Она писала в дневнике:

...было суждено пройти через светлую и радостную в начале, но мучительную и унижительную, в общем, четырех-летнюю брачную связь. Он скрыл от меня свою жену и детей, я считала его свободным. На этой почве, среди его лжи, расцвели ужасные тернии взаимного недоверия, требовательности, обиды, эгоизма. Мы виделись два раза в неделю (он был ужасающе завален работой) и жили жизнью супругов, но в нашей связи кипела уже, как смола преисподней, вражда, осуждение, почти презрение иногда. И всегда непонимание, всегда боль. После одного из таких свиданий я уехала в Воронеж. И больше мы не встречались.

О ее состоянии говорят письма подруге весной 1904 года:

...Живу среди каких-то бондарных и экипажных заведений, чайных, трактиров. Рада, что не вижу поэзии вечеров северной весны. Четыре года тому назад я каждый вечер в это время ходила на один из мостов и смотрела на Кремль. Небо за ним было ярко и нежно зелено-синее, известное только в Москве, башни стояли, как видения древности, как сон сказочной, отошедшей в вечность действительности. И в душе была фантастическая сказка, гордая, еще далекая от воплощения и нежная, как музыка. О, что сделало из нее время, действительность, и я сама.

Летом она живет в Кудиново под Москвой и пишет подруге Леонилле безнадежное по тону письмо:

29 июня 1904

Кудиново

Письмо твое, милый друг, застало меня в очень тяжелую минуту – одновременно с ним пришло известие из Мещерска, что Настя слабнет и переходит в безнадежное слабоумие. Ты знаешь – с тем, что с ней случилось, нельзя свыкнуться – это не вошло в сознание, входит только минутами – и трудно передать ужас этих минут. <...>

Первое – это, конечно, тот, кого ты называла моим другом (как далеко это слово от того, что есть на самом деле). Второе – это же и первое – Мещерское. Третье – сознание своего бессилия и ничтожества создать что-либо, начиная со своей судьбы.

В это время она с некоторым удивлением стала принимать ухаживания юноши Михаила Шика.

Когда он уходил поздней ночью к себе с далекой окраины у Девичьего монастыря, где я жила, и в деревьях парка стонала и выла метель, сердце у меня мучительно сжималось, и думы о нем, о трагизме связанности его со мной, не покидали меня иногда до рассвета. Но в то время я не любила его той любовью, какую он меня любил, и была полна еще тоски и боли о другом человеке.

Однажды он пришел, как приходил каждый день и не застал меня. Я уехала на станцию Царицыно, по торопливости, не оставив ему записки. Он обошел полгорода по ужасной погоде, разыскивая меня. И когда я вернулась дня через два, я нашла у себя на столе письмо, где не было упреков, но звучала предельная боль души. Способность к боли, к высшей точке болевого напряжения, к подобной агонии там, где замешана любовь и есть причина для страдания, составляла в то время одну из характерных черт души. Другая черта ее была – обреченность пить чашу до конца, как бы горька она ни была...

Благословенны пусть будут крохотные из каких-то, как на подбор, слабеньких невзрачных цветов букеты, какие он собирал для меня той весной.

Человек, которому я сама тогда посылала корзины с цветами, ни разу не подарил мне ни одного цветка. И эти желто-синие букетики ложились тогда на мое сердце, как целебные травы, как что-то райское, чем Бог захотел утешить в том, что земное цветение ее было так непоправимо уродливо и таким жгучим побито морозом...

Мне снилось сегодня, – сказал он однажды, глядя задумчиво в окно на белый морозный парк и снежные дали Воробьевых гор, – мне снилось, и с такой непонятной реальностью, что я болею, и что я при смерти. Возле меня Володя Фаворский. И я говорю ему, что я умираю от того, что слишком сильно люблю вас^[157].

“В этот период (после разрыва с доктором Лавровым. – *Н. Г.*) опустошенности и тоски, – писала В.Г., – отвращения к жизни и к себе подошел Михаил Владимирович (Шик) – тогда еще мальчик – и в течение 12-ти лет приносил мне ежедневно, ежечасно величайшие дары – благоговейного почитания Женщины, нежности, бережности, братской, отцовской и сыновней любви, заботы, верности. Когда ему было 20, а мне 38 лет, наш союз стал брачным, и брак длился около 10 лет”^[158].

В 1912 году Шик окончил Московский университет сразу по двум кафедрам – всеобщей истории и философии, после чего продолжил

занятия философией в одном из университетов Германии. Варвара и Михаил стали вместе переводить на русский язык чрезвычайно важную книгу того времени – “Многообразие религиозного опыта” Уильяма Джеймса. Заказал перевод Семён Лурье, уже несколько месяцев искавший хорошего переводчика для монографии, которую читала тогда вся мыслящая Европа. Сначала он обратился к Евгении Герцык. 19 февраля 1909 года она писала Вячеславу Иванову:

Сейчас у меня был Лурье – приятель Шестова, культурный скептик, говорил о “Русской мысли”, которую, кажется, берет, и очень уговаривал меня взять огромную работу – перевод Джемса о религиозном опыте. Меня пугает величина и срок. Он мне пришлет книгу и через два дня я должна ответить. Страшно закабалить себя^[159].

Герцык отказалась.

Незадолго до русской версии книги вышла статья Шестова, где он писал: “Джемса интересует <...> то, что религиозные люди называют откровением. По своему личному опыту Джемс совсем не может судить об откровении, ибо сам ничего такого не испытал <...> Джемс добросовестно изучал, насколько возможно, показания религиозных людей и пришел к заключению, что откровение – это факт, с которым нельзя не считаться, и что люди, испытавшие откровение, знают многое такое, чего люди обыкновенные не знают”^[160].

В 1911 году Н. Бердяев назвал “Многообразие религиозного опыта” “прославленной книгой”, в 1914-м на нее ссылался В. Жирмунский, этот труд стал любимым чтением Л. Выготского. Скорее всего, они читали книгу в переводе Варвары Григорьевны и Михаила Шика.

Встреча Варвары с Львом Толстым. 1909 год

В 1909 году жизнь Варвары Григорьевны круто меняется: после ухода Мережковского с поста заведующего литературно-критическим отделом журнала “Русская мысль” Семён Лурье принимает на себя его обязанности и приглашает туда Малахиеву-Мирович. За короткое время с января 1909 по октябрь 1910 года Варвара печатает в журнале более двадцати рецензий. В 1910-м художественную литературу в “Русской мысли” рецензируют фактически двое: Малахиева-Мирович и Валерий Брюсов. Но с приходом в отдел Брюсова осенью 1910 года Варвара Григорьевна отходит от “Русской мысли”.

В начале 1909-го Варваре Григорьевне удастся получить разрешение Льва Толстого посетить его в Ясной Поляне. Ее тягу к

толстовству иронически отмечал Шестов в своих письмах. Но сам факт того, что она едет к самому графу Толстому, поражал всех. “Дети семьи, где я жила, волновались за меня, представляя мою встречу с Львом Николаевичем, – писала она. – Когда я уезжала, меня провожали с такими лицами, с какими, быть может, в средние века напутствовали отправлявшихся в крестовые походы.

Телеграфисты, у которых я справлялась о поездах, останавливающихся в Козловке или Ясенках, узнав по названию станций, что я еду ко Льву Николаевичу, сразу изменили свои лица; у одного было с косым глазом, сердитое и замученное скукой лицо. У другого – совсем нехорошее, с дурашливыми и циничными гримасами. И вдруг оба лица стали человеческими, строгими, с оттенками той благородной зависти, какая некогда была, вероятно, на лицах тех из пяти тысяч, которым достался хлеб и рыба, а заповеди блаженства не донеслись и лик Учителя остался не увиденным, так как оттеснили их далеко, к самому подножию горы”.

Она ехала из Тулы в Ясную Поляну на извозчике через метель, ветер. Как вспоминала Варвара, разбушевавшаяся зимняя стихия сопровождала ее по пятам. Извозчик ее доверительно предупредил: “– Скажу я вам правду, – таинственно понизив голос, сказал он: – и в метель ехать – стоящее дело. Англичане приезжают: у них, говорят, в английской земле, таких людей нет. Слышно, первый человек граф после Бога”^[161].

Лакей, наконец, провожает ее в кабинет Толстого. “И вот, это жуткое чудо – воплощение, вочеловечение, – во времени и пространстве, лицом к лицу появление того, кто доныне был только названием великого творческого начала, создавшего творения. Более реальные, более живые, чем иные человеческие существа, пережившего такие великие искания, познавшего, может быть, то, что от смертных скрыто. – И вот, это лицо, этот голос...

– Здравствуйте, садитесь. Чем я могу вам служить?

Прекрасное старческое лицо, без старческой дряхлости, с живыми, но светски-завешенными глазами; взор под голубой дымкой, внимательный, но далекий. Мягкий голос, сдержанный, почти холодный. Осанка светского человека, и даже не это, а скорее осанка царя, который решил быть доступным. Но в голосе что-то пленительное, что-то до того родное, знакомое, что опять колышутся воспоминания: кто так говорил? Кто мог так говорить? Такой же величавый и так же таинственно-близкий? И говорил, и был нем в то же время. Проносится в памяти статуя Микель-Анджеловского Моисея. По силе, по затаенной грозности, по той тишине, которая рождается только бурями, невыносимыми для простых смертных, – это братские лица. И не было бы удивительно, если бы лучи, какие рисуют над головой Моисея, засияли бы и над головой великого старца”.

Так она его видит. Они проводят весь вечер в насыщенных разговорах (спустя два года она опубликует мемуарный очерк о нем). Эта встреча окажет огромное влияние на всю ее последующую жизнь. Много раз она будет возвращаться к ней в дневниках, соизмеряя свои духовные открытия с теми, которые она получила в том разговоре с Толстым. Незаметно она рассказывает ему свою жизнь.

Он спросил: "...что заставило меня взять такой трудный труд и такой неприятный, как чтение рукописей. Я сказала, что, помимо моего интереса и симпатии к этому журналу, у меня была и есть необходимость заработка.

– Вам это, верно, покажется странным, а, по-моему, вы, именно вы, могли бы и на 20 рублей жить.

Я сказала, что у меня нет этого искусства.

– Да, в большом городе, – согласился он, – на 20, пожалуй, трудно. Но на 30 уже можно.

– Мне было бы трудно, – сказала я. – Трудно, когда плохая комната, скверная еда”.

Толстой, который вначале говорил с ней довольно-таки жестко, как с обычной пишущей дамой, становился все доброжелательнее. Расспрашивал, почему у нее нет семьи и детей, на что она откровенно отвечала ему. Тогда он стал зачитывать ей отрывки из своего тайного дневника. Дочь Толстого, Александра Львовна, пыталась прервать их затянувшийся диалог, беспокоясь о здоровье отца, но он попросил ее оставить их и продолжал разговор.

И хотя он возмущался прочитанными Варварой стихами Сологуба и ругался на Джеймса за слово “экзистенциальный”, но она быстро перестала бояться его и перешла на доверительный тон – это она всегда умела. Быть естественной, живой, подчиняться мужской силе мысли. Они расстались довольные друг другом.

Спустя годы она написала в дневнике:

Воспоминание о моей поездке в Ясную Поляну в год кончины Толстого. Пушкинское стихотворение “Когда для смертного умолкнет шумный день”^[162] прочитанное вместе с ним (4 страницы вслух по очереди). Двухчасовая беседа. Его рука на моей голове в конце беседы. Драгоценность воспоминания об этом вечере. Обаятельность его существа душевно-духовного – и внешне старческого^[163].

В опубликованных воспоминаниях не было этой сокровенной записи.

Лев Николаевич написал в дневнике о ее посещении:

[13 декабря]

Вечером приехала г-жа Малахиева. Кажется, серьезная женщина. Я, странно, показал ей мой дневник, п<отому> ч<то> в нем было написано то самое, о чем она спрашивала^[164].

Однако одной из скрытых целей той встречи была просьба о визите к нему Льва Шестова, чью работу “Добро в учении гр. Толстого и Ницше” Варвара Григорьевна передала писателю. Судя по тому, что Шестов приехал в Ясную Поляну очень скоро, разрешение было получено.

По пути к Толстому Варвара Григорьевна остановилась в Туле у киевского приятеля, писателя Ивана Алексеевича Новикова. Теперь, спустя несколько месяцев, она пишет ему о приезде Льва Шестова:

Дорогой Иван Алексеевич^[165]. В понедельник с <нрзб> выезжает в Тулу Лев Исаакович. Если можете встретьте его, – ему было бы удобно остановиться у Вас – на несколько часов. Он едет в Ясную поляну – судьба Вам судила как и меня попутствовать его и дать ему приют на перепутье. Лев Исаакович телеграфирует Вам в день выезда. Мне кажется, что не стеснит Вас, на то он и философ.

Очерк оставил Толстого равнодушным, разговор с Шестовым не получился, о чем философ жалел до конца своих дней.

Шестов приезжал в Ясную Поляну 2 марта 1910 года. Сам он воспоминаний об этой встрече не оставил, но рассказал об этом своему зятю. Ловцкий писал:

Он говорил, что Л.Н. Толстой был уже “весь в прошлом”, грандиозный, мифический мудрец. Лев Исаакович попытался изложить ему учение Нитше и показать истинную картину мучительных переживаний немецкого мыслителя: за проповедью жестокости, за прославлением “сверхчеловека”, за требованием героических подвигов... скрывался мучительный личный трагический опыт философа... Толстой, выслушав в передаче Шестова все это, сказал: “Да ведь это в высшей степени нравственно”, – как будто мимо его ушей прошло, что здесь как раз ставится проблема о происхождении добра и зла... Но о трагическом опыте Нитше было бесполезно разговаривать с яснополянским отшельником^[166].

Секретарь Толстого, Валентин Булгаков, записал в своем дневнике в тот же день:

Лев Николаевич сегодня слаб. После завтрака лег спать. Ходит в суконной черной поддевке, так как его знобит. После обеда приезжал из Москвы философ Лев Шестов и оставался до десяти часов вечера. Говорил он со Львом Николаевичем у него в кабинете, наедине с ним, очень долго, часа полтора.

Поговорили так, как можно только вдвоем, а третий был бы излишен, – привел после Лев Николаевич английскую пословицу. Однако особенного впечатления гость на него, по-видимому, не произвел.

У Шестова я тоже не заметил особенного удовольствия или душевного подъема после его разговора с Толстым.

– Разве можно в такой короткий срок обо всем переговорить? – ответил он мне на вопрос о том, какое впечатление произвел на него Лев Николаевич^[167].

Сам же Толстой в дневнике так отзывался о встрече:

2 марта 1910

Приехал Шестов. Мало интересен – “литератор” и никак не философ^[168].

Шестов наверняка не раз рассказывал Варваре о пережитой встрече с Толстым. Все-таки это она договорилась с ним о приезде Льва Исааковича в Ясную Поляну. Однако в ее дневнике осталось только описание сна Шестова о Толстом:

Припомнился его сон, который он взволнованно мне рассказывал тогда же, по дороге из Тарусы в имение Челищевой^[169]: “В ночь, после того дня, когда я ездил в Ясную Поляну, после двухчасового разговора с Толстым – об Анне Карениной и о Воскресении, и о рассказах для народа – снится мне, что я опять в кабинете Толстого, но это другой кабинет. И тоже – Ясная Поляна – только другая, настоящая. И он сам другой – настоящий. И говорим мы о том же, что вчера, но без слов – и тоже по-настоящему”.

И Варвара подытоживает свое воспоминание: “Как он любил говорить со мной. Как я любила его слушать”^[170].

Коппе, 1911-1912 годы

В конце марта 1910 года Шестов отправился в Швейцарию, в Коппе, куда несколько раньше переехала из Фрейбурга его семья. Они постепенно создавали с Анной Елеазаровной общий дом, куда могли бы приезжать и родственники, и знакомые. Семейой они прожили там больше четырех лет. Дочь пишет, что выбрали Коппе потому, что хотели, чтобы они с сестрой учились во французской школе недалеко от этого места. Коппе – маленький городок на берегу Женевского озера. Они сняли просторную виллу, в девять или десять комнат, с большим садом, расположенную у самого озера. Сад спускался к озеру, где было устроено место для купания и стояла лодка.

Его младший друг, “шестовец” Е. Лундберг прожил там несколько месяцев: “Вилла «Соль» на Лемане. Панорама Монблана. Вечера, когда мы ждали телеграммы о Льве Толстом, покинувшем ночью ^[171] дом свой. «Так и я когда-нибудь уйду», – сказал Шестов, постукивая палкой по асфальту Лозаннского шоссе. А о собственном его доме В.Н. Фигнер сказала: «Здесь так благополучно, – хорошо бы бросить бомбу», и Шестов долго дивился односторонности ее суждения” ^[172].

Осенью 1911 года Анна Березовская должна была уехать в Париж, продолжать учиться и работать, обо всем этом Шестов подробно пишет С.Г. Балаховской-Пети, объясняя, почему не сможет приехать вместе с женой.

5 сентября 1911

Коппэ

...Насчет приезда в Париж – тоже приходится отказываться и тоже, главным образом, чтобы не прерывать занятий.

Лето было очень жаркое, так что делалось мало. А перечесть нужно пропасть. Здесь, в деревне, особенно зимою, когда все разъедутся – поневоле станешь прилежным. Вместо меня в Париж в середине октября приедет Анна Елеазаровна – на всю зиму: теперь со мной живут Фаня и Герман – Фаня возьмет на себя обязанности Анны Елеазаровны, так что ей спокойно можно будет работать в Париже. Вот, если бы Вы могли ей помочь рекомендацией к какому-либо профессору – чтобы ей было легче и удобней добиться у него настоящей работы! Знаю, что, если можно будет, сделаете. Она, конечно, по приезде в Париж, будет у Вас, тогда потолкуете.

Сейчас она едет (послезавтра) недели на 3, 4 в Виши полечиться. Кстати, может, Вы случайно знаете там хорошего врача? Если знаете, напишите не откладывая.

Книгу^[173] Зинаиде Афанасьевне вышлю. Я бы давно выслал, если бы знал ее адрес. Сегодня же напишу в “Шиповник”, так что недели через две она, верно, получит ее. Кланяйтесь ей от меня сердечно.

Отчего это Вы на лето никуда, дальше Версаля, не выбрались? Я, правда, никогда в Версале не бывал – но не думаю, чтоб в июле, особенно нынешнем, там было хорошо. И у нас было жарко – но, по крайней мере, купаться можно было.

В ноябре Вы в Россию едете?! В Киев только, или тоже в столицах побываете? Может и мне придется ехать – нельзя слишком долго не приезжать в Россию. Но мы с Вами наверно разминемся, так как я, едва ли, раньше февраля, и даже конца февраля, выеду отсюда^[174].

Может, Шестов еще не знал, а может, не хотел сообщать Софье Григорьевне, что погостить в Коппе едет Варвара Григорьевна. Скорее всего, она оказалась там в октябре 1911 года, потому что помнила, что тогда еще цвели розы.

О том, что произошло между ними в тот приезд, остались воспоминания самой Варвары, а еще необычная реакция на это событие в мемуарах Евгении Герцык. И... осложнившиеся отношения с Михаилом Шиком. Летом он отдыхал на Волге вместе с друзьями, там была и Наталья Дмитриевна Шаховская, с которой они были уже три года как знакомы. Тогда началась их переписка и зарождался робкий роман – все это происходило в те месяцы, когда Варвара уехала в Коппе.

Итак, в это время каждый из них – Лев Исаакович, отец двух дочек, и Варвара Григорьевна, уже несколько лет связанная внебрачными узами с Михаилом Шиком, – имел свою сложившуюся жизнь. Они часто общались в Москве и в Киеве, ощущали невидимое присутствие друг друга. Шестову было сорок пять лет, а Малахией-Мирович – сорок два. Их несостоявшейся любовной истории насчитывалось почти шестнадцать лет.

“Это было однажды на берегу Женевского озера, в Коппэ, – писала она 11 июня 1947 года. – Туда я приехала в одну из прибрежных вилл, занятую «Лёлей» – так звали его в кругу его друзей. Я приехала для того, чтобы познакомиться с его дочерьми, они от рождения жили с их матерью в Швейцарии. Отец же часто уезжал – и странствовал по всему широкому свету и почти половину годичного круга иногда жил в России – в Киеве, в Петербурге, в Москве.

В Коппэ, в тот день, который я вспомнила сегодня благодаря этой арии, какую он пел там по моей просьбе, вспомнила так, что и запах тех роз, что цвели вокруг виллы, и неправдоподобно лазурные воды озера и синяя суровая, точно окутанная мглой Савойя... В тот вечер он пел для меня одной. Девочки ушли в горную экскурсию. Жена была в Париже – занята какой-то медицинской работой (она врач). Он пел, глядя мне прямо в лицо, в глаза, не отводя взгляда от моих глаз:

*In questa tomba oscura
Lasciami riposar,*

*Quando vivevo, ingrata,
Dovevi a me pensar^[175].*

И дивный голос его звучал каким-то грозным вдохновением, с необычайной силой и властью, точно это был таинственный пароль для всех будущих наших встреч во все грядущие века, во всех пространствах мира. Нереализованное когда-то чувство вернулось вновь^[176]”.

И снова она писала в дневнике:

30 ноября 1949

...Мы жили тогда с ним в такой неразрывной, нераздельной душевной близости, что гостивший в Коппэ писатель И. и приезжавшие на музыкальные вечера женевские знакомые, не сомневались, что тут эпилог, а может быть – и пролог жизненной драмы. Испытующе смотрели. С жалостью, с печалью, с осуждением. Но, между нами, по безмолвному соглашению уже опять начал опускаться железный занавес. И неожиданно вернулась жена. Кончились наши прогулки вдвоем по берегу Женевского озера. Лев заперся в своем маленьком рабочем кабинете на самом верху виллы и там углубился, почти не отрываясь, в свою рукопись. Я переселилась в *chambre garnie*^[177] неподалеку, и ходила гулять одна по дороге к Ниону^[178]. Упоминаю об этом, потому что встало сегодня ночью в памяти забытое и нигде не записанное стихотворение в результате всего пережитого на берегу Женевского озера^[179].

Любовь, которая когда-то зародилась, требовала выхода. И только теперь она созрела до взаимной любви и ответа. Но было уже поздно.

Не оттого ли Шестов выбрал арию, в которой были такие слова:
Мертвым тебе я стал дорог,
В гробу любим тобой?

И еще одно воспоминание Варвары:

По контрасту с горестным потоком, идущим сейчас через мою душу, вдруг вспомнилась итальянская песенка <...> *sone bella, Regina e de l'amore*. Я слышала ее в Коппэ, когда в сердце занималась заря чудесной встречи с душой лучшего из сынов земных. Встреча, которой не суждено было совершить солнечный путь над моею жизнью. В тот день один человек – лучший из людей – остановился на дорожке сада и замороженный смотрел на только что расцветшую розу. “Бывает так – точно в первый раз увидел то, мимо чего проходил, почти не замечая”.

Для меня эта роза тоже была – как в первое утро мира. И таким же было Женевское озеро – единственная неповторимая лазурь, оттененная сумрачной громадой Савойских лесов. И плеск волны о мраморную беседку в саду я слышала в первый раз. Такой плеск – воздушно голубой, говорящий о чем-то, что гораздо больше счастья. Обо всем, что есть в мире великого и прекрасного, таинственно соединенного в этой точке бытия с голосом, глазами и мыслями лучшего из людей. И с его застенчивой, но переливающейся через край радостью, когда он щурился, как от слишком сильного солнца, встречаясь с моим взглядом.

Благословенны эти дни – предел возможной на земле радости. Поистине им – лазурным и воздушным нет места в теснинах бытия. И хорошо, что они не нашли в нас места. “Хорошо, очень хорошо – славно”^[180].

Но тогда она не вымолвит ни слова об этих встречах, о том, что испытала. Есть только небольшая открытка, посланная совсем еще юной Олечке Бессарабовой в Воронеж 8 марта 1912 года:

Вот уже 2 месяца как я его покинула, жила в Коппе возле Женевы, жила в горах, в трех часах от Берна. А теперь снова в Коппе. Через неделю двинусь через Люцерн – Базель – Берлин в Киев. Напиши, мне туда...^[181]

А в это же самое время в марте-апреле 1912-го Евгения Герцык в Швейцарии встречается Шестова в каком-то новом, непривычном для него состоянии: “Март и апрель 12 года я прожила в Лозанне с братом, лечившимся у ушного специалиста. Брат – жених. Счастлив мыслью о своей чернокозой красавице. Я счастлива на иной лад. Насилие над своим сердцем, проталкивание себя в аскетическую религиозную щель, потом бунт, кидание из стороны в сторону – и вдруг: под влажным весенним ветром – стряхнуть с себя, как прошлогодний лист, и бунт этот, и это насилие... Разлиться вширь – во всем угадывать новую значительность. Сидя в столовой за отдельным столиком, мы с братом смехом, веселой болтовней нарушаем чинность швейцарского обеденного часа.

Я списалась с Шестовым. Он приехал, вошел к нам в горном костюме, ноги в клетчатых гетрах, помолодевший, оживленный. Часа четыре проговорили, вопреки обыкновению делясь даже интимными переживаниями своими. А потом с такою же горячностью вникаю в философские споры Москвы. Рассказал, что второй год с интересом читает средневековых мистиков, но больше всего Лютера, в котором нашел не пресного реформатора, а трагический дух, сродный Ницше, сродный ему. Мы стали видаться. <...> Мне особенно памятно, с каким

подъемом в одну из встреч Шестов говорил об Ибсене, выделяя заветную его тему: страшнее всего, всего губительней для человека отказаться от любимой женщины, предать ее ради долга, идеи. От женщины, т. е. от жизни, что глубже смысла жизни. Указывал на перекличку этой темы у Ибсена через много десятилетий от его юношеских «Северных богатырей» и до самых последних драм «Габриэль Боркман» и «Когда мы, мертвые...»^[182].

Из этой мысли позднее (а может быть, тогда же) выросла статья Шестова об Ибсене^[183].

А вот, что Шестов пишет в ней: “Всем можно пожертвовать – только не любимой женщиной... Что, если придется человеку выбирать между любимой женщиной и музой, между любимой женщиной и престолом – от чего тогда отказаться? Что будет большим преступлением – покинуть любимую женщину или отвернуться от Музы?.. Когда вышли «Претенденты на престол», Ибсена, который был на пять лет старше Бьёрнсона, почти совсем еще не знали. Ему было 37 лет, и ничего еще не было сделано: ни для истории, ни для себя. Даже Муза, которая однажды было явилась и вдохновила его песней, надолго покинула его. Неудивительно, что его преследовала постоянная мысль, точно ли он настоящий избранник, а вместе с тем мучил и другой, более общий, как принято говорить, вопрос: по какому признаку можно отличить помазанника от самозванца?”

Похоже на муки Шестова, на вопросы самому себе о том, настоящий ли он писатель? И то, что главная драма застигла его в том же возрасте, и даже Муза, которая вдохновила его, – все отражает похожие развилки судьбы.

Весь текст статьи – страшный упрек великому драматургу за то, что он разменял драмы идей на истории разложения душ. Но за каждым разбором маячит один все тот же мотив. Вот Шестов приводит слова героини пьесы “Габриэлла Воркман”:

“Элла Рентгейм. Ты убил во мне душу живую, душу, способную любить. Понимаешь, что это значит? В Библии говорится об одном загадочном грехе, за который нет прощения. Прежде я никогда не понимала, что это за грех. Теперь понимаю. Самый великий, неискупимый грех – это умерщвление живой души в человеке, души, способной любить”.

За умерщвление любви неотвратимо следует наказание, говорит Шестов. “Мертвые ходят по земле и разговаривают с живыми о вещах для них чуждых, далеких и непонятных. И под конец уходят от нас в иной мир. Охваченный новым порывом страсти, одряхлевший скальд с мертвой Музой-Валькирией идет на вершину горы и там гибнет под обвалом.

Все оставил Ибсен земле и людям: искусство, пророчество, исторический подвиг, даже веру. С собой берет он только свою Ирену-Валькирию.

Так кончается длинная, загадочная жизнь северного скальда. Таково последнее, дошедшее до нас слово и последнее дело великого поэта". Так заканчивается статья Шестова об Ибсене. Такие слова говорит главный герой пьесы, скульптор Рубек, своей возлюбленной Ирене: "Потому-то ты главным образом и была необходима мне. Ты и никто больше. Ты стала для меня высшим существом, к которому можно было прикасаться лишь в мыслях... с благоговением... Я был ведь еще молод тогда, Ирена. И поддался суеверному предчувствию что, если я коснусь тебя, дам волю вожделению, я оскверню свою душу и мне не удастся воплотить свою идею. И я до сих пор думаю, что был отчасти прав..."^[184]

Герцык же, подытоживая размышления о той встрече и разговоре об Ибсене, внезапно задается мучающим ее вопросом и тут же себе отвечает: "За долгие годы моего знакомства с Шестовым я не знала ни об одном его увлечении женщиной. И все же мне думается, что в истоке его творческой жизни была катастрофа на путях любви. Может быть, страдание его было больше страданием вины, чем муками неосуществившегося чувства. Может быть, по пустынности своего духа он вообще не способен был к слиянию... Всякое может быть! *Но в эту весну мне казалось, что какая-то волна живой боли и нежности растопила его мертвевшую душу. Не весть ли о смерти той девушки его юности, которая уже давно лишь наполовину числилась среди живых?* (выделено мной. – Н. Г.)"^[185]

Герцык остро почувствовала, как волна живой боли растопила его омертвевшую душу. Поняла, что за его спиной стоит некий призрак женщины, которую он любит, что сама она не смогла пробудить в Шестове столь сильных чувств. Однако то, что это никакая не девушка из его юности, а вполне известная ей женщина, она и вообразить не могла.

И вот слова из пьесы Ибсена эхом прозвучали в поздних дневниках Варвары:

Думала сегодня о Льве Ис<ааковиче>. Хотелось какой-нибудь весточки о нем, и неожиданно среди книжной свалки листки из его журнальной статьи и в заголовке листа слова: "Все оставил Ибсен земле и людям: искусство, пророчество, исторический подвиг, даже веру. С собой берет он только свою Ирену-Валькирию". Также говорил он мне однажды, уже под старость, об Эвридике. Это был час редкой у него безперегородочной открытости тайников души^[186].

И подводя итоги тех дней в Коппе, написала:

Встреча с семьей Льва Исааковича и с ним – в осознании жизненности его прежних к себе чувств. Ответ на них и сознание невозможности общей жизни на этом свете^[187].

В апреле 1912 года переписка Михаила Шика с Натальей Шаховской прерывается. Потом ненадолго восстанавливается до объяснения между ними в 1913-м.

В письме к подруге Зинаиде Денисьевской Варвара продолжала рассказывать свою длинную сердечную историю, связанную с Михаилом Шиком.

В том году, когда он проводил лето с Натальей Дмитриевной и ее подругами на Волге, я жила в Швейцарии, и там наша встреча с Л. Шестовым, у которого была уже жена и две дочери, наполнилась и озарилась такой чудесной музыкой общения – когда душа радуется другой душе, непрестанно повторяя “Ты – еси”. Я написала об этом Михаилу Владимировичу. Он пережил ревнивую боль и рванулся от Наташи ко мне с новым жаром...^[188]

Сергей Листопадов. Москва, 1914-1916 годы

Первая мировая война нарушила привычное течение жизни. Родителей Шестова она застала в Берлине – именно там 16 августа 1914 года скончался Исаак Шварцман. Матери удалось перебраться из Берлина в Швейцарию к Фане и ее мужу. Теперь Шестов больше не прятал семью; о том, что у него есть жена и две дочки, наконец, стало известно его матери. Семья Шестова переехала в Россию в начале октября 1914 года и поселилась в квартире, которую им нашел на Плющихе (Новоконоюшенный пер., д. 14, кв. 3) старый киевский товарищ, философ Густав Шпет. Квартира состояла из пяти комнат и была расположена на первом этаже деревянного дома. Отапливалась двумя русскими печами. Во дворе был сарайчик, где складывались дрова. Окна двух из пяти комнат выходили на церковь и церковный двор. В январе 1915 года дочери поступили в гимназию Хвостовой. В феврале Анна Елеазаровна начала работать в клинике. О своем новом устройстве Шестов пишет Фане и Герману^[189]:

1 (14) октября 1914

Вот я и в Москве. И Анна с детьми здесь. Хлопочет, квартиру устраивает. Если бы квартира была, как за границей бывает, мы бы

завтра переехали, т. к. купить мебель дело не долгое. Но нам ее сдали в таком ужасном виде, что придется неделю на чистку потратить. Большую часть мебели купили по случаю и дешево. Дети ужасно рады, что приехали. Здесь их так радушно все приняли – в Петербурге брат Анны и Лундберг, здесь Сем. Вл., Миша, Надежда Сергеевна^[190], Шпет. Посмотрим, как дальше будет. Мне, конечно, трудно придется: книги лежат в Базеле, рукопись осталась у мамы. Не знаю, что делать буду!

Теперь он часто выступает в литературных и философских обществах, поддерживает дружбу с Вяч. Ивановым, М. Гершензоном, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, сестрами Герцык, Г. Челпановым, Г. Шпетом. Его статьи печатают журналы “Русская Мысль”, “Вопросы философии и психологии”.

Но до приезда в Москву Шестов еще побывал в Киеве, потому что Сергей Листопадов, его незаконный сын, отправленный на войну, очень скоро попал в госпиталь с ранением.

Фане и герману 26 сентября (9 октября) 1914

Киев

Мой сын, Серёжа, теперь на войне – уже два месяца и в самых опасных местах. Я дал ему на всякий случай ваш адрес. Так что если получите от него письмо – не удивляйтесь и постарайтесь сделать, что можно.

Фане и герману 3 (16) ноября 1914

Москва

У меня все было бы хорошо, если бы мой Серёжа не огорчал меня. Вы знаете, что его взяли на войну. Он пробыл там около двух месяцев, получил 2-х Георгиев, производство в унтер-офицеры. Был на очереди в прапорщики, но получил отпуск в Киев на полторы недели. В Киеве его определили в школу прапорщиков. Все было бы хорошо, но оказалось, что, во-первых, он ранен в ногу, и будучи ранен оставался в строю, скрывая рану; и второе, самое плохое: рана теперь у него зажила, но выяснилось, что он был два раза контужен в голову и теперь последствия сказываются: с ним в строю случается глубокий обморок. А между тем, он не хочет оставаться в штабе и убеждает меня согласиться с тем, чтоб ему опять на войну ехать. Я согласиться не могу, конечно: как может он при таких обстоятельствах на войну отправляться, нужно поглотиться прежде. И вот, кажется, мне придется ехать в Киев, чтоб на месте все выяснить.

Далее Шестов пишет уже из Москвы^[191]:

21 ноября 1914

Дорогие Герман и Фаня. Вернулся из Киева, где пробыл около десяти дней. Виделся со своим Серёжей, теперь его будут свидетельствовать. Я писал вам, что он был на войне в четырех боях, получил 2 Георгия, производство в унтер-офицеры, одну рану и три контузии. <...> Теперь он в школе прапорщиков, но оттуда его послали в госпиталь и, может быть ему дадут несколько месяцев на поправку, а потом опять на войну. Если бы ему удалось избавиться от lichen'a и контузии.

Еще до приезда Шестовых в Москву Варвара, судя по ее воспоминаниям, общалась с сыном Л.И. Она писала о нем, как о чрезвычайно сложном и очень нервном подростке, страдавшем из-за происхождения. То, что Серёжа доверял Варваре свои сокровенные мысли, догадываясь или зная об истинном отношении отца к ней, еще раз подтверждает мысль о том, насколько все участники той драмы были тесно связаны друг с другом.

У Льва Исааковича был в молодости так называемый в те времена “незаконный” сын. Мать его была горничной родителей Льва Исааковича (увы! слишком “обыкновенная история”). Лев Исаакович заботился о нем, но самых близких друзей, и меня в том числе, посвятил в факт его существования только, когда ему минуло 12 лет, и отец испугался влияния в высшей степени некультурной среды, в какой воспитывался Серёжа. Мы все горячо занялись его судьбой. Он был устроен в семье д-ра Б.^[192], где было трое детей младше его. Мать их – необычайной доброты, и внутренне, и внешне обаятельно-прекрасная женщина всем существом пошла навстречу четвертому “замсыну”. Серёжа оказался из “трудно воспитуемых” детей. Он рано осознал свою деклассированность и строго осуждал за нее отца. В глаза отцу не осмеливался, но со своей новой воспитательницей часто касался этого вопроса. И со мной. Он ревновал ее к ее детям. Был недоверчив, повышенно возбудим, не до конца искренен, порой – лжив. К 16-ти годам в нем обнаружилось честолюбие и на почве зависти к отцу мысль о своем призвании к какой-то (еще сам не знал, в какой области!) “славе”. Об этом он не раз со мной заводил разговор. Как и на другую тему, чрезвычайно для него болезненную.

Почему-то утром, вернее, после какого-то сна из далекого прошлого, я отчетливо вспомнила и тему, и вид его и как он говорил.

Он вошел ко мне с гневно возбужденным лицом, по которому я сразу догадалась, что будет у нас один из тех (о его отце) разговоров, ради которых он специально порой заходил ко мне. Как ясно вспомнилось его лицо – могла бы, если бы была художницей, на память нарисовать эти очень красивые в байроновском стиле, изящные черты девически нежной окраски, голубые всегда с гордым и отчужденным выражением глаза, над умным байроновским лбом целая шапка пепельно-белокурых кудрей. При этом он был высок и горделиво строен. Знакомые и незнакомые гимназистки искали его внимания, но он предпочитал “дружить” с женщинами вдвое и втрое старшими. Войдя, он сел в углу комнаты и глядя исподлобья сумрачным и острым взглядом лазурных своих глаз, сказал:

– Я хочу спросить у вас одну вещь, Варвара Григорьевна. Есть ли у вас такой человек – женщина, мужчина, все равно, который в обморок упал бы, или хоть вскрикнул, зарыдал, за голову схватился и так далее, узнавши, что вы попали под автомобиль. Это я сейчас про себя подумал, когда едва успел отскочить на углу от машины. Она промчалась мимо на какой-то сантиметр от меня.

И вдруг лицо его стало детски-искренне доверчивым – и он сказал с интимно-исповедующимся видом: “Согласитесь, что очень страшно, когда подумаешь, что никто не вскрикнет, когда ты попадешь под машину?”

Я полушутя стала перечислять тех женщин и знакомых ему девушек, которые наверное бы вскрикнули, если бы что-то трагическое с ним случилось. “И не забывай – ведь у тебя есть мать. И отец”.

– Мать? Она, конечно, поплакала бы, – небрежно сказал он (с матерью у него были далекие отношения). – А про отца я подумал, когда к вам шел, что, конечно, потерять вас ему было бы в тысячу раз тяжелей, чем меня. Ясно представил себе, с каким лицом ходил бы он потом. А потерять меня было бы для него облегчительно. Я – случайное последствие случайной связи. Закулисное лицо на сцене его жизни.

Через три года после этого Серёжа погиб на фронте. И жаль, что он не видел, с каким глубоко скорбным лицом ходил отец с тех пор до самого отъезда за границу (он незадолго до Серёжиной смерти включил его в “законную” свою семью. И Серёжа успел подружиться с сестрами, близкими ему по возрасту).

А потом я подумала утром: “Как велика разница между откликом души (не всякой, но, верно, многих душ) на внезапную смерть кого-то близкого – в молодые годы и в старости. Может быть потому, что понятие о жизни изменилось в корне (кто умер – стал живее нас живых). А в смысле чувства разлуки, знаешь о себе, что разлука не может для тебя быть долгой”^[193].

Серёжа исчез в августе 1915 года. Об этом Шестов пишет в Швейцарию:

Фане и герману 9 (22) августа 1915

Москва

От моего Серёжи уже две недели нет никаких писем. Последнее письмо было очень тревожное. Он писал, что бой идет сумасшедший, что ротного командира тяжело ранили и что он остается единственным офицером на всю роту. Я боюсь, не попался ли он в плен. У него есть ваш адрес и, если он в плену, он вам напишет. Постарайтесь послать ему, что нужно и, кроме того, если вы от него получите письмо, протелеграфируйте одно слово: – “получили”. Если же еще он не тяжело ранен, прибавьте – “здоров”. А то я очень тревожусь, не получая известий.

Тем временем Варвара Григорьевна создает в Москве для детей друзей – подростков, в основном девушек от шестнадцати до двадцати лет – философско-литературный “Кружок Радости”, целью которого было “писать рефераты на свободно избранные темы и раз в неделю сходиться в том или ином семейном доме для чтения и обсуждения” при ее участии.

Членами кружка были Олечка Бессарабова, Нина Бальмонт, Алла Тарасова, Ольга Ильинская (сестра артиста Игоря Ильинского), дочь Шестова Таня Березовская, Евгения Бирукова (она станет поэтом и переводчицей), Лида Случевская, дочь художника и организатора Музея игрушки Н.Д. Бартрама Анастасия (Стана), Софья Фрумкина и двое юношей: внук Ермоловой, будущий известный врач Коля Зеленин и пасынок Бориса Зайцева Алексей Смирнов.

15 ноября 1915 года Ольга Бессарабова пишет в дневнике:

Трамваи протестуют против закрытия Государственной Думы. (Стоят на улицах.) Слухи, страхи, острое и напряженное ожидание чего-то, что должно быть. Иногда кажется, что на свете много-много душевно больных, сдвинутых.

Вчера была в особняке Морозовой в Религиозно-философском Обществе. Лев Шестов читал доклад о “Ключах Истины”, что временами то те, то другие убеждаются (и других тянут за собою, иногда мечем и огнем) в том, что именно в их головах и руках ключи истины. И сменяются эти ключи, очень разные, из века в век. Говорил он очень ярко, учено и сам будто сжигался огнем.

Теперь Шестов частый гость в доме Евгении Герцык в Кречетниковском переулке возле Новинского бульвара. Тем более что они живут совсем близко друг к другу.

“В военные годы теснее сблизился в Москве маленький кружок друзей – Вяч. Иванов, Бердяев, Булгаков, Гершензон и некоторые другие, – вспоминала она. – Мы с сестрой были дружески связаны с каждым в отдельности. Маленький островок среди тревожно катившихся волн народного бедствия. Это не значит, что внутри кружка царило благополучие и согласие. Нет, в нем кипели и сталкивались те же противоречия, что и во мне... С 14-го года в Москве поселился и Шестов с семьей. С одними из этого кружка он был близок и раньше, сближение с другими было ему ново и увлекательно. И эти люди, порой спорившие друг с другом до остервенения, все сходились на симпатии к Шестову, на какой-то особенной бережности к нему.

Звонок. Он в передней – и лица добреют. И сам он до страсти любил словесные турниры. Не спеша, всегда доброжелательно к противнику, развертывал свою аргументацию – точно спешить некуда, точно он в средневековом хедере^[194] и впереди годы, века, точно время не гонит... Зоркий на внутренние события души – ветра времени Лев Исаакович не слышал. И чем догматичней, чем противоположней ему самому собеседник – тем он ему милее, обещая долгий спор, долгий пир, обилие яств...

Нас с сестрой особенно тешило эстетически, когда сходились Шестов и Вяч. Иванов – лукавый, тонкий эллин и глубокий своей одной думой иудей. Мы похаживали вокруг, подзадоривали их, тушили возникавший где-нибудь в другом углу спор, чтобы все слушали этих двоих. И парадоксом казалось, что изменчивый, играющий Вяч. Иванов строит твердыни догматов, а Шестов, которому в одну бы ноту славить Всевышнего, вместо этого все отрицает, подо все ведет подкоп. Впрочем, он этим на свой лад и славил.

Так долго безвестный, потому что он не принадлежал ни к какой литературной группе, шел всегда особняком.

В эти годы Шестов сразу приобрел имя: журналы ему открыты, выходит полное собрание сочинений, его читают... Он не скрывал своего наивного удовлетворения, а нас двух веселило питать эту маленькую слабость милого человека...

Иногда наши дружественные сборища перекочевывали к Шестову в один из Плющихинских переулков, где деревянные дома строены на манер скромных помещичьих. Просторно и домовито в столовой и еще какой-то комнате: только самое необходимое, без каких-либо эстетических потуг. Анна Елеазаровна у вместительного самовара. Но кабинет обставлен по-геллертерски. Раз я целый вечер под говор курящих, бегающих собеседников просидела в кожаном кресле Льва Исааковича, в кресле с строго рассчитанным выгибом спинки, локотников; нажмешь рычажок – выдвинется пюпитр, другой – выскочит подножка для протянутых ног...

Ему 50 лет. Мне кажется, он в первый раз в жизни почти счастлив, спокоен, вкушает мирные утехи мысли, дружества, признания”^[195].

О своих встречах с Шестовым зимой 1916–1917 годов и о гибели на войне его сына Серёжи Герцык вспоминала так: “Как-то зимою 16-го – 17-го года мы снова собрались у него – среди знакомых писательских лиц красивый тонкий юноша в военной форме. Сын Серёжа. Весь вечер я только и следила за влюбленными взглядами, которыми обменивались отец с сыном. И этот звонкий, срывающийся юношеский голос среди всех до скуки знакомых. Не знаю, что он говорил. Что-то смелое, прямое. Все равно, что.

Дней через десять в нашем кружке телефонная тревога: один звонит другому, третьему, тот опять первому... В трубку невнятно, спотыкающимся от волнения голосом Гершензон нам: «Вы слышали? Серёжа Шестов... Да, верно ли?.. Кто сказал? Убит... А он – что?» Он – ничего. К нему телефона нет, да разве об этом позвонишь? Прислуга, открыв дверь в Плющихинском особняке, кому-то из друзей сказала: «Лев Исаакиевича дома нету». – Анна Елеазаровна? – и ее нету. Через день – опять – нету. Мы с сестрой, мучаясь, писали ему письмо. Не знаю, сколько времени прошло – в один солнечный, по-весеннему каплющий день – он сам. В привычной своей плоской барашковой шапочке, и лицо, давно ставшее дорогим – все то же. Не потому ли, что скорбь уж провела раз навсегда все борозды – глубже нельзя, горше нельзя... Несколько простых слов о Серёже – о себе ничего – а потом о другом, но, ах, с каких трудом ворочая ненужные камни идей”^[196].

1917 год

Огромная напряженность ожидания, всеобщность, бодрость, легкие быстрые походки (честное слово – крылатые – легкие), чудесные человеческие лица, – писала в дневниках Олечка Бессарабова 28 февраля (13 марта) 1917 года. – С утра нигде ни одного полицейского. Без трамваев в городе непривычно тихо, извозчики берут раз в семь дорожке. Весь день не было слухов ни о каких столкновениях и пальбе. Что будет завтра? От Москвы, от толпы общее ощущение праздника, какого еще не было на свете. Вот тебе и кольцо времен! Сегодня только на Мясницкой около нашего Союза (около Лубянки, бывшая Сибирская гостиница) кто-то сломал трамвай и начал ломать рельсы ломом. Толпа со свистом и хохотом прогнала ломальщиков:

– Хотят напакостить. Гоните провокаторов и дураков! От кого и кому ломаете?!

Комиссия общественного спасения организывает из учащихся и частных людей добровольцев – народную милицию. Бабы в очередях толкуют:

– Булочные громить нипочем не позволим.

Один господин позвал извозчика без всякого оттенка в голосе:

– Извозчик, свободен?

А извозчик говорит:

– Надо сказать господин извозчик, а не извозчик.

– Господин извозчик, свободен? – юмористически и нагло переспросил седок. Извозчик не понял насмешки и чудесно ухмыльнулся. Я вскипела гневом на господина за пренебрежение к простодушию дурака и на извозчика за глупость. Почему-то меня больно ранила эта сценка.

В Архиве я была очень обескуражена и огорчена, что некоторые архивные дамы совсем не разделяли моего сияния по поводу всего, что происходит. Пришлось смиренно сидеть и штемпелевать самую толстую на свете архивную книжищу. Вот не хотелось, вот уж было не до того! Едва дождалась конца занятий, летела через ступеньки лестницы как невесомая”^[197].

Февральская революция семью Шестова застала в Москве. Все надеялись, что революция до конца останется “великой” и бескровной. По улицам Москвы ходили радостные толпы. События февраля Л.И. описывает в письмах к родным, живущим в Швейцарии:

Фане 6 (19) марта 1917

Москва

Вы уже, конечно, давно из газет знаете о происшедшем у нас перевороте. Описывать, что произошло, не приходится: сведения выйдут слишком запоздалые. Ведь и русские газеты приходят к вам. Слава Богу, все обошлось необычайно хорошо: ни кровопролития, ни грабежей. Даже в те дни, когда полиция совсем бездействовала, а милиции еще не было, порядок не нарушался. Сейчас все вошло в колею: сегодня трамваи пошли, рабочие стали на работу. А почта, телеграф и железные дороги все время правильно функционировали. Даст Бог, и дальше так будет и возможное наступление немцев на нашем фронте застанет страну вполне уже организованной.

Анне Григорьевне Шварцман 7 (20) марта 1917

Москва

Мы все здесь думаем и разговариваем исключительно о грандиозных событиях, происшедших в России. Трудно себе представить тому, кто сам не видел, что здесь было. Особенно в Москве. словно по приказанию свыше, все, как один человек, решили, что нужно изменить старый порядок. Решили и в одну неделю все сделали. Еще в Петрограде были кой-какие трения – в Москве же был один сплошной праздник. В Киеве еще проще: генерал Брусилов отдал приказ – и этим все было сделано. И так дальше – меньше, чем в одну неделю вся огромная страна со спокойствием, какое бывает только в

торжественные и большие праздники, покинула старое и перешла к новому. В письме, конечно, всего не расскажешь, но в русских и во французских газетах ты, конечно, прочла все подробности. Сейчас жизнь вошла уже в обычную колею: ходят трамваи, работают фабрики, в гимназиях учатся, в высших учебных заведениях читаются лекции, выходят газеты – никто бы и не догадался, что еще на прошлой неделе произошло такое великое мировое событие. Бог даст, и война скоро окончится: последняя надежда немцев на влиятельную германофильскую партию в России пала. Может быть, в России и есть еще германофилы, но они либо арестованы, либо попрятались и опасности уже не представляют.

Фане 15 (28) марта 1917

Москва

У нас здесь образцовый порядок. В Москве, как и в Киеве, переворот произошел идеально спокойно. Теперь, с каждым днем, жизнь все больше и больше устраивается. В участках, вместо приставов, присяжные поверенные. За городских по ночам дежурят дворники. В обществе тоже большая согласованность: крайние течения отступают на второй план и стушевываются. Правительство завоевало себе общее доверие. Бог даст, справимся со всеми трудностями, хотя их и не мало.

Анне Григорьевне Шварцман 29 марта 1917

Киев

И в Киеве, как в Москве, переворот произошел без всяких осложнений, спокойно. Многочисленные митинги, манифестации не нарушали порядка. В Киеве это, конечно, особенно важно – ввиду большей близости Киева к театру военных действий. Сегодня уже месяц со дня переворота – и жизнь все больше и больше налаживается по-новому. Авось, Бог даст, Россия будет разумнее других стран и перейдет к новому строю без особых потрясений.

Анне Григорьевне

Шварцман 19 апреля (2 мая) 1917

Москва

Вы получаете русские газеты – можете судить по ним, как все произошло и что теперь делается. В общем – одно можно сказать: никак нельзя было надеяться, что такой страшный переворот произойдет так тихо. Вот уже полтора месяца, как пало старое правительство, а никаких крупных беспорядков нигде не было. Вчера праздновали в Москве 1-е Мая. Народу вывалило на улицы несметное количество – но все было чинно и спокойно и все, походив, сколько

полагается, по улицам, послушав митинговых речей, разошлись по домам. Сегодня снова работают, магазины открыты, трамваи ходят. Видно, народ гораздо толковее, чем о нем думали наши старые правители. Бог даст, все успокоится и наладится: надежды немцев на беспорядки не оправдаются, как не оправдались и другие их расчеты. Война, видно, быстро идет к концу. Может к концу лета удастся уже повидаться^[198].

В мае 1917 года Варвара уехала в Киев, так как недалеко от города в хозяйственных частях служил Михаил Шик, который участвовал в эвакуации населения из района военных действий в Западном крае. Получив еще в 1913-м на учениях травму колена, он время от времени попадал в госпиталь, а затем и вовсе был демобилизован. Но на расстоянии его чувство к Наталье Шаховской только укрепилось. И вот в результате очень бурной переписки они принимают решение соединить свои судьбы. Но оба считали, что Варвара Григорьевна – часть их жизни и непременно должна быть с ними рядом.

27 сентября 1917 года Наталья Дмитриевна сообщает В.Г.:

Вчера стало ясно, что жизнь моя и Михаила Владимировича Шика – неразделимы. Для меня это сделалось без борьбы и колебаний, потому что готовность признать это и принять созревала так давно, прошла такие мучительные пути, перенесла такие испытания и победила по дороге гордость. Я была готова принять это, потому что на место ребяческого вызова законом жизни стало смиренное сознание великого смысла их непреодолимости. Я давно потеряла веру в силу всяких “решений” и ждала, когда придет время покорно склонить голову перед неизбежным. Оно пришло. Я ничего не решала, мне кажется, что все решено не нами, у меня как-то даже нет мыслей о будущем, нет ни радости, ни тревоги, ни страха, – только готовность идти по этому новому пути туда же, куда ведут многие пути, но что в существе своем единая цель жизни. Я не колеблюсь. Но я не знаю, что случилось бы с этой моей готовностью и как она смогла бы стать жизнью, если бы не пришло Твое благословение, если бы я не чувствовала его раньше, чем оно пришло. Благослови Тебя за это Бог, дорогая. Я верю ему и принимаю его всей душой. Что бы ни было со всеми нами, я никогда его не забуду, и потому оно никогда не потеряет силу^[199].

В том же сентябре Михаил пишет Варваре Григорьевне:

Ты думаешь – я отвернулся от Тебя в самой святой святых моего духа и мир земной отвернулся от Тебя.

Нет, родное дитя, не то произошло с нами. Ни я, ни мир от тебя не отвернулись. Я возложил на Тебя тяжесть своей веры в Тебя, веры в то, что Ты способна взойти на Голгофу и воскреснуть^[200].

В 1918 году Михаил Шик решает перейти в православие и креститься^[201]. Это происходит в Киеве, и его крестной матерью становится Варвара Григорьевна (что для нее означает окончательный отказ от своей прежней роли гражданской жены), а крестным отцом – друг Михаила, художник В.А. Фаворский.

В день Ильи Пророка, 23 июля 1918 года, Шик и Шаховская обвенчались. Обручальное кольцо с вырезанными внутри словами “Свете радости. Свете Любви. Свете преображения” Варвара Григорьевна передала Наталье Шаховской, “и оно было на руке ее в день ее венчания с Михаилом. А у него на руке было два кольца: одно с ее именем, другое, серебряное – с моим”.

Этот жест означал освящение троиственного союза. Союза трех сердец. В дневнике Варвара Григорьевна, анализируя их прекраснодушные порывы тех лет, писала:

Наивным и слепым дерзновением мы вообразили, что это наш путь на Фавор^[202], где ждет нас чудо преображения греховного нашего существа в иное, высшее. Троиственный союз наш и наше взаимное в ту пору самоотреченное горение Любви казалось нам лестницей, по которой мы чуть ли не достигли уже самой вершины Фавора. Но очень скоро стало ясно, что никто из нас не созрел до представшего перед нами повседневного подвига самоотречения (ближе всех к нему была в Боге почившая “мать Наталия”) – и начался для нас путь великих искушений и тяжелых испытаний – главным образом, для меня и Михаила. Наташа была уже на высшей тропинке и ее они задевали только отчасти, как отражение переживаемого ее спутниками. Сейчас записываю это для детей наших, чтобы стал понятен для них смысл дальнейшего сопутничества моего с их родителями. Через какие-то сроки оно превратилось в крепкую, родственно-дружественную связь – но у меня уже был свой одинокий внутренний путь. И был уже к концу пути приобретен нами опыт, что не может быть троиственного духовно-брачного союза там, где два лица объединены кроме этого узами телесного брака, семьи, деторождения^[203].

В 1918 году Михаил Шик и Наталья Шаховская обосновались в Сергиевом Посаде.

Киев, 1919-1920 годы

*Но Бог выше этики и выше нашего разума.
Он берет на себя наши грехи и уничтожает ужасы жизни.*

Лев Шестов. "Апофеоз беспочвенности"

Варвара Григорьевна никак не могла вырваться из Киева. Там же оказались Шестовы. Они приехали из Москвы в Киев в июле 1918 года. Их приняли Софья Исааковна и Даниил Григорьевич Балаховские, которые жили в великолепной квартире из десяти-двенадцати комнат на Трехсвятительской улице с чудесным видом. Дом стоял на высоком берегу Днепра, недалеко от Андреевской церкви. Он был выстроен до войны отцом Даниила для семьи Балаховских. Даниил Григорьевич и Софья Исааковна занимали весь третий этаж. Анна Елеазаровна с детьми поехала на летние месяцы в Крым. Осенью Наташа поступила в гимназию Жекулиной, а Таня – в Киевский университет на филологический факультет.

Лев Шестов в Киеве стал читать курс древней философии при Народном университете. Симферопольский (Таврический) университет избрал его *"doctor honoris causa"*. Как только начались революционные события, Балаховские уехали в Париж, и в их киевском доме образовалась целая коммуна беженцев – помимо Льва Шестова с семьей в январе 1919-го поселилась вдова Скрябина с матерью, братом и тремя детьми. А с лета 1919 года здесь стали жить Варвара Григорьевна Мирович и Алла Тарасова с мужем А. Кузьминым.

Время будто повернулось вспять. Теперь линии Льва и Варвары пересеклись последний раз, чтобы уже разойтись навсегда. Варвара Григорьевна писала Михаилу Шиду 19 апреля <1919 года> из Киева в Москву:

Друг мой любимый, на одном из моих бесчисленных распутий, хочу укрепиться в духе беседой с тобой. Распутье двойное – и в мире пространственном и в мире горнем. Вчера реквизировали наш дом и весь муравейник наш, точно в него плеснули горячей водой, рассыпался в разные стороны. А для меня такой стороны и не оказалось. То, что хотело быть земледельческой коммуной, быстро переродилось в очень дорогой пансион, куда мне вход строго воспрещен всеми моими карманами.

Кармически предстояло жить в семье стародавних знакомых (Балаховских), на лоне которых мы с сестрой и со Львом Исааковичем пережили некогда столько неразрешимо горестного. Что спаяло меня с

ними особой болезненно благодарной и бесконечно грустной цепью, одной из всех неосязаемых, целые годы длинных цепей, которые вдруг при встрече через целую жизнь ощущаешь, как не прекращавшиеся карму. И все, как вчера, и все, как сон. Она уже седая, но пылкая духом, властная, требовательная, аритмичная и этим трудная. Он – старик уже, но все так же безнадежно и несколько свидригайловски тянется к женским жизням. Так же добр, безалаберен, мистически непереносен. И та же смесь ко мне горячего доброго внимания с требовательностью и хроническим мною недовольством.

Тем не менее, я согласилась жить у них с мая и приехала сегодня с вещами, когда нас изгнали. А комната оказалась уже непоправимо занята, и вся квартира переполнена. Переночевать по счастливой случайности оказалось возможным. Кабинет сегодня свободен^[204].

О своем переезде и судьбе общих знакомых Варвара Григорьевна пишет в Воронеж Олечке Бессарабовой:

19 мая 1919

Киев – Воронеж

Родной, Лисик, много раз сквозь эту глухую стену молчания, какая с марта воздвиглась между мной и Воронежем, пыталась я пробиться с помощью заказных писем. И до сих пор не знаю, доходили ли они до Вас, и не происходит ли эта глухота и немота, от которой так тоскливо порою жить на свете, от безответственности Вашей. Нужно ли говорить, как тяжело думать о болезнях и старости того берега, о невозможностях придти на помощь матери, и лишениях всех близких Воронежцев. Сегодня ровно два года, как судьба водворила меня в Киевский круг, который неразрушим с той поры, точно злыми чарами заколдованный.

Последние две недели живу у Тарасовых, освободилась комната, так как Аллочка с мужем реквизируют себе комнату у Балаховских (там все расхвачано реквизициями). Хозяева же Бог весть на каких броненосцах на теплых морях. Скоро мне опять нужно перемещаться, но пока еще не знаю куда. Представлялась возможность отдельно поселиться в Китаеве – пять-шесть верст от Киева. Но, кажется, это разрушилось безвозвратно. Адресом моим все таки может оставаться Деловая 6, кв. 2.

Мы сильно сократили уже свои аппетиты и вкусы, хлеб у нас дошел до 17 рублей фунт. Соответственно и все остальное. Распродано кое-что из скарба и спешно сочиняю новую детскую книжку. “Местов” же таким инвалидам как я не уготовано, хотя обещания есть блистательные. Возможно, что мне будет заказан перевод истории философии Фуллье^[205] – это может прокормить меня с отчислением мамочке в течение полугода. Михаил Владимирович тоже ищет для меня литературных заказов. Он ожидается в Киев со дня на день. У

него есть крепкая надежда, что я поеду с ним в Сергиево^[206], куда он и Наталья Дмитриевна зовут меня уже с февраля.

Что и как будет дальше с богохранимым градом нашим кроме обещания, что дрова возрастут до 10 000 рублей за сажень, ничего верного не предскажешь. С 15 по новому стилю ожидается иноземное иго. Относительно его обыватель вправе применить к себе еврейский анекдот об известном споре саней и телеги, кто из них для лошади лучше. В жизни известных тебе лиц, все идет, утеснено и сурово, как подобает в горне всемирных катастроф. Наташа Березовская ходит на поденную, на огороды – 200 рублей в месяц, а главное из-за чего ходить – 4 еды в день досыта. У них же в доме две и не досыта, часто без хлеба. <...>

Таня (Березовская) усердно и серьезно держит экзамены. Увлекается Платоном и вообще философией. Алла числится здесь в Народном классическом театре на 2,5 тыс в месяц жалованья, но пока дали только полжалованья, а на другую половину надежды слабы (Константин Прохорович^[207] третий месяц не получает из госпиталя ничего). Скоро приедет сюда студия Аллочкина^[208], привезут Снегурочку с Аллой в заглавной роли и “Пир во время чумы”. Эти надежды ее окрылили. Она очень томится в Киеве, томится по Москве. А ты, Лисик? Я старый человек, и то мне трудна духота провинциального быта, отсутствие широкого русла, отсутствие воздуха творчества и умственных живых интересов. Для меня лично я, впрочем, вполне представляю такую оторванность от культурных центров, где я себя очень хорошо бы чувствовала, но эта должна быть уже настоящая глушь, с монастырем поблизости. Или на пол года – морской берег. Все это стало как долина Тигра и Евфрата – далеко и недоступно^[209].

Композитор Николай Слонимский^[210] вспоминал: “Обитатели дома Балаховских всячески изощрялись, чтобы защитить квартиру от реквизиции военных отрядов – ведь этот дом был самым видным «на Днепре», и как только новое «правительство» обосновалось, солдаты и офицеры пытались «национализировать» этот дом. Пользуясь присутствием семьи Скрябиных в доме Балаховских, Татьяна Фёдоровна и я основали «Скрябинское общество». Я был секретарем этого общества, что давало мне возможность защищать квартиру от налетов разных военных групп. Вскоре прибыла группа советских офицеров^[211], которая пыталась реквизировать весь дом. Нам дали 48 часов, чтобы очистить помещение. Тогда я решился на рискованный шаг. Я послал телеграмму «председателю Совета Народных Комиссаров В.И. Ленину» следующего содержания (я помню текст почти точно): «В то время, как в Москве воздвигается памятник великому композитору Скрябину, его семья выселяется представителями Красной Армии в Киеве. Я обращаюсь к Вам с просьбой принять меры, чтобы

предотвратить эту опасность». Получил ли Ленин мою телеграмму и отдал ли приказ оставить семью Скрябина в покое, сказать невозможно, но остается тот факт, что, когда пришел срок, назначенный нам на выселение, ни офицер, ни его солдаты не появились.

Летом 1919-го года Татьяна Фёдоровна уехала в Москву, чтобы устроить дела. И в ее отсутствие случилась трагедия. В воскресенье 23-го июня 1919 г. киевская школьная учительница взяла группу детей, среди которых были и Скрябины, на пикник на Днепре. Когда подошло время возвратиться, Юлиана не могли найти. Он стеснялся быть в компании других детей в купальных костюмах и отошел от них. Учительница решила вернуться и, оставив детей дома, отправилась на поиски Юлиана на острове на середине реки. Но Шестов сразу сказал «Юлиан погиб», как будто он мистически узнал, что надежды нет. Я присоединился к поискам, и мы взяли с собой двух опытных матросов. Скоро нашли бедного Юлиана – он утонул в маленькой бухточке, где вода неожиданно стала глубокой. Была печальная панихида еще до возвращения Татьяны Фёдоровны – говорил композитор Глиер, директор киевской консерватории и учитель Юлиана. Юлиан унаследовал талант своего отца. Ему было всего одиннадцать лет, когда он погиб, но он уже сочинял фортепианные пьесы в стиле последних произведений Скрябина, с удивительно изящной гармонией. Эти пьесы сохранились и были напечатаны в России в 1960 г.”^[212].

Варвара писала в Москву подруге Надежде Бутовой:

Август 1919

Киев

...Я не писала Вам довольно давно – и сегодня смогу написать только несколько слов на этом нелепом листке – остатке от программ, какие я правила для одного детского вечера. Так издалека я говорю от великой душевной и телесной усталости. Девять дней почти без сна жила в напряжении всех сил. Девять дней у нас сегодня как утонул Юлиан – сын Т.Ф. Скрябиной – ее гордость (мальчик был, несомненно, гениален и в музыке, и науках)... – хотя вины никакой не было. Всякий на его [месте] пустил бы мальчика <нрзб> с такой надежной охраной, под какой он находился в тот день...

Часа два тому назад я пришла с Аскольдовой могилы, где спит его прах – но спутник: – ангел Божий. Не о нем, Юлиане, ему хотелось – моли Бога о нас^[213].

Варвара как могла поддерживала вернувшуюся в Киев Скрябину, с которой успела очень подружиться. С потери талантливого юного

композитора и любимого сына начинается болезнь Т. Скрябиной, которая сведет ее в могилу.

К осени стало ясно, что из города надо бежать. “После оккупации Киева белыми 31.08.1919 года были организованы страшные еврейские погромы, – писал Слонимский, – несравненно более зверские, чем когда бы то ни было до революции. Страницы «Киевской Мысли» были заняты траурными объявлениями с именами целых семей, с детьми, зверски убитых в их собственных квартирах”^[214].

Поезд. Разлука навсегда

Итак, Киев стал невозможен для жизни с его переворотами, опасностью погромов, отсутствием нормального пропитания. Варвара Григорьевна писала в дневнике:

Киев. 19 год. Осень. Толки о том, что зимой не будет ни водопровода, ни топлива, не будет электричества. “Спасайся, кто может”. Семьи, с которыми я была душевно и жизненно связана, покинули Киев: Тарасовы уехали в Крым (Алла ожидала ребенка). Скрябины – в Новочеркасск^[215].

14 (27) сентября 1919 года Лев Шестов сообщал сестрам Фане и Соне из Киева в Париж: “Скрябины пять дней тому назад уехали в Новочеркасск. Как-то они доедут! Дорога ужасная!”^[216]

В годы Гражданской войны Новочеркасск стал одним из центров белого движения и местом укрытия для всех, кто не хотел смириться с захватом власти большевиками. Казаки под руководством атамана Каледина предпочли сохранять нейтралитет, обособившись от советской власти созданием независимой области войска Донского с центром в Новочеркасске.

Варвара оказалась в одном поезде с Шестовым. Он с семьей ехал в Крым, чтобы в Ялте воссоединиться со всеми Шварцманами и покинуть Россию. А путь Варвары лежал в Москву. Там были ее друзья: Надежда Бутова, семья Добровых; в Воронеже – ее старенькая мать и младший брат. Михаил Владимирович продолжал настойчиво звать Варвару Григорьевну в Сергиево.

Она вспоминала:

Группе знакомых и двух-трех незнакомых мне лиц удалось каким-то чудом раздобыть теплушку, которую прицепили к санитарному поезду,

отправляемому на юг. Прицепили к этой группе и Мировича. Теплушку нашу правильнее было бы назвать холодушкой. Была одна ночь, в которую на нашей половине пассажиры едва не замерзли. Тут была мать М. Слонимского – Фаина Афанасьевна, племянник писателя Шестова, Жука Давыдов, юноша лет 23–24. Массажистка Ев. Ал., (еврейка, дальняя родственница сахарозаводчика Балаховского) и никому из нас неведомая полька с годовалым сыном Мечиком. С другой стороны, комфортно завешанной коврами, поместился писатель Шестов, с двумя дочерьми и женой, которую в Киеве в Скрябинском кругу прозвали Элеазавром (она была Анна Елеazarовна). Было в броненосной толщине ее душевной кожи в физической и духовной угловатости, в примитивности ума и какой-то костяной силе, разлитой во всем ее существе – нечто напоминающее динозавров, ихтиозавров, плезиозавров. Неврастеничного, слабохарактерного философа Шестова она прикрепила к себе неразрывными узами, родив ему двух дочерей и создав очаг, где у него был кабинет, в котором никто не мешал ему размышлять и писать. В этом вагоне Элеазавр следил ревниво, чтобы обе половины вагона не смешивались в продуктовой области, так как семья была снабжена гораздо обильнее и питательнее, чем мы. Ревниво относилась она и к беседам со мной для каких Л.И. осмеливался перешагнуть запретную зону. И скоро эти беседы прекратились. В ночь, когда мы коченели от холода, Л.И., однако, решился приблизиться к нам, привлеченный плачем старухи Слонимской. Он посоветовал нам лечь в кружок, друг к другу ногами. Не помню, послушались ли мы его. Знаю только, что, несмотря на жуткие ощущения холода никто из нас даже не простудился. На половине Л.И. ехал студент, Михаил Слонимский, который тогда считался женихом старшей дочери Шестова, Татьяны. Он знал наизусть всего “Евгения Онегина”, и всю дорогу декламировал отрывки из него^[217].

Жестокость этого описания Шестова уравнивается только последующими воспоминаниями Варвары совсем иного рода. Но перед лицом безытности, катастрофы Шестов передал себя в руки умелой и крепко стоящей на земле жены и тем самым сохранил свое здоровье и продлил жизнь еще на два десятилетия. Варвара напишет ему еще про пережитое. Но это будет потом. А пока она продолжает свой рассказ о дороге:

В эту поездку суждено мне было три раза испытать страх. Первый раз, когда младшая дочь Шестова, Наташа, пошла в лес за хворостом для нашей печурки (тогда уже она была у нас). Поезд должен был тронуться, а девочки (было ей тогда лет 16) еще не было видно на опушке. Если бы она не пришла вовремя, конечно, отец остался бы на

этой станции. И страх за него был еще сильнее страха за Наташу. На станцию могли придти “белобандиты” и растерзать его за его семитическую наружность.

И вообще я тогда всю дорогу до Харькова с замиранием сердца прислушивалась на остановках, не раздастся ли: “Бей жидов, спасай Россию”.

Второй страх был пережит в Харькове. Когда оказалось, что поезда дальше не идут, что надо оставаться на вокзале и ждать неизвестно чего. Но не к этому относился страх. Я – фаталист и в таких трагических положениях, как было и в Киеве во время 11-ти его переходов из рук в руки, смотрю на себя точно со стороны и очень издалека, хотя не без любопытства к тому, что это такое и чем это кончится. И с особым подъемом, точно мне поднесли стакан крепкого вина. Но, когда я поняла, что Лев Исаакович с семьей остается в Харькове, где у них были какие-то магазины, где можно было приютиться, и поняла, что он прощается со мной, покидая меня на вокзале, где насекомые хрустели под ногой *perdute gente*^[218] и где потом четыре ночи пришлось сидеть на корзине с вещами, не имея надежды уехать – когда я все это поняла, я испытала жестокий, головокружительный страх перед тем, что это могло, что это смело так быть с ним и со мной, что так смеет быть с друзьями (в то время мы были больше, исключительно внутренне и без тени “романа”, связаны, чем просто друзья). Этот леденящий страх затмил в моем сознании внешний трагизм положения за эти четверо суток. Жука, его племянник навещал меня и мою спутницу каждый день. Лев Исаакович не пришел ни разу: Элеазавр не пустил^[219].

После Харькова пути Варвары и Шестова разошлись окончательно. Она с трудом добралась до Новочеркасска, где ее ждала Татьяна Скрябина, затем они все вместе ненадолго поселятся в Ростове, куда подруга и ученица Варвары, Олечка Бессарабова, привезет слепую мать Варвары Григорьевны, а семья Шестова через Севастополь выедет за границу на французском пароходе “*Dougai Trouain*”, благодаря визам, которые им послали родные, жившие в Париже.

Смерть Надежды Бутовой. Поверх барьеров

В письме Шестову Гершензон рассказывал ему подробно о том, что происходит в их брошенной московской квартире.

31 июля 1920

Живут Игнатовы, вся семья, и А.Е. Березовский с женою (в твоей комнате). Забор к улице сломан зимой на топливо, неуютный вид. Бахи^[220] живут тепло и очень сытно все время; Лидия Алексеевна, хворавшая зимою, с хорошей оказией в начале лета уехала на юг и, как сказал мне на днях по телефону Алексей Николаевич находится в санатории в Геленджике на Черноморском побережье; недели через три вернется... Иногда выдаю Г.Г. Шпета; он жалуется на нервность и неспособность к работе^[221].

Шестов в письмах Гершензону не раз будет спрашивать о Варваре, и сама она еще не раз ему напишет, но то будет, когда затянется рубец их тяжкого расставания. Об этом она расскажет ему в письме о смерти Надежды Бутовой. Это был для них обоих очень и очень близкий человек. Варвара Григорьевна оставила о ней свои воспоминания (они приведены на с. 392 наст. изд.), она часто останавливалась у Надежды Сергеевны в доме Перцова возле Храма Христа Спасителя. “Когда я увидела впервые Надежду Сергеевну Бутову, ей было 27 лет, – вспоминала В.Г. – Наш общий друг Лурье, недавно трагически погибший за границей (попал под поезд), несколько раз говорил мне: «Вы должны познакомиться с Бутовой. Это необыкновенно обаятельный человек».

Однажды я спросила:

– В чем особенность ее обаяния?

– Она на все реагирует, на все не понемножку, не расчетливо, как обычно люди кончиком мысли или краешком чувств, а безудержно, щедро, всем своим большим существом”.

Бутова была настоящей христианкой, ухаживая за больной чахоткой подругой, специально пила с ней из одного стакана, чтобы показать ей, что не боится. Заразилась от нее туберкулезом и тяжело умирала в голодной и холодной Москве в 1921 году.

Борис Зайцев, друживший с Бутовой, рисовал такой портрет актрисы: “Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей. (Головой выше физически, головой выше душой.) В труппе держалась одиноко, прохладно: не помню особенных ее приятелей из актеров. «Я не могу ни с кем жить вместе, близко», – говорила она. И никакие капустники, никакие попойки не занимали ее (конечно, зубоскалили актеры над ее отшельничеством: но побаивались).

Платья она носила темные, волосы пышно зачесывала назад. На груди крест. В толпе сразу заметишь ее худую, широкоплечую фигуру, над всеми возвышающуюся. Разговор тихий, степенный, но могла и смеяться по-детски. Не дай Бог рассердить ее – и особенно важным, не пустяком, а идейным: новозаветный человек, она впадала и в библейский гнев”^[222].

Евгения Герцык, познакомившаяся с ней через Шестова писала: "... Слова скромны и просты, а внутри затаенное кипение. Зажигала в углу рубиновую лампадку. Была прозорлива на чужую боль. Глубоко трогал созданный ею образ юродивой в «Бесах» Достоевского. Когда в 22-м году после пятилетнего промежутка я попала в Москву, я узнала, что она умерла в революционные годы, что перед смертью пророчествовала в религиозном экстазе. Скитница обрела свой скит"^[223].

В одном из последних писем Варваре, когда та еще была в Ростове, Бутова рассказывала ей о московской тяжелой жизни и последних новостях в Москве.

25 мая 1920

Дорогой друг мой!

Вчера лишь я получила 2 конверта, адресованные на мое имя от Шуры Добровой. В них оказались письма для других: Михаила Владимировича, Лиле, Анне Васильевне, Татьяне Ал<ексеевне> Полиевктовой. И мне страничка. Письма для других мне удалось сегодня же переправить всем, кроме Жени Готовцевой, о письме к ней Вы также упоминаете в моей записочке, но его не оказалось. Ваша страничка ко мне, как и предварительные два мартовские письма, мало что мне сказали о Вас, о душе. Они для меня "осколочки". Сначала мне казалось, что они осколочки тех писем, которые до меня не доходят. А сегодня ясно чувствую, что другого письма, целого мне направленного для меня и не писалось. Мне печально стало очень. Но я не прошу ничего иного от Вас, как и ни от кого, чем то, что человек дает мне. И конечно, дарами человеческими нам и определяется наш удел здесь, среди людей. И причина, разумеется, лежит во мне.

Лишь Лиля со слов Михаила Владимировича и он сам (случайно пришел сегодня) разъяснили мне немного Вашу жизнь там. Рада очень, что понимаю теперь больше и яснее. Бесконечно больно и тревожно за Варвару Фёдоровну, и какая мука, что узналось здесь об этом лишь теперь. Как это Лис не сообщил сюда? Ведь из Воронежа сюда постоянно кто-то приезжал всю зиму! Уж что-что, а поделились бы мы все отсюда с Варварой Фёдоровной и она, б<ыть>м<ожет>, нужды бы не терпела, острой, какую б<ыть> м<ожет>, несла эту зиму.

Моя мама еще кое-как живет. Отняли у нее ее опору, привязанность ее последнюю и утешение ее – ее приемного сына – Колю. Отняли 17-летнего и угнали на фронт! Как она справляется со всем, даже и не представляю. Одна надежда на Милосердие Божие и Его помощь...

Получили письма от Льва Исааковича Шестова. Гершензон получил из Женевы... Бахи привезли. Он и Анна Елизаровна там. Девочки во Франции учатся. Им безденежно трудно. Анна Елизаровна изучает итальянский язык, чтобы, сдавши экзамены медицинские в Италии, там, и практиковать.

В Швейцарии иностранцы не могут получить никакого заработка. Л.И. пишет, что вся семья Лурье в Париже. Он был у них и жил у них. Подробностей не знаю, но “живут хорошо”, пишет он. О здоровье Танечки не пишет. Надо надеяться, что хорошо!

Обнимаю Вас, Господь храни Вас. Адресуйте мне письмо на квартиру. Н.Б.

Сегодня день рождение Танечки Лурье! Поздравляю с праздником.

P.S. Я послала Варваре Фёдоровне немного денег – всего 1000 рублей^[224].

В январе 1921 года Надежда Бутова умерла. Варвара после мучительного расставания в Харькове все-таки пишет Шестову:

20 января (2 февраля) 1921

Москва

Восемь дней тому назад, в ночь с 12-го на 13-е около полуночи скончалась Надежда Сергеевна. При ней была Елизавета Михайловна Доброва^[225] и та женщина из Алексеевского Братства, которая за Надеждой Сергеевной во время болезни с величайшей преданностью ухаживала. <...>

Я видела Надежду Сергеевну за три дня до смерти. Я знала, что она тяготится тем, чтобы смотрели на ее измененное болезнью лицо и не смотрела на нее. Она тяжело дышала со стонами и хрипами и почти не могла говорить. Но так как она позвала меня – за две недели перед этим не хотела видеть ни меня, ни кого другого, кроме духовника – я не уходила и ждала, что она скажет. Она сказала: Дух ушел. Душе тяжело расставаться с плотью. Вся жизнь в неправде, все – неправда. Бог милосерд и ко мне и к людям. Никто не знает, что такое болезнь. А потом спросила про мою мать, про брата и меня с прежней, здоровых дней, заботой. <...>

Я тяжело заболела и при всем этом уже не присутствовала. Каждый день те, кто навещали меня, спрашивали: написала ли я Вам. Я сочла это каким-то указанием. И хотя моя душа, с тех пор как мы расстались с Вами на Харьковском вокзале, онемела, как я думала, уже до конца, оказалось, что есть слова какие-то и что Вы живы в ней. Помогите Вам Бог во всем – и больше всего в смертный час (выделено мной. – Н. Г.).

В том, что душа Варвары “онемела”, когда ее оставили одну в Харькове на вокзале, где она четыре дня жила на улице, без еды, была вина Льва Исааковича, который был абсолютно неспособен противостоять бытовому натиску Анны Елеазаровны. А возможно, законная жена, наконец, решила показать Варваре Григорьевне,

столько лет маячившей на ее горизонте, место, которое, как она считала, та заслужила.

Но все-таки в эти месяцы Шестов мог думать только о том, как спасти и прокормить свою семью, найти в разных городах братьев и сестер, которые могли пасть жертвой погромов. Теперь они должны держаться вместе, как и было им завещано предками.

Саше 24 февраля 1920

Женева

Я уже писал тебе, что из России мы ничего не привезли. Даже на дорогу нам не хватило бы тех денег, которые у нас были. Только присланная тобою валюта нас выручила. Когда мы были в Ялте, все ни о чем больше не мечтали, как о том, чтобы вырваться из того ада, который сейчас в России. Но не успели сесть на пароход, как все прежние <нрзб>были забыты. А когда приехали сюда – тем более. Прежде говорили: только бы попасть за границу, там будем как угодно жить. Теперь хотят жить как жили прежде. Соответственно этому хотят много денег... Ты можешь зарабатывать немного своей музыкой, я – литературой. Вместе с тем, что мы будем получать на вырученные после ликвидации дела суммы, получится достаточно, чтобы существовать. Нужно только немного мужества, чтобы согласиться жить, как живут десятки миллионов людей – ведь ни голодать, ни работать сверх сил никому не придется. Придется только отказаться от привычки к роскоши.

Все, что я пишу тебе, необычайно для нас важно. Помни это и очень обдумай каждое мое слово. Я уверен, что, если мы не ликвидируем дела в Лондоне, это будет для всех настоящим несчастьем. Не знаю, приехал ли уже Миша в Лондон. Во всяком случае, поторопись ответом, т. к. мне очень хотелось бы поскорей убедиться, что ты и сам понимаешь то, о чем я тебе пишу^[226].

Но ведь именно в первые месяцы эмиграции, 11 июня 1920 года, он вдруг остановится, оглянется назад и напишет в “Дневнике мыслей”, где очень мало записей, те слова, которые мы приводили в самом начале нашей истории:

В этом году исполняется двадцатипятилетие, как “распалась связь времен” или, вернее, исполнится – ранней осенью, в начале сентября. Записываю, чтобы не забыть: самые крупные события жизни – о них же никто, кроме тебя, ничего не знает – легко забываются.

Он говорит о сентябре 1895 года, о том переломном моменте, когда рядом с Варварой, а может, и благодаря ей, его жизнь резко развернулась. В 1923 году, сначала через приветы М.О. Гершензона, а потом уже и непосредственно, переписка между ними возобновляется. Правда, сохранились только письма Варвары Григорьевны Шестову, которые остались в его архиве, его писем к ней этого периода нет ни одного. И вот Варвара снова начинает с ним говорить. Она получает привет от него через приехавшую из Берлина Е.В. Шик (Елагину), которая была там с гастролями Театра имени Вахтангова:

4 сентября 1923

Сергиево

Лиля привезла мне Ваши приветы, Лев Исаакович. Издалека – точно из другого существования. Но странное было чувство – точно не прерывалось общение духовное на годы – на годы, имеющие право считаться каждый за десятилетие.

И другое было странное – и хорошее – чувство. Незначительной и как бы вовсе не существовавшей ощутилась та горечь, какая за эти годы вставала при Вашем образе. Человек не обязан быть иконой для другого человека. И вообще, ничего он не обязан, кроме того, к чему он сам обяжется из глубины своей совести. А эти глубины как раз не от него зависят. Вот видите, опять “философия и литература”. Так уж нам с Вами суждено – по гроб жизни. Он не очень далек от нас этот гроб, и вряд ли по эту сторону его мы увидимся. И я рада, что захотелось и смогло сказать Вам, что все блага, все пусть будут благословенны, что приходят от Вас на мою дорогу. Великая неподкупность и героический труд и чистота Ваших поисков истины были и есть для меня источником, обновляющим душевные силы. Вы, может быть, и знали это, но после долгого молчания захотелось Вам сказать об этом еще раз.

14 сентября 1923

...Начала читать Ваши откровения о Смерти. Читаю медленно-медленно – похоже на то, как богомольцы взбираются на лестницу св. Павла в страстную пятницу. Как все у Вас горестно и трудно. И как я люблю, что это так. Когда кончу читать, я напишу Вам.

За эти три года, когда у Вас складывалась Ваша книга о смерти, и у меня вырос цикл стихотворений, ей посвященный – “*Ad Suor nostra Morte*”^[227] и к нему можно бы эпикуровские строчки взять эпитафией.

22 октября 1923

Сергиево

Спасибо за отклик, Лев Исаакович. Было радостно видеть Ваш почерк – той же странной радостью, о которой Вы пишете “рад, что Вы еще существуете”. Это, конечно, детская и эгоистическая радость – т. к. для каждого из наших сверстников, убеленных сединой и отягченных соответствующим, бременем было бы радостней уже не “существовать” – т. е. существовать как-то иначе вне почерков, писем, книг, болезней, заработков и т. п.

И последнее письмо Варвары Шестову, которое дошло до Парижа. Она читает его “Гефсиманскую ночь”, посвященную Паскалю. И, как всегда, в диалоге она на равных с Шестовым:

8 мая 1925

Больше недели прошло с той ночи, когда я прочла “Гефсиманскую ночь”^[228] но все еще звучит во мне ее “*Ad tuas, Domine, tribunal appello!*”^[229].

И второе – такое мне знакомое – что агония Христа будет длиться до скончания мира.

В одной из Сергиевых пасх я пришла как-то с этой мыслью (своей, не Паскалевской) к Флоренскому. Он говорил: Христос воскрес. А я должна была сказать ему, что ничего не знаю об этом. А в страстную неделю и тогда, и теперь знала, что весь мир вовлечен в мистерию сораспятия и сопогребения Ему – с той поры, как он, мир, стоит и до той поры пока будет стоять.

Как Вы думаете, отчего Нитше не выстрадал этого права, какое явилось у Паскаля. Ведь и у него была бездна под ногами – и только бездна, куда летели вниз головой тысячелетние ценности. И одиночеств. И жестокая болезнь. <...>

Я пишу непоследовательно, бессвязно. Я бы хотела до смерти, на этом еще свете, разок поговорить с Вами о Гефсиманской ночи.

Писать я разучилась – да, пожалуй, и не умела никогда.

А говорить – с немногими, с Вами – с покойным Гершензоном^[230] – временами могла, так что было понятно, о чем я спрашивала и понятно, что я понимала то, что отвечают мне те, “чей светоч на горе”.

Мар. Борис.^[231] кот. дала мне “Гефсиманскую ночь”, согласилась со мной, что от этой книги сильный свежий ветер горных вершин с перевалами туда, где... Она думает, что туда, где теперь Мих. Осип. И она в чем-то права.

И заканчивает письмо словами:

Привет Вашему дому. А Вам – мир. Не покой, но мир...

Больше писем не будет. Только дневники Варвары и ее сны о Шестове. Он будет теперь частым гостем ее ночных видений.

Приснился сегодня Л.И. (Шестов). Вошел молодой, быстрый, радостный. В руках огромный букет цветов. Положил его передо мной с лучистой застенчивой своей улыбкой. Четырнадцать лет прошло с тех пор, как видела ее в последний раз. Десять лет со дня последнего письма. Не означает ли сон этот (цветы, помолодение, улыбка), что он перешагнул уже и может быть именно в эту ночь за ту черту, где нет уже старости, нет условностей и преград человеческого обихода, нет ни Парижа, ни Москвы. И нет разлуки^[232].

Нет, он еще был жив, хотя Варвара чувствовала, как никто, что он приближается к своему порогу. В Париже в те годы ему открылась философия Кьеркегора, о котором он стал много писать. Судьба датского философа тоже была связана с отказом от любимой женщины. О чем же думал Шестов, когда писал о рождении Кьеркегора как философа? “В год окончания университета произошла его помолвка с молодой девушкой – Региной Ольсен, которой было всего 17 лет и которую он знал с детства. Но через год – 10 октября 1841 года, он, без всякого повода, порвал с невестой – к великому негодованию как его близких, так и близких его невесты и всего Копенгагена. Копенгаген сто лет тому назад был большой деревней: все обыватели знали дела всех обывателей, и ни на чем не основанный разрыв Киркегарда с невестой сделал его притчей во языцех в городе. Регина Ольсен была потрясена неслыханно; она не понимала и не могла понять, чем был вызван неожиданный поступок Киркегарда. Но еще больше был потрясен и раздавлен своим поступком Киркегард. *Его разрыв с невестой – для всех нас факт второстепенный, ничтожного значения – приобрел для него размеры великого исторического события. И не будет преувеличением, если мы скажем, что характер его философии определился именно тем, что по воле судьбы ему пришлось такой незначительный факт испытать как историческое событие – как «землетрясение», выражаясь его собственными словами* (выделено мной. – Н. Г.). Что заставило его порвать с Региной Ольсен? И в дневниках своих, и в книгах он непрерывно говорит от своего имени и от имени вымышленных лиц о человеке, которому пришлось порвать со своей возлюбленной – но он же постоянно строжайше возбраняет будущим читателям его допытываться истинной причины, которая принудила его сделать то, что для него (равно, как и для невесты) было труднее и мучительнее всего. Больше того, он не раз говорит, что в своих писаниях он сделал все, чтоб сбить с толку любопытствующих. И,

тем не менее, надо сказать, что он вместе с тем сделал все, чтобы его тайна не ушла с ним в могилу. В своих книгах и в дневниках он повторяет: «если б у меня была вера, я бы никогда не покинул Регины Ольсен». Слова загадочные: какое отношение может иметь вера, как мы все привыкли понимать это слово, к тому, жениться или не жениться?»^[233]

Вспоминал ли он о несчастной судьбе Анастасии или же думал о Варваре? Связывал ли он свою личную трагедию с рождением себя как философа? Несомненно, связывал, поэтому и написал загадочные слова в дневнике о двадцатипятилетию крупного события жизни, когда “распалась связь времен”. “Экзистенциальная философия, – утверждал Шестов, – начинается с трагедии”.

Варвара Григорьевна мысленно говорила с ним и думала о нем до конца своих дней. Она считала его выше всех писателей и философов. Она написала, что “он боялся жизни за всех людей – прошедших, настоящих и будущих, за общий всем жребий ничтожества, страдания, смерти и темноты загробных судеб. Он как бы поднял на свои плечи ту ночь короля Лира (недаром Шекспир был так близок ему), когда под рев степной бури, под грохот грозы Лир говорит: «Нет виноватых. Я заступлюсь за всех». О смерти же он не раз говорил: «Это последний и, может быть, самый верный шанс узнать, бессмертны мы или нет». И еще: «Если бы оказалось, что за смертью нас ничего не ждет, что нет ни Бога, ни бессмертия души – не стоило бы после этого жить ни одной минуты»”^[234].

В начале 1930-х годов Наташа и Татьяна Березовские, дочери Льва Исааковича, вышлют своей прежней наставнице немного валюты. А затем связь прервется. Но Лев Исаакович регулярно будет приходить к Варваре в ее дневники.

После всего

“Сегодня узнала случайно: умер философ Шестов”, – пишет Варвара Григорьевна в дневнике 15 июня 1939 года.

А ведь думала, что почувствует его уход. Несколько раз писала, что, кажется, он ушел...

3 ноября 1938 года, когда до смерти Льва Исааковича оставалось чуть больше двух недель, Варвара Григорьевна вдруг внезапно сделала пронзительную запись в дневнике, в которой зазвучала неостывшая обида. Возможно, это было связано с впечатлением от мхатовской постановки “Трех сестер”, где играла Алла Тарасова. После спектакля на Варвару Григорьевну нахлынули воспоминания посещения первых московских спектаклей начала 1900-х годов, когда они вместе с

сестрой были на “Чайке” и на “Трех сестрах”. А затем потянулись воспоминания дальше и дальше:

“Я все забываю, я все забываю”, – в отчаянии восклицает Чеховская Ирина из “Трех сестер”. Она права в своем отчаянии. Забвение – первый признак заболевания души “окамененным нечувствием” или просто нечувствительным для самой души распадом.

“Я все вижу, все помню”, – писал однажды мне один из друзей моей молодости, попавший в жестокий тупик, где мучались втроем – я, он и моя сестра. Тогда он верил, что найдет силы поднять бремя представшей задачи. Потом он, как и большинство людей, спасаясь от боли и тяжести, прибегнул к забвению. Оно привело часть души к “нечувствию”. В ней, в этом склепе нечувствия, замурован труп моей сестры, душевно заболевшей от зрелища своего склепа. В этом же склепе схоронены и те мысли, те движения души, те творческие возможности этого человека и мои, которые родились бы от нашего сопутничества^[235].

Шестов умер 20 ноября 1938 года, Малахиева-Мирович узнала об этом только восемь месяцев спустя. Перегородки между советским миром и всем остальным стали настолько высокими, что новости доходили с чудовищным опозданием.

“Из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я”^[236]. А была некогда такая большая, такая глубокая (казалось) душевная связь. И то, что называют любовью – с его стороны. И с моей – полнота доверия, радость сопутничества. Месяц в Коппэ, когда души безмолвно сблизилась на такой головокружительной высоте, и в такой упоительно молодой радости общения, что каждое утро казалось первым утром мира. Озеро, сумрачные горы Савойи, розы маленького сада, росистая трава по вечерам, огромные оранжевые улитки, каждая книга его библиотеки, чай, который я готовила ему по ночам, когда дети уже спали. Музыка, во время которой я встречала его долгий, неведомо откуда пришедший, о невыразимом говорящий взгляд. Было. И земной поклон за все это, и за письма, за дружеские заботы, за всю нашу встречу, хоть и была она ущербна и, не дозрев в значении своем, могла окончиться так, как закончилась сегодня – “из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я”^[237].

Повторяемая не раз в этом отрывке отсылка к пушкинскому стихотворению о смерти Амалии Ризнич нужна Варваре, чтобы осознать

градус боли. Отзывается в ней память о Шестове или нет? Чем он был для нее?

И вот уже через два дня она снова возвращается к этой теме. Ничто никуда не уходит.

17 июня 1939

Москва

Диван в “своей” полкомнате. Зной. Тянутся к зениту грозовые облака.

Странно: при известии о смерти Шестова не ощутилось никакого потрясения (“из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я”). Но уже через несколько часов я заметила, что все вокруг в особом колорите изменилось, как бывает после важных душевных событий. И душа как бы перешла на иной строй. А самое важное – приоткрытая отдушина из жизни, где пребываю и струя воздуха горных вершин. На высоких горах жила эта душа. И как одиноко – до встречи со мной. Вероятно, так же и последние двадцать лет. Впрочем, о них я ничего не знаю. Знаю только, и в этом сущность такой, как у него души – поистине “истина”, какой он искал всю жизнь, была ему дороже самой жизни. И в этом были его крылья. И еще – в неподкупной правдивости мысли, в бесстрашии перед самыми жестокими выводами и в упорном “творчестве из ничего”. Было нечто дантовское в его лице, изборожденном следами нисхождения в ад. И в его натуре, в безбоязненности заглянуть туда, где томятся *gli perdate gente* – обреченные гибели. И думалось ему некогда, что я его Беатриче. И верила я тому долго. А сейчас от всего долгого, мучительного и духовно важного общего прошлого одна, сказанная им фраза: “Если мы дети Бога, значит можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”.

И еще вспомнилась надпись на одном из его портретов: “Может быть, вещие птицы Аполлона (про лебедей) тоскуют неземной тоской по иному бытию. Может быть, их страх относится не к смерти, а к жизни”^[238].

Последний абзац – цитата из работы Шестова “Предпоследние слова”, посвященная философским истинам, которые разрушаются при внимательном в них вглядывании. В части, озаглавленной “Лебединые песни”, философ рассуждает о последних мыслях Тургенева и Ибсена, предполагая, что в этих вещах открывается странный парадокс – жизнь для них страшнее, чем смерть. В своих последних вещах Тургенев в “*Senilia*” (“Старческое”), а Ибсен в пьесе “Когда мы, мертвые, пробуждаемся” тосковали по Инобытию. “Лебеди, – рассказывает Платон, – когда чувствуют приближение смерти, поют в этот день

лучше, чем когда бы то ни было, радуясь, что они найдут Бога, которому они служат”.

Об этом же писал Ибсен в своей последней пьесе “Когда мы, мертвые, пробуждаемся” о воскрешении музы художника, вместе с которой он уходит на вершину, чтобы с ней погибнуть. Пьеса, об идее которой Шестов с таким восторгом говорил Евгении Герцык после расставания с Варварой в Коппе. Одна из важных тем, к которой Лев Исаакович будет неоднократно возвращаться, – это возможность личного спасения через любовь, которая воскрешает из мертвых. Конечно, это одна из великих метафор любви, но все-таки кажется, что для него – воскрешение из мертвых – было больше, чем метафора. Много раз он будет повторять, что был мертв, что душа омертвела, что стал мертвецом. Именно Варваре удалось заставить его поверить в себя, в собственные силы, вернуться к жизни.

Теперь она перебирает в памяти дарованные ей когда-то Шестовым мысли, слова, обращенные к ней, обрывки разговоров. Она заполняет ими пространство жизни.

И снова пишет о нем:

28 июня 1939

Снегири

Вечер. Призрачна грань, отделяющая нас от ушедших из видимого мира близких наших. Лев Шестов, о смерти которого недавно узнала, до того реально, до того волнующе – действительно живет со мной рядом, как это было в давние времена общей напряженной духовной работы и его обета: “Что бы ни было с вами, что бы ни было со мной, я никогда не отойду от вас и всегда буду с вами”. Жизнь давно разделила нас пространством, временем, и внутренние пути, казалось, пошли обособленно, в глухой дальности один от другого. Но это – поверхность явлений. Под нею тайно-жизнь со своими сроками, законами и нежданно выплывающими из океанов подсознания Атлантидами^[239].

Вторая мировая война на время вытеснила ее мысленный диалог с Шестовым. Но вот после всех пережитых ею бед и несчастий их встречи возобновляются с новой силой. Он часто входит в ее сны и словно стоит рядом с ней.

12 мая 1947

Глубокая ночь. Близок “синий час” (ой, как больно кольнули эти слова...). Захотелось вписать сон прошлой ночи, который сейчас вспомнился не как сновидение, а как реальность, в которой вот и сейчас нашла моя душа прибежище от всего суетного, ложного,

жестокого и нелепого, что последнее время стало непереносимым. Сон заключался только в одном событии – встреча с Львом Исааковичем. Но такая, какой еще не было. Он нередко мне снится после его смерти. И всегда в аспекте живого участия, неизменной верности. Но никогда еще не было (как не было и при жизни) такого крепкого объятия, такого слияния уст в неразрывном (вневременном) поцелуе. Не нужно прибавлять, что без телесной страсти, какая могла бы по воспоминанию темперамента далекой молодости присоединиться. Было нечто совсем другое. При этом Лев Исаакович был в саване, как на иконах изображают воскресшего Лазаря. И был пережит такой великий покой, такая несказанная, хоть и скорбная радость.

13 июня 1947

9-ый ч. утра. Перламутровое, облачное, уже загрязненное дыханием Москвы, небо.

...Увядают лилии, нарциссы

На столе моем

Небосклон туманный, темно-сизый,

Грустен за окном.

От него сегодня вы не ждите

Дождевой струи...

Потушите жажду и усните,

Лилии мои.

10 ч. вечера. Преодолеваю гневный протест печени и берусь за тетрадь, чтобы подивиться тому настроению, из которого утром выросло восемь строк о лилиях. На расстоянии всего 12 час, что то произошло (в сознании? В подсознании? В сверхсознании? В сердце?) заставившее меня, как чужое перечесть строки на верху этой страницы

М. б. самая безнадежность их (тон их несомненно безнадежный) взывала к сдвигу надежды. Как то, еще в годы молодости нашей “потусторонний друг мой” мимоходом обронил однажды афоризм, который был понятен немногим. И в числе немногих этих был Мирович. И не раз в жизни после он всплывал в памяти сердца в нужные минуты – “Безнадежность не есть ли высшая... надежда?”

Весь день сегодня – и на улицах Москвы, и в библиотеке, и когда, застигнутая дождем, укрылась в кв. Игоря, и под кровом Анны, и в метро, и сейчас, звучит во мне одна из любимых арий, которую нередко пел для меня “потусторонний друг” – это было “вечно время, как жила я на земле” – и не была на $\frac{3}{4}$ “потусторонней”, какими делает нас старость. Это было однажды на берегу Женевских озер, в Коппэ...

На эту тему у Варвары было написано стихотворение.

Безнадежность, – не есть ли высшая надежда?

Л. Шестов

Безнадежность – высшая надежда.
Так сказал когда-то мне мой друг.
Смутным знанием это знал и прежде
Мой в пустыне искушенный дух.

И теперь, избрать себе не смея
Из надежд излюбленных людских
Ни одной, он жаждет, пламенея,
Вод испить из родников живых.

16 ноября 1923. Сергиев Посад

Из своей памяти, из чудом уцелевших бумаг Варвара Григорьевна извлекает дорогие сердцу предметы. Фотографии, оттиски статей и перевод Шестова, сделанный полвека назад. Надпись по-французски на книге, которую он ей подарил. Все это что-то достраивает в ней, завершает их общую историю^[240].

17 ноября 1947

11 час. Вспомнилось сейчас стихотворение Ленау^[241] (перевод Л.И.).
Ровно 50 лет тому назад Лев Исаакович посвятил этот перевод мне, и я долго хранила его. И не заметила, как он пропал вместе со всеми письмами Л.И. И книга с надписью: "*Belle sorcière... aimes-tu les damnés? Dis toi, connais-tu l'irremissible?*"^[242]

И все другие, подаренные им книги. И обе фотографии – одна, где он в покойной позе привычного размышления опирается щекой на согнутую в кулак руку. Другая, где он изможденный пустынный-пророк, о котором у Лермонтова:
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я, нищий...^[243]

Но сегодня я вспомнила о нем, по поводу себя, когда, поговоривши с Ольгой [Бессарабовой] в конторе по телефону, пошла бродить по соседним улицам и переулкам, чтобы стряхнуть пыль и паутину прожитого дня. Мой сегодняшний день был похож на те дни, когда 50 лет тому назад я жила в миллионерской семье сахарозаводчиков. И когда становилось невмочь, всегда появлялось на пути или письмо Л.И., или он сам, его слова. Или просто глаза, взгляд. Такого взгляда, такого голоса захотелось мне сегодня от Ольги до того повелительным

хотением, что я надела пальто, шапку и спустилась в контору. Там в этот час никого не бывает. Или сидит полудреmlющая лифтерша. И от голоса и двух трех слов Ольги повеяло тем же, что приносил 50 лет тому назад мне Л.И.: видением, слышанием, пониманием, и теплотой отклика. Из разного источника, в разных степенях, но чем-то сходные и в одинаковой мере действенные.

На улицах был легкий мороз. В нем было дыхание молодости, надежности своих душевных сил, слияния с жизнью Целого. И звучал в полутемноте Пушкинской улицы голос Л.И. (с его улыбкой):

Когда ребенка обижают,
Он с плачем к матери бежит
И к складкам платья припадает,
И скрыть лицо свое спешит.

Есть люди с нежною душою,
Их жребий вечно быть детьми,
Но рок ведет одной тропою
Их с закаленными людьми.

И сердце страхом истомится,
Бежит от тысячи скорбей
И в складках савана укрыться
Спешит от жизни поскорей.

Слова “с нежною душою”, поскольку это ко мне: (между прочим, и к Ольге не в смысле какого-то превосходства над другими душами). Здесь только “жребий вечно быть детьми” (как и Ольга). Иначе говоря, презирая и свой, и чужой опыт, – ждать и хотеть от себя и от человеческих отношений того освещения в каждом часе жизни, какое возможно было только в Эдеме —
где были ангелы нам рады,
где мы умели их любить^[244].

В этот дневниковый фрагмент о Шестове вплетено переживание Варварой разных сюжетов их общего прошлого. Мотив “прекрасной колдуньи”, то есть женщины не от мира сего. И перевод Шестова стихотворения Ленау о людях “с нежною душою” с детскою душою, которые, боясь жизни, прячутся в смерть. Это отсылка к их частым разговорам об умении и неумении жить. Однако поразительнее всего было то, что на долю Варвары выпали испытания во много раз тяжелее, чем на долю Шестова. Она прошла все ужасы Гражданской, а потом и Великой Отечественной войны, немецкую оккупацию в Малоярославце, аресты и допросы близких друзей.

И вот одно из ее последних обращений к Шестову:

6 января 1950

Пушкино

10 часов вечера. Постель. Уже третий день не покидаю логовище. Простуда и обычные недуги, и вдобавок температура замерзания в нашем обиталище.

Жуткая мысль встретила в афоризмах Льва Исааковича: “Одновременно мы и бодрствуем, и спим, и видим сны. Бывает и так: одновременно мы и живы – и давно уже умерли”^[245].

Чувствую, что он прав и как будто говорит что-то знакомое. Но не могу уловить, в чем тут дело.

Как не хватает мне общения с ним! Но разве его со мной нет? Становясь на стезю его мышления, хочется сказать: разве не бывает так, что одновременно человек, предаваясь тлению в могиле, или же обратившись в пепел в крематории, продолжает жить (хоть давно уже умер), живет с нами, может быть, только с нами или еще с очень немногими (и на каких-нибудь других планетах – и со всеми, кто там). А Лев Исаакович живет со мной – мыслью своей и любовью^[246].

В 1930-е годы, начиная свой дневник “О преходящем и вечном”, она стала разбирать все, что осталось после тех лет. И тогда возникли те самые письма, которые здесь приводятся и которые, к счастью, позволили воссоздать ткань их жизни.

Разбирала старинные письма – уцелевшие листки и полулистки писем Льва Шестова. 96-ой, 97 год. XIX век! Помечены – Рим, Базель, Берн, Париж, Берлин. Годы скитаний и лечения после жестокого столкновения наших жизней: своей, сестры Насти и его, где все потерпели аварию, одно из тех крушений, от которых нельзя оправиться в течение одного существования. Сестра вынесла из него неизлечимую душевную болезнь, которая длилась 18 лет. Я – утрату руля в плавании по житейскому морю и ряд великих ошибок. Уцелел, то есть стал крупным писателем и не прервал дела своей жизни – философствования – только Лев Шестов. Но в этом уцелела только одна часть его души. Самая главная, интимная, глубинная, которой он был обручен мне, осталась обескровленной, беспочвенной, бездеятельной. Все это ясно только теперь, издали, в дни итогов. Временами и раньше казалось, что это так. Но потом душа забывала, где она дала жизни перерезать питающую ее артерию. Из гордости забывала. Из безнадежности. Я убеждена, что во святая святых Лев Шестов о том, что я тут пишу, думает тоже, как и я. Но легко представляю себе, что он отрекся бы от меня перед лицом жены, детей, друзей. Не столько из моральной трусости (есть и этот элемент), сколько из болезненной

мимозности, из величайшего целомудрия по отношению к своему внутреннему миру^[247].

В ожидании их встречи в другом мире она написала:

Лев Шестов не был супругом моей души, ей сужденным, единственным “Ты”, которое так безумно и так напрасно искала она всю жизнь. Но он был друг – спутник для дальнего, опасного, полного неизвестности плавания. Я верю, чувствую, знаю, что корабль его стоит где-то вблизи на якоре и не уйдет, пока я не покину гавани. Я думаю, что встречу на этом же корабле сестру (Настю), некогда обручившуюся с ним^[248].

Эпилог

Варвара Григорьевна пережила Шестова на шестнадцать лет. Последние сорок лет она жила в углу за ширмой на кухне большой московской квартиры артистки, лауреата Сталинской премии Аллы Тарасовой. Здесь Малахиева-Мирович оказалась почти случайно. В середине 1930-х годов при помощи актера Ивана Москвина (он в то время был гражданским мужем Аллы Тарасовой и депутатом Верховного совета) Варвара Григорьевна получила комнату в коммунальной квартире на улице Кирова. Но спустя несколько лет ее давняя подруга Леонилла уговорила отдать эту комнату своей внучке, юной актрисе Галине Калиновской, которая выходила замуж. Алла Тарасова сказала тогда Варваре Григорьевне: “Включаю тебя в свою семью”. Вскоре Малахиева-Мирович поняла, что совершила роковую ошибку. Совместное существование столь разных людей под одной крышей было очень тяжелым.

Михаила Владимировича Шика, катакомбного священника, расстреляли в 1937 году на Бутовском полигоне. Наталья Дмитриевна Шаховская умерла в 1942-м в больнице, рядом с ней была Варвара Григорьевна. В доме Добровых в Малом Левшинском переулке, где она раньше проводила много времени, никого не осталось: друзья ее умерли еще накануне войны, а Даниил Андреев и его жена – младшее поколение – в 1947 году были арестованы по делу о романе “Странники ночи”. Затем были арестованы родственники и читатели этого романа – муж и жена Коваленские и другие близкие знакомые. Варвара Григорьевна тоже проходила по этому делу, но ее чудом не посадили в тюрьму.

После войны Алла Тарасова вышла замуж за генерала Пронина, который поселился в той же квартире мхатовского дома, где жила в углу на кухне Малахиева-Мирович. Восьмидесятилетней Варваре Григорьевне дали понять, что ей надо покинуть собственное жилье. Тарасовы искали для нее место в доме престарелых, но так и не нашли. В углу за ширмой на кухне она пишет свои дневники, постоянно возвращаясь мыслями к прошлому. Незадолго до своего ухода она оставила такую запись:

И если бы в молодости я ответила Льву Шестову так, как ему казалось тогда единственно важным для его души, не было бы у него того великого опыта, который привел его к огромной работе духа над загадкой жизни и смерти^[249].

Дневник обрывается за несколько месяцев до кончины Варвары Григорьевны. Последняя запись сделана 14 мая 1954 года. Строчки уже плывут на странице, слова разбегаются в разные стороны. В них она благодарит Аллу Тарасову за то, что та нашла возможность отправить ее в больницу, радуется, что ту снова выбрали депутатом...

Есть и еще души, поджидающие моего прихода. Но ближе, теснее, неразрывнее всех связь с тем, кто в самую нужную минуту далекого прошлого сказал мне: “Если мы дети Бога, значит можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”^[250].

Так Варвара Григорьевна отправилась к своему “потустороннему другу”.

Письма

Переписка Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович^[251]

1. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)
6 июля 1895

Москва – [Переверзовка]

Дорогой друг!

Да благословит Вас Бог за то, что на этот раз Вы не заставили меня ждать ответа. Я пришел, и тотчас же мне подали два письма и одно – Ваше.

Верно, трудно было бы мне долго ждать. Я сужу об этом по тому, как дрожали мои руки, когда я разрывал конверт, стоя в коридоре гостиницы, как долгое время, поглощенный чтением, я не мог разобрать, что говорил мне управляющий гостиницы и все повторял ему в ответ одно и то же, так что чуть не поссорился с ним. Верно, было бы очень тяжело. Мне чудилось самое нехорошее. Но, этого нехорошего нет. Вы назвали меня в первый раз другом – и спасибо Вам, Варвара Григорьевна. Вы большую тяжесть сняли с меня. Но – еще большую наложили. Не тем, что признались, что Митя^[252] мог изменить Вас – хотя это признание как нож вонзилось в сердце, не тем все-таки. Я сразу вырвал этот нож, но не вырвать другого – того, что Вы написали мне о себе... Ужасно подумать! “<Нрзб>, Бога у меня нет, и я не знаю, найду ли я его и потому все мне <нрзб> но ничего, кроме смерти мне не хочется”.

И эта фраза о том, что, если бы не мать и сестра... И ведь это все неправда, страшная грубая ошибка, которая однако, причинила, причиняет и, быть может, будет причинять столько горя, сколько не принесло бы истинное неверие. Я видел Вас, я слышал Вас тогда, когда Вы обо мне не думали – и знаю, что в Вас есть и Бог и вера – только Вы не можете осязать их в своем истерзанном и больном сердце. Немного покоя, немного того бальзама, который щедрая для всех природа не хотела дать нам с Вами, немного счастья – и Ваши глаза снова увидят Бога в своем сердце, как видели они его в те дни, когда Вы еще не взяли на свои плечи непомерной ноши вечного одиночества. О, Варвара Григорьевна, я знаю это чувство, я знаю, что значит страдать, я понимаю, как истерзанный человек не верит ни в Творца, ни в людей – но этот человек носит в себе больше, чем те люди, которые, не зная скорби, говорят о святости веры. Вам они не указ, с ними не равняйтесь. Вспомните конягу и пустоплясов^[253]. Пустопляс легко и грациозно скачет по гладкому полю. Ноша его легка. На нем его собственное благополучие, его собственные маленькие нужды. И в свободные от занятий и забав часы он говорит о Боге, правде, любви к отечеству, экономическом материализме и пр. Но запрягите его в плуг, заставьте его десятки лет неустанно, неизменно день за днем вспахивать своими ничтожными силенками ту десятину, с которой он собирает жатву... И уйдут от него все блестящие рассуждения, улетит вера; не будет правды – и лишь слабые стоны, да немоющее ничегонеделание останется от резвого плясуна. Вы хотите быть так

категоричной, так нетвердой, как они. Вы, прожившая всю жизнь нелюбимая, среди чужих, равнодушных злых людей, собственным трудом вырабатывавшая себе свой кусок хлеба, делившаяся, быть может, этим куском с ближними, вы хотите быть такой же твердой и грациозной в своей походке как <нрзб> плясуны. Нет, дорогой друг, этого быть не может и не должно. Но в Вашей нетвердости, в Вашей неуверенности, в том, что Вы называете неверием своим больше святого, больше правды, чем в их твердой, но пустой вере. И, посмотрите, что у них за вера! Это политический материализм! Да знаете ли вы, что это такое этот экономический материализм, эта красивая комбинация иностранных слов, под которой кроется приговор миллионам людей? Знаете ли Вы, что принять этот принцип – и не стать самому в первые ряды тех миллионов, для которых этот приговор изготовлен, значит искушать лицемерием самого дьявола? И вы склоняетесь перед этим пустым, бессодержательным фанфаронством! Вы, одна слеза которой стоит больше, нежели вся энергическая <нрзб> этих равнодушных людей. Вы спасовали пред экономическим материализмом и пред энергией человека, с закрытыми глазами галопирующего по торной дорожке, ведущей к благополучию. Дорогая моя – Вы святая пред всем этим, слышите – святая! Если бы у них была вера, они пришли бы молиться на Вас, а не рассказывать Вам ученые сказки о том, что несчастным людям должно быть еще хуже для того, чтобы какому-то десятому поколению лучше стало. Им до Вас, с Вашей любящей душой, не дорасти. Им не войти в Вашу святыню, как не пройти ослу в игольное ушко. И Вы почувствуете, узнаете свою силу и будете удивляться тому, как Вы не знали ее за собой. Не падайте духом. Мы все оступались, мы все делали ошибки, ужасные роковые ошибки. Нет человека в мире, который бы их не делал. И тот, кто осмелится поднять первый камень – тот заслуживает погибнуть от этих камней, кто бы он ни был, каким бы святым он ни казался себе, другим – и даже Вам. О, если бы я мог вдохнуть в Вас тот дух, которым Вы же меня оживили. Я Вас увидел, я Вас услышал – и я сам стал иным человеком. Мне кажется, что, как я не исстрадался в сознании невозможности придти к Вам, я с тех пор, как увидел, узнал Вас, стал вдесятеро, в сто раз лучше и сильнее. И, если Вы можете придать столько веры и бодрости человеку, значит есть и в Вас сила и вера. Я не говорил Вам до сих пор об этом. Мне совестно было идти к Вам с положительным, когда я знал, что Вы этого положительного в себе не видите, как совестно дышащему здоровьем человеку войти в комнату больного. Я думал, что Вам плакать хотелось, и говорил Вам – придите ко мне я буду с Вами плакать. И придите, не стыдитесь слез своих, как я не стыдился своих. Это святые слезы скорби. Их не проливают лишь те, которые не искали в жизни ничего, кроме своего узкого благополучия. Кто любил в жизни – тот страдал и плакал и знает, как нужно человеку иметь любящего друга, пред которым в часы

невыносимой грусти можно свободно, как перед своим вторым я излиться. Все, все, дорогая моя говорите мне. Я не могу всего себя отдать Вам, но все – что я могу отдать все, – Ваше. Не стыдитесь меня, как Вы не стыдитесь себя. Я <нрзб> понять маятник движений души Вашей, я приму от Вас все – мелкое, великое, ничтожное, содержательное, пустое. Вы не можете ни радоваться, ни страдать, без того, чтобы Ваши страдания и Ваши радости, как эхо не отозвались в душе моей. Если Вы грешите – я грешу, если Вы творите добро – я творю добро. Примите это от меня, я Вам все даю, что могу и даю от всей любящей души, как быть может никто, никогда не отдавал Вам – ни даже мать Ваша. И помните, что я Вам не свое – а Ваше даю, лишь у Вас взятое. Повторяю Вам, никогда еще я не испытывал такой торжественной уверенности как с тех пор, когда узнал Вас. Как и сколько я страдал, как мучился сознанием того, что я не вправе подойти к Вам, Вы это знаете. И эти страдания не только не сломили меня – они укрепили меня. Я за Вас плакал, сам же, сам я вынес бы и вынесу все, все, что только судьбе угодно будет возложить на меня. Скажите только мне, что Вы стали крепче, что Вам лучше – и ни одной больше жалобы от меня не услышите. И помните, что, если бы вы ничего больше не сделали за всю свою жизнь, что если бы Вам только удалось оживить одного человека, то и это великое дело, из-за которого стоит жить. А чего Вы мне не дали? Все, все, что может только лучший, самый могучий и крепкий человек дать другому. И я горжусь тем, что сумел увидеть Ваше лучшее – Ваше хорошее, славное любящее сердце, что я не просмотрел этой жемчужины только потому, что не было на ней блестящей оправы счастливой и безмятежной жизни. Легко увидеть добро, когда оно, не зная еще никаких испытаний, сияет своим первоначальным блеском. Но это – не добро еще. Оно лишь тогда вправе так называться, когда переплавилось на горниле страданий. И <нрзб> почуялось мне в Вас добро. Пусть жизнь измяла благородный металл, пусть он безформенен, пусть стерлись его красивые узоры – но металл остался металлом. И еще дороже, еще ближе он моему сердцу. И не променяю его я на резьбу поддельных орнаментов, как бы искусна не была работа ловкого мастера... Если бы я мог еще сказать Вам: придите ко мне, я осушу Ваши слезы... Скажите дорогая, не плакать мне? Говорить всегда, всегда твердо? Научить их, этих энергичных людей любить так, как я люблю потом заставьте их глядеть на пытку любимого человека. Что они тогда скажут? А я, я всю жизнь свою так провел, всю жизнь меня это мучило. И, конечно, я бледен и худ, и, конечно, нет во мне грациозности и ловкости их этих ученых плясунов.

Простите, что я слишком много о себе говорю. Невмоготу стало. Хотел молчать об этом, но, когда Вы забыли себе цену, пришлось заговорить об этом. Больше, конечно, не придется возвращаться к этому. Я убежден, что Вы снова поймете, кто Вы – и кто они, и не станете преклонять своей гордой, славной, благородной, умной головы

пред вылощенными и выточенными... не хочу быть резким, хотя трудно сдержаться. Я без негодования не могу вспомнить, что тот, кто должен был преклониться пред Вами с благоговением, дерзнул учить Вас. Того, что Вы знаете, он знать не будет никогда. Ни наука, ни искусство ничего не дадут. Это нужно живьем взять из сердца живого человека. И у Вас это можно найти, нужно только уметь искать. Прощайте, до свиданья – которое можно по обыкновенной терминологии назвать скорым – нужно кончать: нет больше бумаги, а уже час ночи – не достанешь нигде. Я бы всю ночь не переставая писал Вам, так полно сердце и так рвется оно беседовать с Вами, с Вами одной. Жму крепко Вашу руку, ту руку, которую я хотел бы покрывать тысячами поцелуев, если бы имел на это право. Прощайте, дорогая, будьте бодрой, будьте смелой. Вы лучше, в миллион раз лучше всех тех, которые осмеливаются видя Вас думать, что они должны не молиться на Вас, не учиться у Вас, а красоваться пред Вами, никому не нужной, <нрзб>, высокопарной <нрзб>.

Приписки на полях:

1) Соня^[254] прочла письмо, говорите Вы. Ну что ж? [Беды тут нет.] Я б ей сам все рассказал... если бы было что...

2) в Москву больше не пишите. Слишком долго уж идут они: целых шесть дней, ответ вряд ли застанет меня, т. к. буду очень торопиться отъездом в Переверзовку.

2. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

11 августа 1895

[Переверзовка – Киев]

Как грустно смотрит лес и озеро и вся Переверзовка после Вашего отъезда! Я очень привыкла к Вам и поняла Вас лучше и Ваша близость стала мне дорогой. Но *“Les joies sont toujours trop courtes, les adieux sont toujours trop longs”*^[255]. Так сказал Виктор Гюго. А я начала письмо не для того, чтобы сказать это, да как-то само сказалось. Впрочем, я уверена, что это будет Вам приятно, – а чего бы я ни сделала, чтобы Вам было приятно, чтобы Вы не имели такого изнеможенного и угнетенного вида, как в последние дни. Вы сделали меня лучше, чем я была раньше, дотронулись до бельма, которое заслоняло мне часть мира, и бельмо стало проходить, и я стала яснее видеть то, что было мне неясным, что я предчувствовала только, но что, я верю, станет частью моего сердца.

Как жаль, что Вы не могли еще побыть здесь. Я вижу теперь, что каждый день Ваше присутствие доказывало мне убедительней, чем все тома Толстого, что “Царство Божие внутри нас есть”. Я во многом еще не разобралась, но в хаос моей души уже внесен свет и предчувствие несомненного рождения из этого хаоса стройного мира.

И когда Вы будете умирать, то Ваша встреча со мной даст мир Вашей совести, хотя бы Вы ничего другого не сделали в жизни. И как хорошо, что Вам дано делать это “другое” почти везде, где Вы не появились. И если бы не Ваши дела с сукнами, Вы создали бы себе путь в жизни, не похожий на другие пути. Трудный, но без фальши и компромиссов, ведущий к правде. И вот опять отвлеклась от цели письма. Цель его прозаическая. Нужно узнать в редакции размеры гонорара за недавно напечатанный в “Жизни и Искусстве” бессодержательный рассказ – В. Малафеевой “В мае”^[256].

Если Вам не неловко это – узнайте, пожалуйста, и, если гонорар превышает 20 рублей, возьмите излишек и купите на фабрике у Дюта корсет (ценой от 3-х до 5-ти рублей), низкий (короткий) в 5–6 сантиметров. Оказывается, что без него нельзя шить платья. А платье, как Вы сами видели, мне необходимо. Простите за поручение дамского характера. Вышлите его отдельно от других вещей. [*Tout le monde*] будет шокирован, если узнает, что Вы выбирали для меня корсет.

3. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

16 августа 1895

[Переверзовка – Киев]

Зачем, друг мой, столько любви и столько чисто юношеской идеализации? Я не перестану повторять, что это идеализация, и придет время, когда Вы увидите, что я права. И увидите, что я не стоила Вашего чувства и что не взяла из глубины Вашей души, освещенной любовью, то, что считаете взятым у меня. Вы говорите, что я – “Ваша совесть”. О, не говорите так! Эта фраза жгучим стыдом ударила мне в сердце, и еще более убедила меня в том, что Вы любите не меня, а какой-то прекрасный образ, который воплотился для Вас случайно в моей особе.

Вы просите прощения за ощущение страсти, которую испытали в гостинице, когда я положила свою руку на Вашу руку. Мне не в чем Вас прощать. Я не девочка, и я знала, что это так было. Но только я не думала об этом. И это, конечно, моя вина. А оправдание в том, что мне так хотелось Вас утешить. Говорить нежно и ласково я не умею – у меня всегда это звучит как-то насмешливо. И я протянула Вам руку. А потом я почувствовала, что Вы взволнованы. И еще раз я почувствовала это

под гимнастикой в тот вечер, когда мы были у Шлейфов. Тогда я дала Вам цветок никоцианы. И в прикосновении Вашей руки, в Вашем взгляде было что-то, смутившее меня и поднявшее в моей душе опасение за Ваше будущее, за будущее наших отношений. Они должны быть чисты, друг мой, чисты, как взгляд Христа, протянувшего руку Марии. Эта чистота нужна мне, она лучший дар для моей души теперь, и никакая страсть, никакая любовь не дала бы мне того, что дают отношения, подобные нашим. Что писать еще? Известие о М.С.^[257] меня очень огорчило; но я не совсем поверила этому факту.

Жизнь моя та же, что и при Вас, только без философии и литературы. Мало сплю, много молчу, кое-что читаю, с детьми разговариваю больше, чем при Вас. С сестрой Вашей отношения мои стали теплей. Мне жаль ее, жаль до обидности, подступающей к горлу слезами. И хочется ухаживать за ней и баловать ее. Были в гостях у директора. Вчера были в экономии, приехала какая-то Коневская.

II

Мать больная, поблекшая, маленькая, вся живет в дочери. Дочь напоминает хилого и печального ангела. С ее наружностью, и с чистыми прозрачными глазами не мирится ее показная манера держать себя и какая-то печать избалованности, и изысканные туалеты.

В качестве боны, я не вмешивалась в их разговор и вообще, как всегда, уклонялась от общества господ. В экономии скучно и неудобно. По дорожкам валяются перезрелые сливы. Т<атьяна> Г<ригорьевна>^[258] удрученная гостями, С<офья> Г<ригорьевна> – и <нрзб>. Но мне грустно смотреть на них после Вашего истолкования их романа. Митя... Он, подобно Куприну^[259], имеет свойство будить во мне все бурные чувства – озлобленность, неискренность, раздражительность, нетерпимость. И сознание непоправимости моей нечистоты.

Из событий, текущих – сообщу об отъезде фрейлейн. Она плакала два дня перед отъездом. И – что меня ужасно тронуло – когда я спала, утром, пришла прощаться ко мне и облила слезами и осыпала поцелуями мое лицо и руки. Что заставило ее поступить так по отношению к врагу? Герц прогнал ее. Бог будет несправедлив, если после смерти Герца не переселит его душу в тело боны или Соломона Петровича, служащего у другого Герца.

Пишите. В.

4. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

[Август 1895]

Фрагмент письма.

II

А теперь обещайте мне не выдать меня перед вашими и посоветуйте, как быть. Я искала в *papers*^[260] Софьи Исааковны какой-то счет от модистки и в ее письме, не знаю к кому, увидела ее четким почерком написанные слова: “бессовестное поведение В.Г., ее эгоизм и лень...”, больше я ничего не читала, потому что не имею привычки читать чужие письма. Пестрело там еще “ни для Жоржа... ни для Жени^[261]... думает только о себе...”.

Что мне теперь делать? Если ее слова относятся к настоящему, когда я делаю все, что могу и как могу, скрывая и, как мне казалось, удачно весь ад, какой у меня в душе, и все физические недомогания – то мне ничего не остается, как уехать, и скорей, как можно скорей. Я сегодня не могла уже завтракать. Каждый кусок останавливался у меня во рту. Если к прошлому, то я, хоть и не считаю себя бессовестной – но хоть могу понять, как такое представление могло сложиться у нее. А понявши, попытаюсь и забыть. Я была неправа перед нею – но отчего она, такая чуткая вообще, и такая впечатлительная к каждому своему недомоганию, не хотела видеть, как я была больна, как невыносимо мучительно было для меня всякое общество, и не только дети, как я ожидала смерти, уверенная, что при пороке сердце не вынесет того, что в нем происходило, и что, наконец, я успокоюсь. И как я молила того Бога, которого нет, об этом покое. Нет – я не шутя чувствую себя очень оскорбленной, и только большая жалость к ней и отвращение к себе за разные темные вещи, какие есть в моей душе – позволяют мне быть с ней ровной и по возможности скрыть то, что во мне делается.

Напишите поскорее. А что касается до того, что я просила Вас улыбнуться – то Вы не можете представить себе, какое облегчение почувствовала бы я, узнав, что Вы не мрачны уже, что Вы перестали страдать.

В. Малах.

5. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

26 сентября 1895

Воронеж – Киев

Получила сегодня Вашу телеграмму. Вчера написала Вам в Киев. Не люблю повторяться в письмах и потому сегодня отвечу на Ваши вопросы односложно. Сравнительно я здорова, хотя и в нервах. На Италию смотрю как на лекарство и на печальную необходимость. Красоты ее не трогают меня. И будь моя голова посвежее и нервы

покрепче, как это и ничто не удержало бы меня от поездки в Петербург. Но голова моя несвежа и нервы некрепки. И я скорблю об этом ужасно. Тем более, что это отражается на близких мне людях. Я не умею любить их в Воронеже. Я почувствовала себя какой-то ледяной и в то же время недотрогой, раздражительной внутренно, как сто старых дев вместе. Вчера мы долго говорили с сестрой. Это такое любящее, человеческое сердце. Она обвиняла меня в духовном аристократизме, в фарисействе, в эстетическом отношении к людям, в недостатках непосредственной любви к ним. Она права. А между тем, как, скажите, жить без любви к ближнему?

Когда я леглась спать, я испытывала настоящее отчаяние. Что-то бесформенное, белое, липкое обволокло мою душу, отделяя ее от людей и пропитывая отвращением к себе и к жизни. Была ли это усталость, или сознание своего ничтожества, или какая-нибудь психическая болезнь.

Пишите, друг мой, не такие длинные письма, но чаще. Хочу видиться с Вами.

В. Мал.

6. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

29 сентября 1895

Москва – [Воронеж]

Боюсь, дорогая моя, что письма мои принесли Вам мало успокоения. Я слишком сильно сам волнуюсь, для того чтобы можно было скрыть свое настроение в письмах. Писать ясно, глядеть светло в таком состоянии вряд ли можно. А ведь ничто так успокоительно не действует как ясность и светлость души ближнего. Но мы, родная, скоро встретимся, и я, увидев Вас, стану совсем другим. Когда я получаю вдали от Вас тревожное письмо и чувствую, что не могу прийти к Вам – мне кажется, что у меня самого уходит из-под ног почва и приходится делать невероятные усилия, чтоб вернуть себе снова бодрость. И, нужно думать, в письмах отражается эта неровность настроения и она, может быть, удручающим образом и на Вас действует. Но это ведь только оттого, что я не могу прийти к Вам, что Вы далеко там мучаетесь, и я должен <нрзб> делать какую-то бестолковщину, чуждую одинаково и мне, и Вам, в то время когда я мог бы быть с Вами и принести Вам хотя бы то малое утешение, которое дает человеку присутствие близкого друга. Нельзя, родная, всегда быть ровным и спокойным, да и не нужно. Если бы я теперь был спокоен, то это значило бы, что мне все равно, что с Вами делается, что Вы для меня то же, что и все другие люди. Потому не смущайтесь

неровностями, неясностями таких писем. Мы встретимся, и я снова буду тем же, чем был и несколько дней проведенных вместе дадут мне сил и бодрости ждать целые месяцы. Не думайте, что я упал духом – я ужасно боюсь, чтоб Вы так думали; а между тем со времени того Вашего письма, в котором Вы говорили об акации, папе и маме, Мите и т. д., мне каждый раз кажется, что произнесенное мною слово горечи или сожаления вселяет в Вас предположение о том, что у меня опускаются руки. Дорогая моя – это совсем разные вещи. Разве можно не страдать, когда больно – но разве страдать значит отрешиться. Пусть будут какие угодно тяжелые моменты – их избежать невозможно. И не терзаться, когда есть горе нелепо. Но пройдет острая боль и вернется бодрое настроение. Когда приехала С.Г.^[262] и сказала мне, что Вы едете в Киев, потом в Вор<онеж>; а потом в Пет<ербург>, неужели по Вашему мне нужно было, выслушав ее вернуться к диалектике или <нрзб> Канта, хотя Петербург мне тогда казался адом? Я писал Вам, что несколько дней я не мог прикоснуться ни к одной книге, до того времени, пока Кар. <нрзб> не сообщила мне, что Вы в Италию едете. И понятно, что иначе быть не могло. Я сидел часами у себя и все обдумывал, нельзя ли найти иного выхода для Вас, нельзя ли заменить п<оездк>у чем-либо иным, и Кант со всей его философией казался мне тогда таким плоским и лишним. Скажите, родная, как может быть иначе и зачем, чтоб было иначе. Я Вам об этом же Канте расскажу случай и Вы убедитесь, что эта ровность настроений, которой Вы требуете от мужчин есть в конце концов нечто не только не заслуживающее одобрения, но достойное порицания. Кант полагал, что сострадание как чувство, прибавляющее к существующим страданиям еще горе страдающего, есть нечто, от чего человек должен избавить себя как от лишнего бремени. Это он теоретически высказывал. И ему удалось довести себя до того, что через час после полученного известия о смерти самого близкого друга, он уже сидел за письменным столом и работал, а потом – спал, обедал, ужинал и т. д. Может быть с таким характером больше успеешь сделать – в особенности в сфере теоретической. Но разве Вам не кажется это чудовищным? И разве Вы не согласитесь лучше потерять пять дней производительной работы мыслителя, чем видеть в Канте совсем одревеневшего человека? Так невозможно, родная моя. И дело не в том, чтоб постоянно быть крепким и бодрым, а в том, чтоб при всех изменениях обстоятельств оставаться верным самому себе. Нужно страдать от горя, не нужно драпироваться пред близкими в тогу невосприимчивости, не нужно симулировать веселость, когда слезы подступают к глазам – нужно только всегда идти своим путем, не забывая и даже про самые жестокие испытания. Я все оправдываюсь пред Вами – не потому, что мне хочется вселить в Вас лучшее мнение о своей особе – Вы и то гораздо лучшего мнения обо мне, чем я заслуживаю – а потому, что приписываемый Вами мне упадок духа тяжело отражается на вас же самих и вносит в наши

отношения неосуществленные элементы. Вы не можете мне простить той “слабости” и раздражаетесь; а я, не поняв, что Вы были правы в своих упреках – и только основывали их на ошибочном предположении, в свою очередь бессмысленно вскипятился и написал Вам письмо, которое никогда не прощу себе^[263]. Удивительно, родная, как Вы тогда оказались сильнее и выше меня. Вы не только не ответили мне резкостью на резкость, но еще и назвали меня “добрым и верным другом”! И я тогда был так пристыжен и уничтожен вашим письмом и Вашим нравственным превосходством. Ведь резкость так нетрудно писать и Вам бы ничего не стоило ответить мне на мое письмо еще резче. И вдруг Вы пишете мне “добрый и верный друг” и такое славное, доброе, ласковое письмо. И Вы говорите, что Вы не умеете любовно отнестись к ближнему. Скажите, родная, какая бы женщина оставила без резкого ответа такое письмо? В особенности, если бы она знала, что имеет дело с человеком, который за одну ласковую улыбку ее готов простить ей решительно все? А Вы ответили так, как будто Вам до формы, в которой вылилось письмо мое, не было никакого дела. Нет, дорогая, я Вам этого никогда не забуду, я вечно у Вас в долгу буду. Помню, как с дрожащими от волнения руками вскрывал я Ваше письмо в коридоре гостиницы и как оживили меня эти два ласковых, хороших слова... А меж тем, если бы Вы мне как угодно резко ответили – я был бы виноват и я бы пришел к Вам просить прощения. И Вы, такая славная, мучаетесь там в Воронеже угрызениями совести, отчаянием! А другие люди, не смеющие мечтать о том, чтоб сравниться с Вами, спокойно живут, благоденствуют, радуются и считают себя правыми и говорят: “благодарю, тебя Господи, что ты не создал меня и т. д.”. Эта самозванство правоты все дает людям, а Ваше горе, родная, только в том, что Вы не хотите обманывать себя иллюзиями, которые Вам по праву принадлежат больше, чем кому бы то ни было, но которых Вы не хотите и не можете принять взамен абсолютной правды, недостижимой для человека на земле. Если бы уже поскорее нам встретиться! Я глубоко убежден, что пройдет Ваше настроение, но пока мне так тяжело думать, что Вы страдаете одна, без меня. И, если бы мы были вместе – то все было бы у нас общее – и радости и горе. Мне так совестно бывает, что я, не зная, как Вам, могу радоваться и наоборот печалиться, когда Вам весело и тогда я бы от одного вида Вашей радости просветлел. Но ведь наступит когда-нибудь день встречи, придет же понедельник этот и мы свидимся и без конца будем говорить, как во время нашего первого путешествия. Как это будет чудесно. Сегодня уже пятница и понедельник представляется мне конкретнее, и сердце начинает радостно биться в предчувствии встречи. Только как в Киеве будет? Вас станут на части разрывать. Там все влюблены в Вас, и Вы влюблены во многих. И всего три дня! Обдумаем все в вагоне, чтоб уже не очень нас, т. е. меня, по крайней мере, эксплуатировали. Скажите, дорогая, Вы не рассердились на меня

за то, что я нападал на Настю с упреками. Ведь я не по злобе, уверяю Вас. Я бы и теперь с радостью встретил ее, но ведь несправедливость остается несправедливостью даже и тогда, когда она добросовестна. Все-таки, как бы Настя не думала там о том, что она говорила Вам, она коснулась грубо и резко наболевшей раны Вашей. И мне так было за Вас и за себя обидно, и даже за нее, за Настю, досадно. Сверх того, мне казалось, что Вы уж слишком полагаетесь на ее суждения – все потому, что она хорошая. Но разве хорошие – всегда правы? Ведь вот и Работников? Хороший – в нем очень много хорошего – а какую встречу он Вам устроил?! А он хороший, это я Вам говорю; хотя я и крепко злился и по сию пору злюсь на него за Вас и еще кое за что, но никогда не стану отнимать у него принадлежащих ему достоинств. А к Вам он отнесся страшно несправедливо. Конечно, Настя была тоже несправедлива. Но ведь мне и это было очень больно. Особенно потому, что она пришла к Вам с упреками как раз тогда, когда нужно было придти с утешением. Мне бы с ней хотелось поговорить о Вас. Я убежден, что она сама бы пояснила о сказанном. Я так представляю себе Ваши отношения: наступает вечер, у Вас становится тяжело на душе, воспоминания развивают свой свиток и Вы зовете Настю и начинаете рассказывать о себе самые ужасные вещи наполовину из действительного, наполовину из вымышленного прошлого. Настя слушает, верит каждому слову, рисует себе по Вашим словам страшные картины – и судит. Ей и в голову не приходит, что Вы двойко клеветеете на себя: и выдумываете то, чего не бывало и сгущаете краски, передавая то, что было – с одной стороны, и опускаете все хорошее о себе с другой стороны. И вот получается суждение, основанное на собственных показаниях обвиняемого. А знаете, родная, что даже закон, суровый, бездушный закон, который думает о защите счастливых и правых и только иногда вспоминает о несчастных и неправых, даже и закон запрещает считать сознание преступника за доказательство его вины. Ибо закон понимает, что бывают такие случаи, когда измученная совесть принимает на себя бремя чужих грехов. Как же можно Вам доверяться, когда Вы говорите о себе? Ваши показания всегда односторонни и в известном смысле преувеличены. Позвольте мне рассказать о ком хотите историю его жизни – и я представлю его негодяем, не разрешив себе даже ни одного вымышленного факта. А Вы так свидетельствуете против себя, и так всегда подбираете факты, как ни один враг не рассказывает на суде, как ни один прокурор не обвиняет. И Вам нельзя верить. Вас нужно судить, следя за всей Вашей жизнью и ни о чем Вас не спрашивая. Я Вам это неоднократно уже говорил, и всегда стану повторять. Пришли в номер – и помешали писать. Выйдет, дорогая, короткое письмо. Отчего Вы так недовольны длинными письмами? Разве скучно уже слишком? До свиданья, это – последнее письмо: больше не успеет прийти в Воронеж. Не забудьте насчет Курска устроить, как я просил. В

случае чего телеграфируйте. В понедельник почти наверно освобожусь. Во всяком случае в воскресенье я Вам телеграфирую – часов в 5 или 6, т. ч. к вечеру – часам к 8-ми уже будете знать. А пока, до свиданья, нужно кончить письмо и отвечать пришедшим.

Ваш ЛШ

Вам не суждено порадоваться краткости письма моего. Посетители разошлись – всего половина одиннадцатого. Можно еще три листка исписать. Но не пугайтесь, родная. Окончу лишь этот листок – и ни слова, хотя мне так не хочется отрываться от беседы с Вами. Тем более, что это последнее письмо в Воронеж. Что-то Вы теперь, в этот час делаете у себя дома? Одна или с сестрой составляете ложные обвинительные акты и неопровержимые приговоры. Они мне покоя не дают. Если бы уже скорей дано было слово мне, единственному Вашему защитнику пред Вашей совестью! Вы такой <нрзб> прокурор, что с Вами трудно тягаться – Вы всех судей склоняете к обвинению. Но я так радостно возьмусь за правое дело и вырву несправедливо обвиненного из рук ослепшей Немезиды. Хорошо еще, что нам скоро придется встретиться. Воображаю, что случилось бы со мной, если бы я получил от Вас такое письмо из Петербурга. Хоть с ума сойди! Не даром я предчувствовал, что мне придется скакать вслед за Вами в Питер. Ведь там наверное произошла бы такая же история. Вы встретили бы кого-нибудь, наговорили бы про себя всякой всячины – и он бы приговорил Вас к смертной казни, как меня в тот памятный вечер (после свадьбы) М.С.^[264]. Я ведь ничего не рассказывал про себя, только стихи читал, да песни пел, а он мне сказал – что один выход: самоубийство. Поверили бы Вы? Положим, он не надеялся, что я его послушаюсь. Но сказать – сказал и, главное, не разобравши, в чем дело. Он “готовый всегда все слушать и все понимать” как видите иногда не прочь и полезный совет дать! Но уж так странно люди созданы: им всегда кажется, что они проникли <нрзб> в душу ближнего. А ведь это так трудно, что редко удастся. Будет, однако, об этом. Мы вернемся ко всему, что я Вам писал – в разговоре. И тогда выйдет последовательней. Нужно Вас, родная, взять в руки – иначе с Вами беда. Пока не оправитесь, а там Вам меня брать в руки, если охота будет. Немного отдохнуть Вам, немного окрепнуть и Вы всех нас перерастете. И только на это переходное время нужно создать для Вас благоприятные условия. И они явятся. Пока Италия как нельзя более поможет а там еще придумаем: и не дадим, ни за что не отдадим Вас бессмысленному, слепому произволу случая. Это было бы преступлением с нашей стороны, любящих и близких Вам людей. Ваша же Настя, поняв в чем дело, станет для Вас иной. И тогда ее слово принесет Вам бодрость и силу, а не апатию и тоску. Вы не должны падать духом, раз с Вами есть любящие Вас и готовые Вам все отдать люди. Нет жизни без испытаний, дорогая моя.

Испытания тяжелы – но они не бесплодны. И у Вас меньше права отчаиваться, чем у кого бы то ни было. Ничем Вы не обижены Богом. И обострения душевных страданий бояться нечего, они пройдут – и Вы снова будете собой, той, которая умеет всех приводить в восторг обаянием своей недюжинной, честной, искренней, любящей натуры... Если бы уже увидеться поскорее. Есть много интересного рассказать Вам. Но пока язык не поворачивается. Все пред глазами последние строки Вашего письма и Ваше измученное, второе лицо – и я ни о чем ином думать не могу. А встретимся, Вы улыбнетесь мне своей настоящей улыбкой, взглянете на меня своими настоящими глазами – тогда обо всем будем толковать – нам бы пришлось не сутки, а год целый вдвоем ходить. С Вами – живешь и молодеешь, а не стареешь от времени. С Вами говоришь – и учишься у Вас и кажется, не выучишь всего Вашего за всю жизнь. Если бы только Вы понимали, что Вы можете давать и даете собой другим! У Вас такая нехорошая привычка искать только осязательных результатов. Будто бы поэт хуже, чем сапожник – только оттого, что видно, какой сапог, а действие стихов незаметно. Но такова уж судьба лучших людей: они себя считают худшими и завидуют другим, слабейшим. Прощайте родная, завтра жду письма Вашего. Если не будет не взыщите: обеспокою Вас телеграммой. Боюсь, не вздумали ли Вы уехать в Киев до понедельника. Было бы ужасно. Я считаю сутки Вашего общества своими. Увидим. Жму крепко, крепко Вашу руку. Глядите веселей и бодрей. Не бойтесь, родная, все переменится, и мы еще добьемся своего.

Ваш ЛШ

7. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

28 октября 1895

[Остпедалетти – Киев]

У меня к Вам просьба – пришлите мне, как можно скорее 10 рублей. Узнайте на почте, можно ли послать прямо до *Ospedaletti* и вышлите на мое имя и чтоб не было лишних толков – с адресом, надписанным не Вашей рукой. Я поставила себя в невозможно глупое положение, поместив себя на содержание к Софье Исааковне. Это все равно, что стоять с протянутой рукой – обращаться к ней за каждой из мелких надобностей. А между прочим это необходимо почти каждый день – бумага, марки, чернила и т. д. Нужна вся глубина моей непрактичности, чтоб зная ее, зная себя не предвидеть всего этого заранее. Но примите к сведению, Лев Исаакович, что, обращаясь к Вам с такого рода просьбой, я ставлю Вам в непереносимое условие подвести итог всем моим мелким долгам (около 20 р., я думаю) и получить эти деньги из

первого моего газетного гонорара. Если нет, то не присылайте совсем – я обращусь к какому-нибудь другому заимодавцу, менее для меня стеснительному, чем Вы.

Что Вам написать о себе? Никогда я не испытывала такой тоски, как здесь. Как и почему – скучно объяснять. Да Вы, кроме того, и сами знаете. Главные причины все те же, а море, это живое олицетворение вечности, только углубляет и расширяет все тяжелое, что было в душе. Скажите, как по-вашему, должно ли простираť свою любовь к людям до того, чтоб позволить им задевать ваше достоинство? Должно ли “противиться злему”, если зло направлено против вас самих? Что-то я запуталась опять, да так, что в какую сторону не метнусь – везде вижу себя в сетях собственного невежества и бессилия мысли.

Когда море нагоняет свои волны на берег, у меня одно желание – лечь на эту волну и уплыть с ней в самую середину Средиземного моря и видеть только воду да небо. Я не могу и не умею жить с людьми. Если бы был Бог, я бы ему служила, ему одному, безвыходно в каком-нибудь храме, с псалмами и самобичеваниями. Ах, какая тоска, не могу передать Вам, какая тоска – жизнь вообще.

Пишите больше. В. Мал.

8. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

3 декабря 1895

[Остпедалетти – Киев]

Получила сегодня Ваше письмо^[265]. Какая ужасная картина эта “Зависимость”^[266]! Я бы даже не хотела ее видеть. Именно такой картины недоставало мне, чтобы выразить весь ужас тех дней, которые я вижу на себе, на других, на всех людях. Между прочим, я стала так впечатлительна к искусству, как никогда. Недавно в салоне один поляк показал мне фотографию памятников Генуэзского *Campo Santa*. Там один ангел – когда я увидела его, что-то зашумело у меня в ушах, зазвенело, и я почувствовала, что еще минута, и я лишусь сознания. Он стоит у решетки могилы и в лице его, в локонах, в каждой складке одежды написано такое роковое, такое бесповоротное “никогда”, от которого бедное человеческое сердце сжимается ужасом. Целую ночь снились мне эти памятники.

Я послала Вам письмо в Петербург *poste restante*^[267]. Не можете ли Вы прислать мне письмо Венгеровой. Отвечать я ей не буду, но хотела бы знать, что она пишет. Софья Григорьевна писала мне, что она дала очень лестный отзыв и соблаговолила подтвердить, что у меня истинный талант (хотя при “наивных замыслах”). Скажите, что случилось с моей “Ёлкой”^[268]? Ведь скоро Рождество. И еще в “Киевлянине” моя

“Последняя страница”, которую они посылали в Управление по цензуре. Однако, справьтесь о ней, если будете иметь свободное время. И простите, что надоедаю Вам поручениями.

Как я рада буду, если Вы сблизитесь с Настей! Возле нее никогда не было вполне достойного ее мужчины. И был такой, который доставил ей много душевной боли и обиды. Подойдя поближе к ее душе, Вы увидите, что такая молодая, она ранена уже и не смеет быть доверчивой. Но когда Вы узнаете ее ближе, Вы увидите также, что это душа, достойная лучшей участи, чем пропадать в глухом закоулке Воронежа за непосильным трудом. Пожалуйста, напишите, как Вы нашли мою девочку, здорова ли она, хорошо ли ей у С.М. (нет ли шероховатостей отношений, которые при Настиной нервности могут стать для нее пыткой). Как бы я хотела быть теперь в Киеве. Если б было кому заменить меня у Софьи Исааковны, я не задумалась бы уехать отсюда завтра же, или сегодня вечером. Мне очень нехорошо здесь, потому что я не нахожу в себе достаточно любви к Софье Исааковне. Вследствие этого совсем дурные, тяжелые, далекие и напряженные отношения. А дети меня раздражают, как никогда. И сердце болит по целым дням. Когда наступает вечер, я с облегчением думаю о том, что вот еще один отсчитан. А когда настает утро, я встречаю с таким отвращением к предстоящему дню, что не нахожу в себе сил одеваться и вожусь с своим туалетом, как никогда. Кроме того, сердце мое совсем изменяет. И что-то подсказывает мне, что дело близится к концу. Настасию только мне ужасно жаль. Она не переживает меня.

Желаю Вам всего лучшего. Спасибо за письмо. Пишите. В.

9. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

7 декабря 1895

[Италия – Киев]

Я не могла достать в *Cen-Remo* русскую библию. Не сможете ли Вы прислать мне библию из Киева. Узнайте, друг мой, если пересылка недорого стоит, постарайтесь выслать поскорее. И еще раз простите, что беспокою Вас поручениями. Получили ли Вы мои письма? Последнее я писала в очень нездоровом состоянии, и потому оно вышло мрачнее, чем среднее арифметическое моей жизни. Что делаете в Киеве? Как Вам живется? Как идут занятия? Как нашли Настю?

Прочла вчера еще раз “Лукулл и раб”^[269] в “Киевском слове”. Есть место в этом рассказике, которое попадает прямо в сердце. Есть в нем большая искренность и сдержанная негодующая скорбь. И в то же время есть что-то детское, открывающееся хрестоматией, неопытное,

наивное. И всё-таки я люблю этот рассказ, может быть, потому что кроме Лукулла и Тиберия вижу самую дорогую мне в мире душу. А Настя, кажется, не любит этого своего рассказа. На днях я окончила *Cosmopolis* (Бурже)^[270] по-французски. Там есть драгоценные психологические замечания и удивительно поэтические места. Тит Альба, по-моему, по выпуклости изображения и по тонкой поэзии, с какой он обрисован, может сравниться с шекспировскими женскими типами Офелии, Дездемоны, Миранды, Корделии и Джульетты. Сейчас читаю Шекспира. Но больше всего хотела бы я теперь Библию. Я так люблю библейский Израиль и всю эту скорбную и величественную историю народа Божьего. Кроме того, эта книга, несмотря на наслоение позитивизма, не перестала быть для меня книгой из всех книг, чем-то священным и точно сверхчеловеческим. Я верю ей и мне не приходит в голову критиковать ее.

Ну, прощайте, простите за небрежность письма. Больше писать не могу. Для моего сердца это теперь утомительно.

В. Малафеева

10. Варвара Малафеева (Малахиева-Мирович) – Льву Шварцману (Шестову)

1 (13) января 1896

[Италия – Киев]

Друг мой! Сердце у меня перестало болеть, нервы успокоились, и я опять готова терпеть и быть сдержанной и мужественной до конца. И я не знаю, на какие пытки, на какие самые унижительные испытания я не согласилась бы. Но только, чтобы знать, что это продолжится определенный срок – год, два, пусть пять лет. Но пусть потом дорога моя будет пряма и определена и ни один час моей жизни не пропадет даром и все мои чувства, помыслы и желания направятся к одному. А вот этой надежды у меня нет. И это заставляет страдать жестоко, больше, чем от воспоминаний о человеке, разбившем все мои надежды на личное счастье. Бог с ним, с этим счастьем. Я уже не молода и сумею обойтись без него. Но я не умею обойтись без другого – без сознания, что эти долгие дни и ночи, эти мелочи, которые напоминают часы нашей жизни, имеют свой смысл, нужный миру, Богу, какой-нибудь неизвестной Справедливости – или просто Страданию Человеческому.

Вы пишете: – приедете к нам, будем читать поэтов, утешать друг друга... Будет с меня поэтов, будет с меня жизни в кругу любящих меня людей, окружающих меня такими незаслуженными заботами. Поймите же, что душа моя созрела для того, чтоб отдаться миру, но только не знает, как это сделать. И если отдаться – то всецело – иначе я не сумею. Может быть, я ошибаюсь, может быть, эгоистические запросы

еще не раз шевельнулись в моем сердце. Но я уверена в том, что я не свернула бы с дороги, если бы нашла ее. Но я не нахожу ее, не вижу.

Вы говорите: жить для правды. О, конечно. Но это ничего не уясняет для меня впереди. Для инквизиторов правда была в том, чтобы сжечь живого человека. Для экономических материалистов – в изучении по целым годам Спенсера, для того, чтоб убедиться, что *les choses vont par bur chemin comme elles doivent allér*²⁷¹¹. Для Толстого – в непротивлении злу. Когда я думаю – в (обрыв текста).

11. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

2 января 1896

[Киев – Италия]

Недавно, дорогая моя, появилась в “Р<усской> м<ысли>” поэма Шелли – “Эпипсихидион”. Это значит приблизительно “сверхчувственный”, вне мира сего находящийся. Все прочли эту поэму и сказали, что она никуда не годится, что ее понять нельзя, – а то, что нельзя понять не может быть хорошим. Я просил у моих редакторов и цензоров разрешения написать о ней. Не позволили. Даже не дали книжки журнала, чтоб дочитать до конца поэму (она очень велика). Но половину я прочел. Поводом для написания поэмы послужил следующий случай из жизни Шелли. Случайно, во время путешествия по Италии он узнает, что богатый человек заключил двух дочерей своих от первой жены в монастырь, а сам решился на смерть. Одну из дочерей Шелли удалось повидать в монастыре. Она оказалась чудной девушкой. И Шелли полюбил ее и эта девушка полюбила его. Но освободить ее из монастыря оказалось невозможным. И Шелли пришлось уехать, оставить эту девушку вянуть в монастыре без всякой надежды на избавление. Несчастный вернулся домой – но забыть о ней не мог, конечно. Везде являлся пред ним ее образ. Он знал одно – что у нее жизнь отнята, а она – лучшая из женщин, которых он видел в жизни. Обыкновенный, как видите, случай, который большей частью оканчивается тем, что на помощь является время и новая красота и дело улаживается. Героиня остается в монастыре, а герой начинает радоваться новой богине. У Шелли иначе кончилось. Он не примирился с ее несчастьем, не примирился ни на новой красоте, ни даже на возможности покончить смертью со своим горем. Он не мог умереть, пока она оставалась жить. И не мог нести на себе ее страшного горя. Не мог допустить, чтобы такое великое сокровище, как их любовь, могла, возникнув, перестать существовать. Чтоб стены монастыря, вражда людей могли поставить преграду меж ним и любимой девушкой. Чтоб у них отняли то, что было лучшим во всем мире. И он

выдумывает спасение – выдумывает возможность быть разьединенными и любить всей чистотой души и жить этой любовью и никогда не расставаться в мечте с любимым человеком – и говорит, что это – любовь истинная, которая нужна <нрзб>. Что в этом – жизнь, что это иной мир, никому неведомый, но чудный, с которым наш мир, где живут простые счастливые люди и обыкновенные страдальцы – не сравнится. Мир своеобразной, могучей, прекрасной жизни, которую отнять у человека никто не в силах. И какими чудными красками рисует он этот мир, как хороша его возлюбленная. Но, увы! Это – не новый мир, нет – старый, тот где мы все живем. Ни одной черты не прибавить ему к тому, что он здесь на земле видел. И его поэма лишь чудная мечта о том счастье, которое было для него возможностью. Он часто говорит о сверхъестественном, об иной сфере – но все эти слова отпадают, остается чувственное (не в грубом смысле этого слова), остается прежняя сфера. Прибавление такого обмана утешения или утешения обмана, которое заглушает скорбь несчастного. С правдой о своем горе он уже не мог жить. Ему нужно было выдумать Бога, которого у него не было. Поэтический дар помог ему. Он нашел Бога – и забылся, утешился. А Бог был мечта о земном, мечта об избавлении несчастной девушки. И поэма называется “Эпипсихидион” – будто есть возможность иного, неземного общения меж любящими и разлученными людьми... Поэма чудесно написана и если почувствовать, какой скорбью вызвана потребность в мираже, созданном поэтом – она производит потрясающее впечатление. Такое впечатление производит Шехерезада. Все эти чудеса, весь этот самый дикий вымысел, волшебные лампы, танцы, духи – все свидетельствует о том, как несчастен был тот народ, который мог только в области вымысла найти каплю утешения для своих страданий. Зачем я написал Вам это? Во исполнение обещания вести литературную переписку, нет ли? Право – не знаю. Вспомнилось – я и написал. Статьи об этом мне не позволили писать за недостатком места. А мне очень хотелось об этом и об “убийстве” Ускова^[272] написать. – Это “убийство” представляет некоторый своеобразный интерес, но, увы – не позволили. Сейчас испрашиваю разрешения писать о Мюссе и Жорж Санд. Тоже очень наболевшее. Но здесь уже мой интерес. В “С. Ц.”^[273] есть статья Каренина^[274] “История, а не легенда” посвященная знаменитой франц<узской> писат<ельнице> и ее отношениям к не менее знаменитому поэту. Каренин, пользуясь случаем, говорит целую кучу пошлостей о любви, о душе, о бабушках. И мне любопытно было бы подвести итог его болтовне и сказать несколько слов о Мюссе и его ночах^[275]. Не знаю, позволят ли. Эв<енсон> хлопчет в “К. С.”^[276], чтоб мне разрешили раз в неделю в определенный день помещать обозрения. Авось разрешат – тогда хорошо будет. Пока там обозревателя нет. Николаев^[277] бросил – адвокатом стал.

Теперь – о домашних делах. Я не виноват пред Эв<енсонами>. Я их вовсе не избегал. И сердиты они на меня на то, что я оказываю больше внимания и доверия (по их мнению) Насте и Тулову^[278], чем им. Накануне Нового года произошел инцидент, еще ухудшивший положение с Н<астей>. Я выпил с Туловым “брудершафу”, а с М.С. не выпил. Признаюсь, что это было неловко с моей стороны. Но я теперь рассеян и для меня такая неловкость возможна. Теперь меня с Настей (и Тулова тоже) совсем холодно принимают. Не знаю, чем загладить свои многочисленные прегрешения... А я Эв-ов вовсе не бежал. Правда мы с Настей уходили в ее комнату читать, иначе невозможно было: у Эв (Ив.) – дети, гости. А С.М. из этого заключила, что Настя моей наперстницей стала. Да, сверх того она еще не может мне простить, что я не так чту ее супруга, как некоторых других, – напр.<имер> Тулова. Но, ведь невозможно всех равно почитать. А у М.С. за последнее время особенно развилась способность к преувеличенной страстности в речах; я не могу реагировать на его увлечения: в этом проявляется нечто вроде порицания. А он страсть как стал увлекаться идеализмами всякого рода. Недавно даже фельетон написал, в котором связал <нрзб> сквернословить: старинная привычка. Не стоит. Да и до того ли?

О Насте... Я вспоминаю ее слова: “Лучшее дело в твоей жизни, – что ты познакомила меня с Л.И.”. Увы! Я боюсь, что ей придется иначе об этом говорить. Она, кажется, совсем не туда попала, куда бы ей следовало. Она так молода. Явилась сюда с блестящими глазами, с такими *(обрыв текста)*.

12. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Середина января] 1896

[Киев – Италия]

Фрагмент письма.

...когда. Если я согласился взять Настю, то потому, что не мог решиться вслед за одной такой ужасной потерей, понести другую. Я не раз писал Вам, как я привязался к Насте. Думать, что я разбил ее жизнь – было мне невыносимо. И тем не менее наш разрыв был уже решенным делом. Она могла уехать в Воронеж, а я – в Москву (я писал Вам). Но потом все переменялось. Я увидел, что покинуть ее, значит разбить ей сердце. И я покорился необходимости. Не знаю, хорошо ли это или дурно – не для меня, а для Насти. Она все сама Вам объяснит. Теперь она будет со мной месяц или больше в разлуке. Если ей покажется, что она может забыть меня – мы простимся навсегда. Я не стою и того, чтоб иметь возможность работать или жить для другого, дорогого мне, как и Вам ребенка. Я больший грешник, чем Вы. И я знаю, за что казнит меня

Бог. И я даже не смею просить пощады. Но пусть бы он меня одного казнил. При чем же Вы тут, при чем Настя? Почему мною отяготил он Вас? Почему Насте нужен я, воплощение несчастья. Но иначе Бог не мог казнить меня. До встречи с Вами я нес свое горе так, что никто и не подозревал ничего. Бывали минуты, часы, когда мне становилось жутко, страшно. Но потом я забывал все, уходил в себя. Так разве это было наказанием. И Бог наказал меня иначе. И это было ужасно. Он заставил меня погубить Вас. Мучить и терзать Вас. Родная, разве Вы можете понять, какой отрадой было бы для меня возможность протянуть Вам руку? Сказать, что я Ваш защитник, что я Вам все дам, чего может желать себе женщина. Вы этого не поймете, если не были в моем сердце. Еще недавно, когда я вернулся из Москвы и застал Ваши телеграммы, смысл которых я не понимал еще, еще недавно я на глазах у шурина своего рыдал над Вами, как женщина. Теперь я уже не рыдаю, как не рыдал никогда до встречи с Вами. Я застыл, как природа в стужу. Мне бывает еще больно, но я уже не обращаю на боль внимания. Я больше не в силах так страдать. От сильной физической боли человек умирает, говорят. От нравственных мук – сходит с ума. И если бы я не застыл, я бы больше не вынес. Теперь я живу чисто умственной и физической жизнью. Я думаю, сплю, ем, пью – но желаний у меня нет. И это меня спасло. Иначе Вам не к кому было писать Ваши письма, дорогая моя. Я давно был бы где-нибудь в сумасшедшем доме. Но Бог поддержал меня иначе. Он не дал успокоиться, но послал бесчувственность. И за это нужно быть благодарным, если моя жизнь еще нужна кому-нибудь.

Поймите все это, родная, и не упрекайте напрасно ни себя, ни меня. Вы думаете, что Вы мучили меня. Господи – да разве то, что Вы мне сделали есть муки. Ведь одно Ваше ласковое слово – и я все забывал. Так это муки? Это называют муками те люди, которые не знали настоящих страданий. Муки там – где не видно и не может быть конца. А все прочее – не муки; это – боль, но ничтожная, ибо она приходящая. А сколько мне дала Переверзовка – за всю жизнь свою я не имел ни одной такой светлой минуты, какие тысячами вы мне там дарили... Что говорить, моя бедная, дорогая Вава. Это – все наше несчастье, и только – несчастье. Здесь в Киеве негодуют, упрекают меня, Вас, Настю. И никому в голову не придет, как ужасно наше положение. Я не удержался и сказал Тулову, который нет, нет, да и кольнет меня: “счастливый – и умен, и хорош, и красив. А несчастный – и глуп, и гадок, и уродлив”. Так оно выходит. Все убеждены, что они на моем месте уже давно бы все вырешили. Конечно, они ничего не знают. Я сказал им, что Настя к Вам поехала за благословением, что Вы протестуете против того, чтоб мы жили невенчанными и т. д.

Что еще сказать Вам, дорогая моя? Вы не знаете, как это мучительно писать такие письма, как ужасно говорить с тем, кому не слова нужны, но кому ничего кроме слов предъявить не можешь. Эти

письма, что я Вам пишу, они измучивают меня. Но я не могу Вам не писать их. Я не могу молчать, когда приходят Ваши письма. Настя все знает. Она все видела и все Вам расскажет. Можете ей все мои письма показать, я от нее ничего не скрываю. Она знает, каково у меня на душе. Ей отдельно я ничего не пишу. Что ей писать? О себе? Я целые дни пишу теперь статью. Кончил уже и переписываю. Голова идет кругом. В глазах темно. Строки сливаются. Но я писал. Не сидеть же без дела. Сегодня сдаю ее Тулову и дальше буду писать следующую. Что это за статьи будут – все равно. Лжи там нет. И есть, верно, правда. И то – слава Богу. Ну, прощайте, дорогая моя. Привет передайте Насте. Пусть мои письма и для нее будут. А когда я, наконец, узнаю, что Вы <нрзб> от Насти, а Настя от Вас, мне, верно, легче будет писать. Пока я словно в подземелье брожу. Напишите поскорее, и Насте скажите, чтоб она написала. Можете представить себе, как я жду Ваших известий. Поклонитесь Соне и всем нашим. Спасибо им за заботы.

Ваш ЛШ

13. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

17 февраля [1896]

Житомир – [Ницца]

Вот уже второй день я в Житомире, дорогие Вава и Настя. Вчера вечером начал было я писать вам письмо – но грустное настроение охватило меня и я бросил писать. Ведь у вас там и без меня невесело. Утро вечера мудренее – и вот теперь я пишу вам утром – значит письмо должно быть крепким, – даже веселым. Странное дело: общество Работникова производит на меня всегда самое лучшее влияние. Приехал я к нему, больному, измученному, бедному. Кажется, должно было бы упасть духом. А меж тем наоборот. Весь вчерашний день беседовали и все о литературе. Время пробежало незаметно. Только под вечер, когда он спать ушел, мне взгрустнулось и крепко. Я подумал: чего это мы так торжествовали весь день, загадывали на многие годы. Ведь ему плохо и очень. И мне – нехорошо. И вам там, мои дорогие, нехорошо. Можно ли, должно ли при таких обстоятельствах загадывать, надеяться. И пошло писать. Сразу печать мрачности из души на письмо перешла и я бросил писать. Поразительно умеет жить и устраиваться Работников. Средства у него самые ограниченные. Болеет – да как! И ничего. Только чуточку легче станет и он закипает, оживляется и никто не признает в нем вечного мученика проклятого порока. А, если бы вы знали, как терзает его болезнь. Ночью, часа в три я проснулся. Из его комнаты донесся до меня кашель, такой ужасный, такой тяжелый. И это сквозь сон. Он стонал так болезненно, что

казалось, будто пришел его последний час. А на утро он сказал мне, что эту ночь провел он <нрзб>. Представьте себе, дорогие, как он проводит худшие свои ночи! Счастье его, что еще жена у него такая хорошая. Право – святая она женщина. Она теперь беременна – в 6 или 7 месяце. И не держит прислуги. Все сама делает: и полы моет (у них три большие комнаты), и обед готовит, и самовар ставит и все, все, что нужно сама делает. Да еще находит время уроки давать: один платный – четыре рубля в месяц, другой бесплатный: со своей сестрой. А ночью ей приходится каждый раз вставать к нему, подавать что надо и слышать этот мучительный кашель дорогого человека и думать о том, что ждет его. Воистину – святой человек. Мне кажется, что на такую беспредельную любовь способны только женщины. Ей ничего не надо от него. Она только о нем думает, а себя забывает. Мужчины так любить и так отдаваться всецело любимому человеку не умеют. Впрочем – и среди женщин редко встретишь такую. И – что главное – ведь она пошла за него, когда уже он был больным и так ужасно. Значит, знала, какой ужасный крест берет на себя. Если бы Бог послал ей счастья. Если бы здоровье его окрепло. Она стоит того, бедная мученица. Но все-таки у них хорошо. Я совсем забывался. Только ночью, когда я проснулся и услышал его тяжелый кашель, мне не по себе стало. Я подумал о том, что может быть если болезнь разовьется. Так жаль стало мне его. Ведь он не жил еще. И так хочет жить. И столько надежд есть у него. И ведь даровитый человек. Но где-то есть безжалостная судьба. Она подкосит его, если захочет – и никакие мольбы не спасут его. И останется несчастная вдова с ребенком всю жизнь оплакивать печального и несчастного человека. Эх, горе мне, горе! <нрзб>? Мне совестно стало – что я так собой мучился, и о нем забывал. Знаете, дорогие мои, – нужно ближе стать к жизни. Лучше всмотреться в чужое горе, тогда забудешь о своем. Тебе плохо – но ведь многим гораздо хуже. Мы оттого так ужасно горюем о себе, что не умеем понять жизни других. Мы о несчастье больше по книгам знаем, где оно нам кажется и прекрасным и поэтическим. А его нужно в жизни увидеть – во всем ужасе его безобразия. Вот вообразите себе Раб<отникова>. Ему 31 год. А он такой худой, бледный, спина совсем выгнутая, волосы как-то шапкой прилепились к голове от постоянного лежания, глаза иногда так рассеянно-лихорадочно блещут; и кашель тяжелый, от которого, кажется, грудь разорваться должна. Он бодрится – но нет, нет, да скажет: “плохо, брат!”. И ты чувствуешь, что придет смерть проклятая и вырвет его у тебя. А <нрзб> таких <нрзб> нет. Ведь до конца терпел – не сдавался, не уступал. Никогда в жизни еще я так не болел о нем, никогда я еще его не ценил так, как теперь. Я вспоминаю все десять лет нашей дружбы и дивлюсь, безмерно дивлюсь ему.

Боже мой, Боже мой – неужели судьба не смилуется над ним и [не приберет] его так преждевременно?.. И жена останется одна с ребенком. Как она все это вынесет? (*Обрыв текста.*)

14. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

Апрель – май 1896

Карлсбад – Париж^[279]

Фрагмент письма.

...вам классиков – поэтов и прозаиков. Хорошо было бы вам Данте прочесть, Гюго, Дюма сына и русских Толстого, Достоевского, Писемского, Гоголя, Тургенева, Белинского, Добролюбова. И затем – историю. Полезно – истории литературы, искусства и общественных движений. Видите, как много! Когда вы будете опять с нами, я все свое влияние употреблю, чтоб направить вас именно по этому пути. Но напишите все-таки, что вы сами намерены читать: вы говорите, что у вас есть уже программа. Да – еще: непременно пишите. Я знаю, что у вас есть планы. Старайтесь их осуществить. Вам это необходимо, чтобы давать себе отчет в своих настроениях. И затем – не бойтесь бездны премудрости. Она не так страшна. И мне много недостает в знаниях: больше, чем вам, если принять в соображение, что от меня требуется. А я не робею. Не робейте и вы. Бывают грустные настроения – но они относятся к тому проклятому случаю, который наделал столько бед в моей жизни. А помимо этого, я убежден, что еще добьюсь своего, и выведу и вас, и Настю на путь. Но вы, Вава, вы не бегите моих указаний и не вздумайте подчиниться влиянию того круга, который встретится вам в Париже. Там теперь, кажется, и Минский, и Волынский, и Мережковский с супругой – они ездили вдохновляться искусством. Волынский – это просто глупый человек, Минский потерял почву под ногами. Я боюсь, что вы падете ниц, увидав на них панцири и копья современного литературного образования. Помните, что это – пустяки, что Волынский, помимо всего, помимо того, что у него пустая душонка, еще в конце концов круглый невежда. Он знает только заглавия и самые громкие слова. Вам не под силу будет его допрашивать, и он, может быть, и победит вас. Но это не должно вас смутить. Победит вас лишь ваш собственный страх. Вот все, что пока могу вам сказать, не знаю, что еще о подробностях говорить. Спросите – я скажу.

Мои занятия идут сносно. Писать – здесь не пишу. Условия неподходящие. И очень тяжело бывает на душе <нрзб>. Но, вот скоро все уладится, тогда верно начну и писать. А тем временем – подготавливаюсь. Кстати, читали ли вы “Ткачей” и “Таннен” Гауптмана? Они, верно, переведены на французский. Прочтите – вы увидите, что

новейшая литература заключает в себе элементы христианства в <нрзб> большей мере, чем это можно думать, судя по Минскому и Волинскому, этим жалким вырожденкам российской словесности. А с Зудерманом вы знакомы? Вы Верлена читали? У него есть искренность и дарование. Я Насте перевел выбранные места из него. Вот вам тоже три строчки из него (конец стихотворения):

Aimez-moi donc, aimez, quelles que soient les soucis

Plissant parfois mon front et crispant mon sourire,

Ma haute pauvreté plus chère qu'un empire^[280].

Чудесный конец! И все стихотворение хорошее... В последующих письмах, по мере того, как я буду знакомиться с Нитше (он ужасно трудно читается и я с ним много хлопочу), я буду, если вы хотите, и вас знакомить с ним на тот случай, если его сочинения попадутся в ваши руки. А пока – Поклонитесь С.Г.^[281] и г-ну Пети. Напишите, что вы нашли в Париже, каких людей и какие нравы. И встречали ли вы Флексера (Волинского) и какое впечатление произвел на вас этот бумажный арлекин.

Ваш Л. Ш.

15. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Середина июля] 1896

[Берлин – Киев]

Дорогая Вава!

На последние два письма свои я не получил от Вас ответа. Т. е., может быть Вы и писали в Италию, но я сделал непростительную глупость, вследствие которой письма, которые мне были отправлены в Италию дойдут до меня Бог знает когда. Пожалуйста, не пожалейте мне еще одного письма, чтоб мне знать, что с Вами, где Настя и т. д. Сейчас я пишу на скоро. Только вчера приехал в Берлин и еще не осмотрелся даже. Я здесь с матерью. Пробуду, верно, с месяц, с полгода – а затем снова на юг.

Приехала ли Настя в Киев? Как Ваши денежные дела? Может нужно денег? Я теперь могу ссудить. Кстати, если в “Ж и И”^[282] напечатаны мои статьи, то там, верно, собралось рублей 20, 25. Если есть там мои деньги – возьмите их себе. Вам верно, на первые поры деньги понадобятся. Если же денег там нет – напишите мне и я постараюсь Вам сколько можно будет выслать. Но, пожалуйста, напишите. Так досадно мне, что я не получил ни Вашего, ни Настинного писем. Ведь Вы наверное писали, не может быть, чтоб Вы два письма мои оставили без ответа.

Осмотрюсь в Берлине – буду писать подробнее и больше. Авось что новое увижу или услышу здесь. Город очень, очень интересный. Холодно здесь, не то, что в Италии. Но любопытно, все-таки. Побегаю, поищу *fin de siècle*^[283]. Авось разыщу что-нибудь интересное. Эх, кабы я здоров был. Кажись, местечка, не осмотренного не оставил бы ни в одном из городов, <нрзб> мной. А теперь!

Но, ведь мы условились, что волноваться нельзя. Ницше в каком-то> письме сказал, что горе и лишения не принадлежат к “ненужному и неразумному в человеческом существовании”, а *gehören zur Sache*^[284] – будем жить этой верой, которая, быть может, гораздо глубже убеждения, где горе и лишения бессмысленны. Ибо, в таком случае вся жизнь, где всякому дано лишь исчезновение, а вечны лишь утраты – одна большая бессмыслица. И посему, я не хочу жаловаться. На этот раз мне, впрочем, и вообще писать не хочется, но очень хочется получить от Вас весточку. Между прочим, сообщите, не узнали ли Вы насчет статьи Михайловского о Ницше^[285]. Мне это очень нужно. Пока – до свидания. Если бы Вы написали мне подробное и хорошее письмо о себе и Насте! Полегоньку, да понемногу на шаг отодвигаемся друг от друга, что скоро с трудом будем понимать один другого. И Вы, и Настя, так, краткие записочки только присылаете.

Ваш ЛШ

Адрес: Berlin. Poste-restante. Leo Schwarzman

16. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

3 октября [1896]

Мюнхен – [Воронеж]

Сейчас, дорогая Вава, написал письмо С<офье>Г<ригорьевне>. Мне хотелось переписать его и послать Вам. Не потому, что оно так умно или тонко написано, а чтобы хоть раз в ином тоне что-нибудь написать Вам, чтобы хоть раз попросту, как все люди, поболтать с Вами. Боже мой – уже ровно год с тех пор как мы с Вами расстались и еще ни одного простого письма, где бы не было речи о задачах человека и о существовании Бога, я не написал Вам. Но как писать Вам иначе, если Ваши коротенькие, большей частью наскоро написанные письма полны всегда такого отчаяния! Язык не поворачивается говорить о чем-либо запросто! Я уже думал: ведь и Вы, и я – мы ведь не всегда строго, серьезно и торжественно настроены. Ведь смеемся же мы и радуемся. Отчего же все письма носят такой монотонно-угрюмый характер, словно мы разговариваем у постели умирающего. И так мы привыкли к этому тону, что всякий другой показался бы уже почти неприличным. Но ведь мы еще не умираем, живем еще и надеемся, так

<нрзб> уж неприлично немного повеселее поговорить? Мне потому хотелось переписать письмо к С.Г., чтоб прервать этот мрачный тон. А то, казалось мне, я не сумею иначе с Вами говорить, как о смысле страданий, о Библии и т. д. А может быть, этого уже не нужно, об этом уже достаточно говорено и пора уже просто начать жить так как живут люди, когда они чувствуют всем существом своим, что нужно страдать, если приходится так же, как нельзя бежать радости, если они посылаются тебе.

У меня – если я еще так занят этим вопросом – есть свои специальные причины. Я собираюсь писать о Шекспире – а разве можно говорить о трагедиях и не разъяснить всей той спорной путаницы, которую мы пережили за этот год. Но Вам – Вам нужно бросить уже это. Вы чувствуете правдивость жизни – и достаточно с Вас. Не углубляйтесь в философские “почему”, не притягивайте к ответственности Канта и Конта. Они все равно Вам – не ответят, ибо считают свои тяжелые слова об “*Ding an und für sich*”^[286], категорическом императиве, исключаящем возможность всяких сомнений. Так бросьте их – смотрите и чувствуйте по-своему, в ожидании того, когда придет время и само теоретически разрешит Ваши сомнения, которые Вы ведь знаете это – исход должен быть. “Куда идти?”, говорите Вы. Никуда – пока не позовет Вас что-нибудь определенное. А пока – думайте, пишите, читайте, слушайте людей, говорите с людьми – без приемов, без задач высоких – а просто от сердца. Придет время – и Вы свое сделаете, если Вам дано сделать, т. е., если в Вас есть нужные для этого силы. Самое главное – не торопите времена. Этим – Вы убиваете и время, и себя. Слушайтесь сердце – оно Вам говорит правду. Оно ведет к царству Божию. И оно не отклонит Вас от трудного пути, если он предстоит. Оно же Вам не даст пойти и по ложному, хотя бы он с первого взгляда и соблазнял своей трудностью.

Между прочим – я стороной узнал, а не от Вас – Вы написали что-то и отправили в Петербург. Вот видите, какой вы неверный друг! Об этом – ничего мне Вы не сообщали. А ведь я самый лучший наперсник для литературных затей. Может я – “дикий критик” – но зато уж “рьяный” чтец. И грешно Вам, что Вы прячетесь с такими делами от меня. Или Вы совсем меня в духовную особу превратить желаете, и настроены беседовать со мной только о вере и Боге? Так я Вам скажу, что в Париже я был совсем общеизвестным человеком, и был на один шаг от того, чтобы увеселять общество. Право!

Говорят, что Бокль перед смертью воскликнул: “книга моя, книга”. Я понимаю его. Я переживаю такие минуты, когда тоже готов с отчаянием воскликнуть “книга моя, книга”. Но зато бывают и светлые минуты, когда эта книга совсем почти готовой является пред тобой и ты чувствуешь, что еще напишешь ее. Кажется, такая борьба есть кризис, неизбежный в жизни каждого человека. У меня обстоятельства

отодвинули его слишком далеко. Но может быть я еще успею. Пусть это Вам объяснит моменты грусти, которые мной овладевают.

Нитше не читайте. Слышите, Вава, ни под каким видом не читайте. Он Вас уничтожит, измучит, лишит последних сил. Вы найдете в нем Голиафа, которого Вы не сразите теперь. Он огромен этот Голиаф, а Вы потеряли на время то, что принесло Давиду победу. Не искушайте же себя напрасно... Социал-демократы – они попроще: их легко понять. Теоретическую основу их можете спокойно отбросить. Они менее, чем кто-либо держатся своих философских принципов нежели событий исторических и современных.

Вообще здешний экономический материализм не похож на наш российский, самодельный. Здесь и положение вещей иное. В общем социал-демократия – это огромное, неуклюжее, очень добродушное, – но сильное животное, привесившее себе вывеску на вид очень страшное. И атеизм, и материализм и что хотите вы вместите на ней. А на самом деле задачи здешней рабочей партии – вернуть свои права путем политической борьбы, да еще мирной непременно. Страшного ничего и нет. Тем более что эта партия получает все больше и больше официального признания. О философском обосновании этих задач соц. – демократам некогда думать. У них есть символ веры: Маркс. Они его и держатся. Он так продумал свою теорию, что соц. – дем. можно быть добрыми, честными идеалистами и чего хотите и вместе с тем исповедовать материализм. Одно другому не мешает. И с программой их деятельности ознакомиться нетрудно. А с теоретической стороной – Вам пока нет надобности знакомиться. Да вряд ли Вы захотите пройти сквозь горнило теоретических трудностей.

Но напрасно Вы не хотите писать и читать поэтов. В этом Ваше призвание. Нитше и Маркс – Вам ничего не дадут. А Вы можете Марксу дать, если станете писать. Конечно, в письме этого не расскажешь. Но, если Вы будете жить с нами, я надеюсь еще направить Вас. Все-таки, я старше Вас, больше жил и больше видел. Со мной Вам можно было бы Нитше читать. А одной нельзя. “Мне даны ноги, говорит он, не за тем, чтоб ходить, а чтоб топтать, давить”. Ну-с, есть у Вас охота попасть ему под ноги? Он безжалостен: помните это. Потому, запаситесь терпением. Со мной прочтете его и останетесь верить Евангелию. Помните: “все это дам тебе, если падши поклонисься”. – Отойди от меня, Сатана... И еще: “претерпевший до конца спасется”. Во всех книгах Нитше нет и сотой доли того, что кроется в этих глубоких словах – “претерпевший до конца – спасется”. Претерпим же, дорогая, и мы с Вами до конца. Спасение будет. Христос глубоко понимал жизнь. Он не был фантазером, а был глубочайшим психологом. Боже, если бы мы с Вами следовали его заветам. Какой бы ничтожностью показался бы нам Голиаф – Ницше.

Ваш ЛШ

17. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Октябрь 1896]

[Мюнхен – Киев]

Что Вам ответить на Ваше письмо, дорогая Вава? Я слишком знаю, что Вам тяжело и что *Übermensch*^[287] Вам ничего объяснить не может. Да, впрочем, кто на *Übermensch*'а ссылается? Он нужен для истории: когда подводится итог жизни человека, говорится о человечестве, будущем и т. д. Но, сейчас Вы живете, нужно сейчас найти содержание, смысл в существовании. Я когда-то писал Вам, и теперь повторю: нужно найти работу. Работа заменяет если не все, если не многое, то кое-что. Я это по опыту Вам говорю. Даже сравнительно неважная работа: писание статей в “Ж. и И.” о Дрейфусе, банках или конвенции лучше, чем ничего. Теперь я послал в “Ж. и И.” литературное обозрение^[288]. Если его напечатают, у меня будет постоянная работа и я буду немножко доволен. Не думайте, что меня не грызет загубленная моя жизнь! И далеко в прошлом страницы позора, горя, бессмыслицы. Но раз я живу, нужно хоть сколько-нибудь заботиться о сохранении душевного равновесия. Если забыть об этом, можно Бог знает до чего дойти. Можно выйти печальным монахом Ленау – Вы помните еще его? Необходимо собрать все оставшееся мужество, чтоб оградить себя и предохранить от разложения заживо. И единственное спасение, это – труд. Труд и занимает немного, и успокаивает и, наконец, спасает от назойливого любопытства “всех”, которым так приятно копаться в душе непохожего на них человека. Я менее всякого другого восторгаюсь своими статьями в “Ж. и И.”. Знаю, что они написаны заурядно – и тем не менее очень буду рад, если выяснится, что можно иметь постоянную работу в этой газете. Мне этот совет дал пр<офессор> Лейден, и я нахожу, что совет хорош. Если бы я был в России, я бы наверное нашел газету для работы. Вы живете в России, у Вас есть и подготовка и несомненное дарование литературное. Отчего бы Вам не последовать моему примеру? И кажется у С.Г. много литераторов знакомых. Она сможет Вас пристроить, если Вы пожелаете. Пишите хотя бы литературные обозрения. Вы много читали, у Вас хороший вкус: работа подыщется. Тогда и *Übermensch* яснее Вам станет. Когда нервы успокаиваются, ум и сердце сильнее и правильнее работают. Не пренебрегайте этим советом: когда-нибудь спасибо скажете. Вы написали о Бодлере (напечатали Вас? Я не аккуратно получаю “Ж. и И.”: не знаю, что там делается), напишите еще что-нибудь о Верлене или другом французском поэте. В Петербурге охотно примут. Печатают ведь З. Венгерову. А ведь у нее – дарования нет: она одной добросовестностью берет. Во всяком случае, Вава, нужно взять себя в

руки. И единственный к тому путь это тот, который я Вам указываю. Если сравнить Вас со мной – то у Вас больше надежд, чем у меня. Значит, я в праве (нравственно) подавать Вам такого рода советы. И мне тяжело: я чувствую себя в “зависимости” – помните ее? Но я научаюсь забывать ее. Хочу сперва укрепнуть духовно, а потом – потом можно снова посмотреть ей прямо в глаза...

Теперь получаю корректуру своей книжки. Месяца через два прочтете ее. Нечего и говорить, что не удалось все высказать; получилась лишь тень настроений и переживаний. Но таков удел уже наш, писательский. Будете браниться.

С Настей не знаю, что делать. Я не понимаю ее отношений ко мне. Она подолгу не пишет, потом – извиняется. Что это значит? Мне кажется, что она не дорожит совсем перепиской. Ну, а дальше – я не знаю наверное. Может быть, она уже и совсем отвыкла от меня. Это было бы естественно. Как это ни *(обрыв текста)*.

18. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[После 14 октября 1896]

[Берлин – Киев]

Дорогая Вава!

Получил Ваши письма. Спасибо, что похлопотали – и простите, что беспокоил Вас столь <нрзб> поручениями. Мне очень приятно, что удалось найти работу в “Ж и И”. Я намерен аккуратно сотрудничать, если только они не слишком часто станут браковать по нецензурности мои статьи. Правда, теперь у меня сработалось все благополучно. Но <нрзб>, я не могу у них брать столько денег, сколько мне нужно. Мне ужасно, напр<имер>, не хочется брать у них на печатание книжки но, они уже обещали – и эти деньги я возьму. А, если книжка провалится, то на печатание второй (о Нитше) нужно уже будет самому приготовить деньги. Но, коль гонорар из “Ж и И” у меня свободен и я могу, без всякого затруднения предложить пока Вам и Насте причитающиеся мне деньги. Я знаю, как трудно достать работу. Сегодня я напишу в “Ж и И”, чтобы Вам передали гонорар для пересылки мне. Так, конечно, уже не будет неловко. А Вас попрошу непременно прислать мне, во-первых, Ваших “Людей”^[289] (я хотел непременно перечесть: я их очень люблю) а во-вторых мои статьи, напечатанные в “Ж и И”. Мои статьи мне необходимы, чтобы знать, не подверглись ли они цензурным или редакционным изменениям. Я думаю, Вам это будет нетрудно сделать, а меня Вы премного обяжете. Адрес тот-же: *Berlin, poste-restante*. Если выйдет задержка в выдаче гонорара, напишите мне сейчас же. Кажется – все о делах!! Да – еще статьи Михайловского – они очень мне

нужны. Если можете, достаньте. Я их пришлю обратно – можете заверить честным словом. Я аккуратный человек.

А теперь, покончив с делами, можем побеседовать по душе. Грустно мне, Вава, читать Ваши письма. Грустно еще и потому, что Настя заперлась от меня совершенно. Мне кажется, что она не только Вам но и мне не хочет простить прошлого. Если бы она умела рассказать все Вам и мне было бы много лучше. Но, она с каждым днем все глубже и глубже уходит в себя. Слава Богу, что она не поехала в деревню. Может быть, в Киеве она развеется немного.

А Вас, Вава, опять смущает “современность”, “течения” и т. д. Не Нитше ли слова? Как странно <нрзб> легковёрность бедного Нитше. Представьте, у меня – его Заратустра и другие сочинения – почти настольные книги. Ни одного из новых писателей я не люблю так, как его. И – главное – ни у одного из новых писателей я не нашел столько истинного христианского утешения, т. е. утешения основанного не на унижении, а на возвышении человека. Было время, когда я, не успев хорошо узнать Нитше, тоже видел в нем антихриста, врага человеческого рода. Теперь – я знаю многие фразы из его сочинений наизусть и с восторгом повторяю их, как слова Св. Писания. Мне жаль, глубоко жаль, что Вы и Настя так далеко от меня живете. Мне кажется, что, если бы Вы могли читать Нитше, Вам бы легче жилось. После Шекспира – Нитше больше всего нужен современному человеку. Если правда, что трагическая красота – высшая красота, – а это одна из величайших истин – то произведения Нитше – эпоха в литературе. Ни у одного из писателей, я не чувствовал такого глубокого трагизма. Нитше – родной всем тем, которые были за Дантовской дверью, ведущей в ад. Помните Вы надпись над этой дверью?

*“Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.*

Giustizia mosse (двигала)

il mio alto fattore (моего высокого творца).

Fecemi (меня создала) la divina podestate,

La somma sapienza e ‘l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create, se non etterne (до меня создавалось лишь вечно существующее) co io eterno duro.

Lasciate ogne speranza voi ch’entrate”^[290]. Заметьте конец – оставьте всякую надежду о вы, которые входите сюда. И эту надпись начертала *il primo amore*^[291]! Бездна, отчаяние имеет своим источником высшую мудрость, божественную власть. Прочтите внимательно Нитше и вы найдете в его философской лирике оправдание этим словам: объяснение трагического Нитше нельзя читать, как Канта. Он лирик, а не систематик, т. е., он человек, который говорит правду, а не выстраивает систему. Для большинства людей – он чужой. Кто не читал дантовской надписи, тот не поймет Нитше, или поймет его так, как

малолетние дети понимают свою мать. Она плачет – а им нравится жемчужная капля, падающая с ее ресниц. Нитше пишет, а читатель восторгается красотой его языка. Люди – все почти – дети, рождаются и умирают младенцами. И те, которые успевают созреть раньше, чем увидят перед собой роковое видение – смерть, те кажутся всем странными, непонятными, полубогами обладающими мистическим даром творчества. И это творчество – для людей сводится к красивым жемчужным каплям, падающим с ресниц смертного человека. Его лицо, с печатью пережитых страданий, кажется им дивно прекрасным – своими строгими, определившимися очертаниями. Что под всем этим – того они, люди не знают. В Риме, я видел статую Моисея Микеланджело. Могучий, исполинской силы человек сидит в кресле захватив в руку свою огромную до колен, седую бороду. В глазах горечь, в лице – строгость и суровость. Когда я глядел на него, я вспоминал его слова: “не вари тельца в молоке его матери”. Так заповедовал Моисей – и это правило евреи соблюдают до сих пор и в этом правиле видят Моисея, а вне этого правила (и ему подобных иных) не знают Моисея. Я подумал: что было в душе пророка, когда он говорил евреям – и как таки он им сказал. И пророки всегда так говорили с людьми; они все свои переживания оставляли при себе – а людям давали правила, как устроиться, как жить. И до сих пор продолжается то же. Люди берут правила, приказания, распоряжения, запрещения – и боятся всмотреться в ту внутреннюю работу, которая на выточенной, определившейся заповеди оставляет едва заметный след. Так и с Нитше поступают. Возьмут его правило – в той осязаемой и доступной форме, в которой оно наилегче всего предложено – и думают, что они последователи великого несчастливца. Нитше был очень прав, когда говорил, что быть может еще не выросли те дети, которым будут слышны его речи. И Вам, Вава, я скажу – не слушайте домашних ницшеанцев. Верьте себе – у Вас есть право на самость, на самостоятельность в мыслях и чувствах. А “течения”, да еще русские – лубочная работа наших писателей – бросьте Вы все это, забудьте. Разве Минский, Волынский, вся эта братия – писатели?!

Мне много хотелось бы Вам сказать, Вава. Да в письме не вяжется ничего. Во всяком случае, если есть у Вас, о чем спросить и, если Вы еще не забыли, что я Ваш друг – спрашивайте. Судьба разлучила нас, и меня, и Вас, и Настю. Но друзьями мы можем, должны остаться. Мне больно, невероятно больно думать, что и в этом мы не победили судьбы. Но, может быть, победим...

Привет Насте. Написала ли она мне?

Ваш ЛШ.

Сообщите подробно мне о своих делах. И непременно пришлите в Берлин “Людей” и мои статьи.

Вы можете просить деньги в “Ж. и И.”, т. к. я уже написал письмо в редакцию. Просите не для себя, а для меня, ибо я написал туда, что Вы

деньги перешлете мне. Скажите им, что я скоро опять напишу и пришлю для них кое что.

19. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Середина ноября 1896]

[Берлин – Воронеж]

Фрагмент письма.

...до сих пор Настя все знала. Если Вы говорите о письмах из Ниццы, то ведь, их содержание ей было известно – это я увидел сейчас же, как она приехала. И теперь ничего не должно быть тайной от Насти, дорогая Вава. И она не должна ничего скрывать. Но я уже писал ей, что она мне многого не говорит – и это нехорошо. Я был виной тому, что Вы научились иметь тайны от Насти. И это очень горько. Настя за этот год перестала быть девочкой – и стала женщиной. Она много и прежде выносила – но все это оказалось ничтожным пред тем, что в этом году она вынесла. Теперь – она лучший друг для Вас, который все поймет, что Вы ей скажете. Я хотел обереечь ее от горя и накликать на ее голову самую ужасную беду, какая только могла быть. И знаете, что, дорогая Вава, может быть – это ее счастье. Если бы она не пережила всего, что ей пришлось из-за меня пережить, она никогда бы не была той, кем будет она и теперь. Вспомните в нее лучше – она Ваш истинный друг. Приблизьтесь к ней – и тогда Вам станет ясно многое, что Вас теперь смущает. Она Вас очень любит, я в этом не сомневаюсь. И у ней Вы найдете то же, что у меня. Она называет меня своей ученицей – но она мой товарищ. Она, я это чувствую, не сломилась под бурей, а окрепла, и для нее начинается новая эра. Вы предсказали ей <нрзб> когда сказали, что встреча со мной ей будет полезна. Теперь, дорогая Вава, одно я могу Вам посоветовать. Вы едете к Насте – сблизьтесь с ней, сделайте ее своим другом и наш тройственный союз получит смысл. Поймите это, что только Ваша близость с Настей может все и Вам и ей выяснить и тогда смысл моего совета Вам будет заранее ясен. А относительно меня, столько пережившим и с Вами, и с Настей – знайте, что этот союз иным быть не может. Я не могу Вас забыть никогда, ибо Вы были первой, отозвавшей меня так грозно с избранного мной ложного пути, Настя же в тяжелое, самое тяжелое время моей жизни утешала меня лаской и приветом. Вы обе сыграли такую роль в моей жизни, что мы навсегда связаны. Чтобы ни случилось в моей жизни – началом его – Вы и Настя. Видите, Вава, так должно быть. Мы сознательно должны решить нашу судьбу, мы не должны позволить кому-либо из нас погибнуть. И Вы нам дороги, т. е., мне и Насте; и Настя – мне и Вам дорога. Так нужно же вдуматься в положение, если

возможно, не дать случаю определить наше будущее, а сознательно подчинить его себе. Мне кажется, что это – ответ на Ваше письмо, если я его правильно понял.

О себе много писать не приходится. Я работаю по целым дням. Вот уже полтора месяца, как я живу совершенным отшельником. У меня решительно ни одного знакомого нет – да мне и не нужно. Пишу о Шекспире. Вчера окончил главный отдел – о Гамлете^[292]. Но еще много работы. Нужно о Бруте и Лире писать. Если бы мне удалось еще с месяца полтора или два не болеть, т. е., не иметь тех ужасных припадков, из-за которых я покинул Мюнхен, – статья готова. Правда – она не достаточно сильно написана будет, ибо я все болею, да болею и не могу работать энергично. Но – так лучше: больше вероятности, что напечатают. А уж во второй статье, о Нитше, я попытаюсь решительней высказаться. Жаль, что нездоровится, но слава Богу, что не очень мучительные припадки. Все-таки работать можно.

Сегодня и Насте напишу. До свидания, дорогая Вава. Помните, что будет еще все и что нельзя падать духом. Самое великое слово, которое я когда-либо встречал это: претерпевший до конца спасется. Жму крепко Вашу руку и прошу писать подробнее и чаще.

На днях мне пришлют денег, если можно будет – и Вам урву немного.

<З слова нрзб> – и я бросить его не решаюсь.

Ваш ЛШ

Ad: Lutsow str.18. I of.

20. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Конец ноября 1896]

[Берлин —?]

Вверху страницы:

Если имеете подробные сведения о Насте – сообщите мне. Я ее письмам не очень верю, да она больше “вообще” пишет.

Уже иду за утешением. Мне иногда хочется сказать кому-нибудь горькое слово – и нельзя. Всем самым так тяжело! Но почему-то теперь мне кажется что Вас мои откровения не смутят, что Вам даже отрадно будет немножко за меня погоревать. Насте я боюсь об этом писать. Она так пугается за меня. А меж тем, пугаться нечего. А так только, как делают старые люди, покачать головой... *Una furtiva lagrima*^[293].

Я уверен, что выбьюсь на путь, но помучиться еще придется, и, кажется, много. Главное, я чувствую, что так нужно. Пережитого – мало, нужно еще, еще и еще.

Вам кажется, Вава, что довольно?! Вы еще не знаете, чем измеряется это “нужно”. Но, не огорчайтесь, Вава – еще будет и праздник на нашей улице. Если бы Вы только пока Куно Фишера^[294] бросили! Ведь моя лучшая надежда – это будущая полемика с Куно Фишером и всей философской компанией. И в этой статье я начал с того, что философом не может быть ученый. Гейне говорит, что Кант отрубил голову Богу. – И он же продолжает, что об истории жизни К<анта> ничего нельзя сказать, ибо у него ни истории, ни жизни не было. Поймите, Вава! Человек не имевший ни истории, ни жизни судит и осуждает Бога и жизнь которой он не знал! Гейне злодей. Ему все равно, как он погубит Бога: он еще не знает, к чему его самого это приведет. И у Канта нет ни одного слова правды во всех его сочинениях. Все иностранные его слова, вся ученая архитектоника это лишь украшение грубой неправды. Я еще в прошлом году ссорился с Работниковым за Канта. Но тогда я себе не доверял. А теперь я много думал и могу твердо сказать Вам: бросьте Канта, как сказал бы Вам: бросьте кабалистические книги, если бы ими занимались. Гейне, Шиллер, Шекспир, Гёте, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Гоголь, Белинский, даже В. Малафеева – вот учителя, вот философы. Понимаете, дорогая Вава. Нитше – иное дело. Он говорит тоже неправду – ибо повторяет за наукой почти все ее нелепости, вернее одну большую о следствии и причине. Но “*Art*” т. е. манера говорить эту неправду заключает в себе столько поучительного, что только о нем и думаешь. Вот строчка: “о солнце! Ты, спокойное око, без зависти глядящее даже и на величайшее счастье”. Видите правду и неправду? Зачем без зависти глядеть на величайшее счастье? Завидуй великому счастью – хотя бы Ромео и Юлии, Фидия, Рафаэля. Счастье нужно желать себе, солнце же не знает желаний и неизменно тысячи лет совершает свой обычный путь. Но, вместе с тем, в этой фразе Вы видите, что Нитше принужден безвыходностью положения своего так говорить. Он думает, что навсегда отнято у него счастье и только презрением остается ответить своему горю. Но тут и ошибка, Вава. Безвыходности – нет. Все лучшее, существующее в мире – дано будет каждому человеку. Суббота – для человека, а не человек для субботы. Все это у Нитше видно, если уметь под строчками читать его настроения и мысли. А его только так и нужно читать: угадывая по содержанию написанного – источник т. е. душу писавшего.

Я опять в литературу ударился! Скверная привычка. Я немножко одичал теперь. Уже два месяца (с тех пор как я покинул Париж) я живу совершенным затворником. У меня ни одного знакомого нет и думаю я лишь об одном: о Шекспире! Так что я сейчас на него всякий разговор свожу и мне страшно, если другой не понимает, что только это – верно.

Напишите мне подробно о Водовозовской^[295] газете. Когда она начинает выходить и где? Ежедневно или еженедельно? Кто сотрудники? Вернее, лит. обзор.<еватель> – Николаев? Отчего Вы не хотите у него работать? Найдется, ли там, что нибудь для меня и Работнин.<икова>? Это очень важно. Со статьей еще что выйдет, а нужно зарабатывать деньги, ибо терпению родителей может наступить конец. Пока я болен, они, конечно, на все готовы. Но, если я выздоровею, мне, верно, будет тяжело брать у них деньги. И Раб<отников> нуждается. Моис. Сол. и С.М. тоже принимают участие в ней? Вообще, что они поделявают. Я уже целую вечность не имею известия о них.

Посылаю Вам немного денег. Пока, больше нет. Если будут, вышлю еще.

Ну, до свидания, дорогая Вава. Не падайте духом, не унывайте. Авось будет лучше, чем было. А, если не будет лучше – то нужно хоть самим лучше стать, чтоб работа судьбы даром не пропала. Вы не чувствуете, как над Вами хлопочут ее заботливые слуги? Это они выковывают нового человека, а не крадут счастье и радости Ваши, как у Метерлинка. Видите, есть многое, что не снилось учености Горацио. Крепко жму Вашу руку. Ваш ЛШ.

21. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Середина декабря 1896]

[Берлин – Киев]

Фрагмент письма.

Вверху страницы:

Лескова я не читал.

...его всякий. Вот Вам будет начало настоящей философии. Конец ее будет тогда, когда Евангелие и Шекспир будут обязательны для всякого философа. Вы не знаете еще, что это значит. Может быть Вам станет ясно, если я скажу Вам что эта роль, которую хотела присвоить себе наука принадлежит поэзии, ибо поэт есть мыслитель и человек. А философ мыслитель, но не человек. В Шекспире – откровение. Вся новейшая поэзия вытекла из него, как из вечного источника. Много его в <нрзб>. Но до тех пор, пока он не будет признан старшим, нежели вся наука, с философией вместе, он еще не оценен. Вы говорите, что не сумеете, не зная Канта, “спорить”... А не зная Шекспира – “они”, “все” “спорят”, убеждают?! И Вы, не зная Ш<експира> не чувствуете пробела. Вы видите, я не могу спокойно говорить об этом. Вава, у меня

<нрзб> философией и наукой. И если только здоровье у меня будет, я об этом всю жизнь свою буду говорить и тоже, как Нитше, найду слова, которые услышат глухие. Теперь я уже пишу вторую половину статьи и приближаюсь к Лиру.

Если не сломясь, если Лир у меня выйдет, вся статья будет стоять чего-нибудь и я не побоюсь так ее окончить: “наука сделала законом для жизни человека”, “случай” кирпич, падающий на голову человека имеет объяснение, а разбитая голова, и гибель человека это “случай”? Так говорит наука. А мужики говорят, что гром от того, что Илья пророк по небу катается. И Илья пророк мужика ближе к истине, чем “случай ученого”^[296]. Вот Вава, чему научил меня Шекспир. Ищите и Вы этого, что вернее Канта. Вся наука, вся литература уже есть в Шекспире, ибо в нем вся жизнь. Нужно только его читать, а не Золя, и понять, что Золя, с Ницше, с Метерлинком – это строчки из великой книги, “светской Библии”, Шекспира. В письме не скажешь, может и в статье этого не скажется. Не знаю. Я перехожу от отчаяния к надежде, и от надежды к отчаянию. Никогда в жизни я не переживал тех волнений, которые теперь [стал] понимать конкретнее знаний слов. А Вы хотели понятней?! Это невозможно и я рвал бы на себе волосы, если бы Вы поняли, ибо это значило бы, что Вы стали несчастным человеком. Если бы Вы знали, как огорчен я тем, что понимаю его! Верьте мне, что, если бы я его не понимал, то было бы мне гораздо лучше. Работников сильно от него пострадал. А мы – “мужчины”!

Вы взяли Лира. Чудесно, Вава. И еще: если хотите философии – читайте Гервинуса^[297] о Шекспире. Он, Гервинус, немец (есть и в русском пер<еводе>) и поэтому немножко обесцветил великого поэта. Но поэтому же он, хотя несколько отвлеченно, с категорическими императивами все же почувствовал (*обрыв текста*).

22. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Вторая половина декабря 1896]

[Берлин – Киев]

Фрагмент письма.

...всего правдивее в “философском” смысле. Поняли? Я так убежден, что Вы теперь, читая эти строки, понимаете их как некоторую очень тонкую метафору и что нет человеческих сил заставить Вас увидеть в них не иносказание, а простые слова, которыми объясняется напр. существование северного полюса, и также спутников Земли, что готов бросить от досады письмо. Помните, что я раз навсегда бросил все метафоры и гипотезы, самые святые и благочестивые, и только тогда понял, что значит святость и благочестие. Но, меня берет

нетерпение. Я знаю, что это ни к чему не поведет и что в конце концов Вы все же мои слова примете за метафору, и потому перейду к другому предмету. Я получил Ваши стихи и рассказы. Спасибо. У Вас несомненное литературное дарование. Но, что портит Ваши рассказы, это недостойная Вас боязнь жизни. Идеализм Ваш, Вава, – это Ваша литературная болезнь. Зачем Вы мечтаете о возможностях нравственного величия во второй половине Голицына. Вам нельзя вовсе еще братья за эти темы. Прочтите ка Шекспира! Нигде, ни одного намека на идеализм, одна голая правда и сколько правды! Каждая строчка полна ею. И тем не менее столь блестящего оправдания ни у одного писателя еще не видела жизнь. Отчего Вы не рассказываете правды, как “в мае”, в “Людах, которым нечего терять”? Не бойтесь ее. Байрон в Дон Жуане ужасные вещи говорил! Тэн осудил его за это, а я готов ему и Гейне руки за это целовать. У Гейне есть такое стихотворение: передо мною мать и дочь. И та, и другая хороши собою. Дочь – своей невинностью, мать опытностью, придающей столько прелести любви. И я, глядя на них, стою, как мой старый товарищ меж двух вязанок сена, и не знаю, к которой потянуться. Поняли? Вот так надо писать! Замазывать и затыкать трещины нельзя. Нужно сквозь них правду увидеть. А Вы больше всего боитесь правды и ищете для Ваших читателей гладкой лжи! Ложь не ценна. Вот у Вас ночь побледнела от страданий и скорби и улетела в окно, а девушка осталась одинокая и безутешная. Вава – это неправда. Ночь глубже заглянула в душу девушки, в ее прошлое и будущее, и не сострадание ее охватило, а иное чувство. Сострадание! Я ненавижу его. Это – милостыня <нрзб> богача. Понимаете? Богач не знает, что нужно бедняку и бросает ему грош. А бедняк сам богачом хочет быть, хочет, чтобы его эта <нрзб> поцеловала и отдаст ей все свои гроши за поцелуй. Ночь вздохнула над бедной девушкой! Ведь это ужасно, оскорбительно. Бедная девушка сама хочет вздохнуть над ночью. Если есть Бог, то как же я примирюсь с тем, что Бог – не я, сказал Нитше. И как же я примирюсь, что эта девушка приняла милостыню вздоха от ночи?! Эта девушка, как и все измученные и страдающие люди, не умирает, а растет. Загляните в нее поглубже, и Вы это увидите. Увидите, что ей нужно и почему она терпит. И в ее муках Вы найдете смысл. Тогда – вы пожмете ей руку, как товарищу, а не бросите грош сострадания, как нищему. Вот Вам образец: Христос и мытарь. Это – не мечта, а реализм, о котором не смел и помышлять Золя. Опять боюсь, что все мои слова будут приняты Вами за метафоры. Наверное, нечего и говорить! До тех пор, пока не переменится атмосфера, люди не будут верить в существование чистого воздуха. И во второй раз нужно переменить тему. Давайте о делах, а не о литературе говорить. Тогда – скорее пойдем друг друга. Поклонитесь от меня С.М. и поздравьте ее. Бог благословляет! Что вообще у них слышно. Чем они живут? Где М.С.? От Насти я имел письмо. Я не понимаю что у нее там делается. Письма

странные приходят, в которых я не могу разобраться. На Рожд.<ество> она едет домой. Увидим! Как Ваши денежные дела? Что у мамы есть деньги, нужно ли ей? Пожалуйста, Вава, не скрывайте от меня правды. Я могу, если нужно, достать денег. Вообще, не забывайте, что деньги – самое брнное благо и что стесняться по поводу их – о них не имеет смысла. Напишите непременно, Вава. Поклонитесь и Тарасовым. Хотя они мне верно не простят моего поведения никогда.

Что делать?

Ну, до свидания, Вава. Старайтесь быть здоровой и бодрой. Обо мне не беспокойтесь. Я работаю, как могу. Много написано. 1-го февраля (ст. ст. 15 января по-руск.) кончу и поеду в Рим к Р.<аботникову> Статья не будет хорошей. Я все время болел и это легло печатью. Но беды в том большой нет. Лишь бы напечатали. Вторая, надеюсь будет лучшей. А не напечатают, буду писать Водовозову, если бы только он меня как лит. кр. принял. И полегоньку учиться, работать. Придет мое время. Жму крепко Вашу руку.

Ваш ЛШ

Вверху последней страницы:

Что Николаев, Щавинский^[298], Тулов? Напишите, пожалуйста.

23. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

14 (26) декабря [1896]

[Берлин – Киев]

Дорогая Вава!

Сегодня 2-й день здешнего рождества, т. ч., деньги (25 р.) могу выслать только завтра. Но завтра непременно вышлю, т. к. у меня они готовы. Чтоб не забыть – еще несколько слов о делах. Получили ли Вы что-нибудь из “Ж и И” и что получили? Мне следовало 25 р. Если Вам не все заплатили, сообщите мне. Я получу остальное. Затем – что это за “редактор” в “К. С.”, которого нужно пугать и который держит в портфеле статью, уже ставшую анахронизмом? Обзорение октябрьской книжки “Р. М.”^[299] уже теперь поздно печатать, тем более что в нем в гадательной форме говорится о ноябрьской, тогда еще не появившейся, но теперь уже всеми прочитанной книжке? Мне теперь уже нечего писать ему. Эта статья пропала. Но, если он хочет, чтоб я сотрудничал дальше, т. е. если я ему нужен, то ему бы следовало передо мной извиниться. Я прислал статью своевременно. Он же

додержал ее до настоящего дня, когда она уже не годится для печатания. Вы говорите, чтобы я ему написал. Но, что писать, когда я знаю, что это обозрение уже запаздывает. Напишите мне, кто теперь редактор "К. С." и кто сотрудники...

Вы об "*Übermensch*" говорите?.. Это тяжело, очень тяжело слушать. И у Нитше "*Übermensch*" был крайним средством, последней фикцией, которую он мог противопоставить своей несчастной судьбе. Хорошо летать выше других людей по доброй воле, когда можно многое выбирать из многого. Я надеюсь, что Вам еще нет надобности прятаться в "сень уединений", как это сделал Нитше. Вот поедете в Петербург. Авось там найдете свою судьбу. Издание рассказов и стихов я одобряю. Только непременно напечатайте "в мае" и "Людей". Это лучшее, что Вы написали. И еще мне нравятся Ваши "Облака". Т. е. на мой взгляд как раз те вещи, которые наименее всего одобряете, делают Вам наиболее чести. Выступите пред всей Россией – авось Вас заметят. А нового ничего у Вас нет? Не падайте духом. Если бы Вы поработали, то, я уверен, у Вас бы вышло из-под пера еще что-нибудь очень интересное, чем Вы могли бы положить начало своей новой литературной карьере. В "*Übermensch*" и предоставьте уже записываться тем, которым "нечего терять". Теперь Вы устали, но подбодритесь, оправитесь и снова, может быть, улыбнетесь жизни. Боже мой – как все странно складывается на свете. Вот я представляю себе разных читателей Ваших "Людей". Одни говорят: "красиво". Другие – "туманно". Третьи – "печально". А кому пришло в голову задуматься над тем, откуда пришли эти бедные "Люди", что видела и слышала та девушка, которая их написала? "Произведение искусства" их забавляло, трогало, настраивало на разные лады и на все это они себя считали вправе, заплативши пятаки за номер газеты. И все были убеждены, что "поняли" Вас... У меня пришла охота писать письма. Не знаю, почему. Или очень уж я отупел от своего лечения (я лечусь – и самым возмутительным способом: усиленным питанием) или оттого, что в письме слово скажешь. Но, когда получаешь известия из дальних краев, называемых родиной, сердце каждый раз болезненно сжимается. Из дому тоже ничего хорошего не пишут. Вы мечтаете об *Übermensch*'е, Настя худеет и тоже верно, на свой лад мечтает об *Übermensch*'е. А я здесь сижу и даже уже не пытаюсь вмешиваться во все эти дела. Знаю, чувствую, что бесполезно. И не только потому, что далеко. А еще и по той причине, что малое людям не нужно, то малое, которое я могу дать, а многое – где его взять? Да, что об этом говорить. Вы и сами, верно, знаете.

Я теперь себя чувствую лучше и, признаться, со своей жизнью примирился бы, если бы уж кончилось лечение. Я все-таки, сравнительно, еще привилегированный человек. И, затем, как-то умею жить книгами, если нет другого. В конце концов, вероятно, писательство, если ему отдаться, наполняет существование. В прошлом

году, когда я работал, я все забывал. Хорошо ли это, или дурно – но, все же, выжил. Если бы я теперь мог работать – писать, как думал, о Нитше, все было бы хорошо. Но теперь я – болен, а весной, укрепившись, примусь верно за писание. Хотел бы писать в газеты, да вот все не ладится. В “Ж. и И.” я больше не посылал статей, ибо у меня есть только журналы, а газет нет. А “К. С.” тянет. Пожалуйста, узнайте окончательно, нужен ли я “К. С.”. Если нет – то опять я начну писать в “Ж. и И.”. Там, кажется, обозреватель нужен.

Поклонитесь Софье Григорьевне. Она на мое последнее письмо не ответила мне – не знаю, почему. Что она поделявает? Вы в Питер едете с ней? В добрый час! Там Вас будут угощать российским декадентством и российским же материализмом... Что лучше? Не знаю. Кажется, материализм. Там хоть искренность есть. Не в философии, конечно. Русский человек в молодости к философии совершенно равнодушен. А в старости, если не собьется на путь философской болтовни, *à la* Соловьев, то доходит до безумия, вроде Гоголя.

Воображаю, каково будет Вам в Питере, меж этих сцилл и харибд. Куда Вы повернетесь, в какую сторону? Волынский будет там, и Минский, и Каменский и все эти люди, которые философствуют, когда им хочется немножко аплодисментов...

Но, все же перемените атмосферу – и это хорошо. Будете из Питера писать мне? Наверное нет или так летучие листки присылать... А интересно было бы все подробно знать.

Отчего Настя мне не пишет? Она, вероятно, не получила моих писем.

Ваш ЛШ

Непременно напишите о “К.С.” и “Ж. и И.”

24. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

11 января <18>97

[Рим – Киев]

На этот раз, дорогая Вава, не сразу ответил Вам. Теперь у меня гостит сестра Фаня; я уже не так свободен, как прежде. Да и сверх того, Ваши письма отбивают всякую охоту и у меня к писанию. Пришлете маленький клочок бумаги – что можно ответить? Вы говорите, что я “все” о Вас знаю. Но ведь и Вы “все” обо мне знаете. Философия – я уже ее на десять ладов пересказал Вам. Ведь живем же мы где-нибудь, и Вы, и я – отчего же для писем нет иного материала, кроме теоретических рассуждений? Если бы мы встретились, то неужели Вы бы не нашли, что сказать мне, кроме того, что я знаю “все”?! Может быть, так бы оно и было, но в таком случае, Вам бы и мои

разговоры не нужны были. В конце концов, по-видимому, пространство и время делают свое дело: обращают близких людей в чужих. Я не хочу упрекать Вас. Упреки – это то, чему бы, собственно говоря, не следовало и существовать на земле. Но закрывать глаза на действительность тоже не следует, ибо все равно она дает себя знать, да уже и дала себя знать в Ваших письмах. Дни идут и стынет кровь – помните, у Лермонтова? Мы все дети, не умеем без боязни ни ненавидеть, ни любить. Поэты умнее нас: где мы не смели признаться себе в правде, там они говорят правду. Где мы ничего не различаем, там они все видят...

Но переменим материи. – На днях я еду в Рим, к Работникову. Там буду отделять и переписывать статью, которую третьего дня окончил, буду смотреть на Аполлона Бельведерского, Моисея Микеланджело, голубое небо, желтое лицо Работникова и размышлять. *Philosophie* <2 слова нрзб>! Раб<отников> бодрится в письмах, но, кажется, что ему скверно. Он тоже философ по неволе. Вообще, плохо дело, если приходится философствовать на бумаге только. Хорошо философствовать поступками. У древних вовсе “ученых” *an sich*^[300] не было. Сократ – на что мудрец – был и солдатом, и политиком и чем хотите. Философом он был после всего. У нас только развелись ученые по призванию. Но, верно, это не надолго. Люди сообразят, что провести всю жизнь в созерцании <нрзб> *an sich* так же нелепо, как и всю жизнь тачать сапоги. И то где философами будут лишь те, которые подводят итоги своей жизни, как Сократ. Так следовательно – старшие будут учить младших. А теперь в 18 лет – мы уже “учим”. – Когда еще нам учиться надо!

От Насти получил несколько толковых, но грустных писем. Каждый крест тяжел. Она не может приладить свое бремя к плечам и ей все больно и больно. “Объяснять!” ей – мне уже невозможно. Она вправе сказать, что не хочет слушать эти объяснения, хотя и не говорит этого. Из деревни писала мало, но из Воронежа стала писать. Там она несколько встряхнулась. Вырвать бы ее из деревни! Если статью напечатают (лютая надежда!), у меня будут деньги и тогда все переменится. Но, если не напечатают, тогда – плохо. Не знаю, что буду делать. Есть надежда на переводную работу, – но <нрзб> очень слабая.

В Италии будет хоть тем хорошо, что, тепло там. Только с Р<аботниковым> ссориться из-за философии будем. Он заранее осудил мою статью! Но все же я рад, что еду в Рим. Если бы только <нрзб>: не люблю <нрзб>.

Напишите подробнее о себе, еще раз прошу Вас, хотя знаю, что просьба эта тщетна.

Адрес мой: Roma, Italia, Via Veneto № 79. Case Natili Signore

Rab. для меня. Пишите – хоть будем знать друг о друге, что мы еще живем на свете.

Ваш ЛШ

25. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Июнь – июль 1897]

Вико – [Киев]

Давно не писал я Вам, дорогая Вава. И, думаю, Вы не очень об этом скорбите.

Raison d'être^[301] нашей переписки все больше и больше терялся, я не знаю, что и как Вам писать. Ведь мы так давно не виделись! Это много, много значит... Но все-таки порывать не надо. От времени до времени необходимо обмениваться письмами. А то – совсем станем чужими...

Ваши “Облака” – прочел в “Ж. и И.”. Пахнуло на меня прошлым, почти забытым. Когда я их читал, эти “облака”! А знаете – рассказ хороший. Весь проникнут настроением. Только и в самом деле – день из жизни измыкавшегося человека. Жаль очень, что “Люди, которым нечего терять” пропали! Осведомитесь у Венгеровой, может быть у нее сохранились. Это – хорошая вещь и жаль ее терять!.. Пишете ли Вы теперь что-нибудь? Мне так странно думать, что кто-нибудь может теперь писать. Я могу только ходить, спать, купаться. Я даже уже не понимаю, как это я свою статью написал. Теперь я с трудом складываю слова в фразу...

У меня пока по-старому все. Статья в Петербурге. Скоро решится ее участь. Однако, напечатать – я все же ее напечатаю. Если с журналами (как и следовало ожидать) не <нрзб>, выпущу отдельной книжкой. Я недавно, после того, как долго не брал ее в руки, перечел отрывки из нее и мне жаль, чтоб она пропадала. И ведь я восемь месяцев, денно и ночно работал над ней. Зачем же лишать Россию такого сокровища? Сверх того, мне кажется, что в ней есть страницы, которые заставят задуматься читателя. Так или иначе, в октябре Вы будете иметь возможность бранить меня, т. к., печатать я начну и, верно, через месяц, когда все вопросы с журналами будут выяснены. Отчасти и лучше отдельной книжкой. Только заработка не будет. Ну, да к этому я уже привык. За все, что я печатал, я никогда не получал ни копейки.

А Вы осенью в Петербург едете? Это – хорошо, очень хорошо в конце концов. Когда-то я боялся Вас отпускать. А теперь я боюсь бояться. Право, самый разумный жизненный принцип, это ничего не бояться. Ибо боящийся подвержен гораздо большим опасностям, чем смелый. Я не знаю, чем руководятся очень смелые люди; но может быть – именно тем, что опасность опаснее, если ее избегаешь, чем если идешь ей навстречу. Это Вам скажет всякий, кто испытал опасность и знает ее особенности и свойства.

Пишите, Вава. Может я как-нибудь пробужусь от своей дремоты; тогда буду писать больше. А пока – не взыщите.

Адрес мой: Italia p. Napoli-Vico Equese L. J.

Ваш ЛШ

26. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Осень 1897]

[Вико – Петербург]

Дорогая Вава!

Получил Ваше письмо. Спасибо, что похлопотали, но жаль, что я Вас утруждал напрасно. Когда я Вам писал, я не знал, ни где статья, ни существует ли она еще. Теперь, почти одновременно с Вашим письмом пришло из Петербурга и письмо от старого моего товарища Д.А. Левина. Оказывается, что корректура попала к нему, и что он делает и будет делать что нужно, а мне не писал только потому, что не знал, где я живу. Т. ч. Вам больше хлопот не будет. Но, я бы Вам советовал познакомиться с этим Левиным. (Адрес – Преображенская 4). Он – литератор. Очень славный и умный человек. Если хотите – я ему напишу, а то и так можете у него побывать, сказавши, что я Вас послал. Софья Григорьевна знает о нем, хотя, кажется, с ним не была знакома. И ей бы следовало познакомиться с ним. Он интереснее Волынского и Минского, хотя имеет гораздо менее притязаний. Правда, ваша сестра женщина, не любит скромных мужчин – но авось вам этот понравится. Он же, кстати, и киевлянин. И жена у него милая женщина. Живут они, кажется, одиноко. По крайней мере в те поры, когда я у них бывал (ох, как давно!) жили очень одиноко. Но милые люди, каких теперь нелегко встретить.

То, что Вы написали мне о Венгеровой, удивительно соответствует впечатлению, выносимому из чтения ее статей. Действительно, она неглупая, начитанная и добрая женщина. И язык у нее (слог) очень недурной. Куда лучше, чем у Волынского и Минского. Она добросовестная и честная писательница. Но “своего” – у нее нет. Вот почему она стесняется Вас. А что С.Г.? Изменилась? Она перестала мне писать, не знаю почему. Обидел я ее? Узнайте, это очень любопытно. Кажется, я ничего себе не позволил – такого, на что можно было бы обидеться. Хотелось бы мне на две недели в Питер. Не больше, а затем назад в свое уединение. Вы правы, в Питере в общем, нехорошо живут. Эта погоня за успехом, за наживой – она губит и хороших людей. А для писателя обязательный труд – если его больше, чем нужно – смерть. Я уже имею печальный опыт. Из “Ж и И” мне предложили писать обозрения литературные и просили поторопиться, т. к. первая моя

статья запоздала. И вот я начал торопиться. Я боюсь потерять эту работу, п<отому> что, вследствие расходов по погреб.<ению> Р<аботникова>^[302] у меня образовался долг, довольно большой, на выплату которого мне не хватает получаемых денег, а откладывать его нельзя. И вот я торопился т. е. я проработал подряд три недели, чтобы поставить два обзрения и одну статью. Пришлось прочесть 4 книжки журналов и т. д. И я убедился, что, если бы так всегда пришлось работать, меня ненадолго бы хватило. Может быть потому, что я болен. Но слишком большая работа – беда. А необходимость иметь успех – еще большее несчастье. Т. ч. хорошо жить вдали от суеты без людей. Но побывать в Питере мне бы очень хотелось. Кого из известностей, кроме Венгеровой Вы встречали? Вы, пожалуй, и сами в известности попадете и тогда до Вас не доберешься. Тем более, что мне грозит порядочный скандал по поводу моей книжки. Я и нашим новаторам не ужоу, и старикам не понравлюсь. Т. ч. все в один голос бранить станут, и Вам будет стыдно, что я Ваш знакомый. Вы знаете, как у нас бранят? Не говорят просто, что человек неправ, а доказывают, что он невежда, идиот, нахал и т. д. Каково иметь знакомого с такими титулами?

Но, еще два три, (а может и больше) месяца наверное протянется печатание, т. ч. можете пока быть спокойны.

Что Вам еще сказать? Философствовать не хочется, да, кажется, Вы мою философию лучше, чем я сам знаете. А новостей нет. Сижусь и строчу для “Ж и И” в ожидании того, что Краинский выведенный из терпения моей манерой писания, пошлет меня к черту. Недели через три покидаю Италию и, если буду себя чувствовать сносно, и дела с “Ж и И” уладятся так, что не нужно будет слишком много работать, попытаюсь начать статью о Ницше. Вот если бы Вы мне в Питере добыли статьи Мих<айловского> о Ницше. Может <нрзб> можно недорого купить, я бы прислал Вам денег. Необходимо знать, как у нас смотрят на него. Особенно Михайловский: он чуткий и умный человек. При случае, расспросите.

И вообще пишите из Питера, о Питере. Поклонитесь Софье Григорьевне и ее супругу. Пишите ли Вы что-нибудь? И вообще, что писали Вы за последнее время? Я так Вам вечно о своих писаниях рассказываю, а Вы мне – никогда. Что это значит?

Ваш ЛШ

27. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Октябрь-ноябрь 1897]^[303]

Дорогая Вава!

“Жизнь и искусство” я не понимаю. Посылая им первую статью, я обозначил свои условия: 3 коп. со строчки. Теперь напечатаны 3 статьи – “Юридическая помощь крестьянам”, “Фантастический проект” и “Обвинительные приговоры и суд присяжных”. Во всех статьях вместе взятых (в скобках – мне переслали газету из Рима и я имею уже свои статьи, т. ч. не присылайте мне) 850 стр<очек> значит, мне следует, по условию, не 10 р., а больше 25. Вероятно, в редакции ошиблись. Во всяком случае, пожалуйста, справьтесь и получите деньги. Меня ужасно беспокоит, как Вы там с Настей без денег живете. И непременно сейчас же известите меня, Вава. Я не думаю, чтобы Краинский рассчитал меня не по условию. Но – всяко бывает – и я уже беспокоюсь. Мне меньше, чем по 3 к. нельзя сотрудничать: просто стыдно. Т. ч. если он рассчитает меня по 2 к., то придется, как это не жаль, бросить у него сотрудничать. А меж тем, пока у меня нет другого места. Узнайте, Вава, наверное в чем дело и непременно получите деньги. Если заплатит по 3 к., то буду дальше писать. Если нет – то я Вам из своих денег пришлю, чтоб Вам не слишком нуждаться. Меня так беспокоит мысль, что у Вас нет денег. Расскажите мне подробно о своих обстоятельствах. Тогда я сделаю, конечно, все возможное. Счетов между нами я, надеюсь, не должно быть: Вы верите в искренность моих отношений к Вам и Насте, следовательно не будем говорить о деньгах. Все, кажется, сказал о делах.

Новостей нет. Вчера отправил в Петербург свою рукопись для печатания. Пожелайте успеха... Между прочим, я здесь достал “Новое слово”^[304]. Удивительный народ эти русские! Как громко они вопиют, что им нужна свобода и как охотно и легко надевают они на себя ярмо. Сотрудники “Нового слова” – точно солдаты. Все до такой степени одинаковы, что, читая журнал, кажется, будто одну книжку читаешь. Через каждые десять строк слово “экономический” и “организация” – и не только в таких отделах, как внутреннее обозрение или письма из-за границы, но и в беллетристике, и в литературной критике. Ведь почти на один лад одна песенка поется! И язык у всех одинаковый, и принцип изложения – один. Все впились глазами в начальство – Маркса, и, кроме Маркса ничего решительно не видят. Это – скверный признак! Русский человек еще не доразвился до самостоятельности. Он лишь тогда смел если ему приказано что-нибудь делать, если ему кто-нибудь другой указал направление и сказал: там ты найдешь истину. Тогда он радостно и охотно, не рассуждая, мчится к назначенной цели – и счастлив. За свой страх – он ничего не хочет и не может предпринять. А под началом авторитета – он становится и смелым, и энергичным, и решительным. У всех сотрудников “Нового слова” такая “единомышленность”, какой бы пожелал немецкий ротный командир для своей роты. У всех одинаковые мундирчики, все пуговицы налицо, все подстрижены под гребешок – и глядят бодро и весело: “начальство, верно знает, если приказывает”. Помните Ростова в “Войне и мире”? Он

сказал, что стал бы стрелять в Пьера, если бы начальство приказало. Я уверен, что сотрудники “Нов<ого> сл<ова>” тоже не побоялись бы стрелять в родных, если бы у Маркса было бы подходящее правило... И этот грош истины, который есть у них, теряется вследствие прямолинейности и узости их понимания. Говорят, что “молодое поколение” в России без ума от “Нового слова”. Воображаю, какое разочарование ждет их. И, я уверен, что “Новое слово” не поумнеет, не расширит своей программы и своего мирозерцания. Ведь у нас главное – до конца жизни оставаться верным своим “убеждениям”, хотя бы все вокруг подрывало их правильность. Не знаю, может напишу для “Ж. и И.” журнальное обозрение. Хотя, правду сказать, не очень это меня соблазняет писать о таких вопросах для “Ж. и И.”. Краинский ли, или цензура правит мои статьи, как только я возвышаю голос. Из последней статьи (Обвинительные приговоры) выпустили центральное место, обосновывавшее главную мысль. Затем, еще глупые опечатки, почти неизбежные в “Ж и И”. Все это отбивает охоту говорить о серьезных вещах. А ведь собственно, не следует пренебрежительно относиться к провинциальным органам. Но, ничего не поделаешь...

Вы вот разобрали мою старую статью о Соловьеве^[305]. А меж тем, она хорошо написана: но пришлось говорить о увлеченности языком, чтоб спастись от цензуры, чтобы все сказать. Все эти уловки тяготят очень во время писания. Я даже к газетным своим статьям, которые ценю очень низко, отношусь добросовестно. Но так связан, так связан, что никак не удастся написать хорошо. Чисто литературные статьи мне лучше даются: можно писать свободнее. Вот увидим, что Вы о Шекспире скажете.

Я получил Ваши старые письма из Италии. В Киеве ваш просветитель бывает? Как странно, что он может пугать Вас своей “логикой”! Боже, Вы ведь эту логику прошли, как нельзя лучше. Не носили ли Вы столько лет мундир якобы общественного солдата, не отдали ли Вы в жертву этой логике лучшие годы своей жизни. Бросьте все эти правила, увещания – Вам они не нужны. Вы чувствуете лучше, где и в чем добро: идите своим путем...

На этом месте нужно прервать. Может быть я даю Вам практически дурной совет. Я забыл, что значит быть женщиной или даже мужчиной в разладе с окружающей средой. Мне-то лично уже не страшен этот разлад. Я так уже свыкся с необходимостью жить вне условий времени что, кажется, наоборот, чувствовал бы себя скверно среди единомышленников. Когда я встречаюсь с людьми моего возраста, или даже старшими на много лет, они мне кажутся детьми. Ни их упреки, ни их похвалы не трогают меня. Но Вы, Вы, Вава, может еще не научились этому очень необходимому в жизни искусству. Вам всякий, кто лучше Вас знает пифагорову теорему, кажется более правым, чем Вы.

Если Вы не помните, сколько рабочих в России, и не знаете, суждено ли артели сохраниться или погибнуть, а Ваш просветитель, который все знает, знает, что рабочих столько-то, а артель, вместе с общиной, обречены на гибель, Вам покажется, что Вы должны умолкнуть пред ним... Т. ч. неизвестно, что лучше советовать Вам: идти ли своим путем, или надевши на себя заслоняющие Божий мир наглазники, стать в стройные ряды пока еще бодрых и веселых прозелитов российских. Нет, все-таки лучше не смешиваться с ними. Вы недолго простоите в строю: Вы слишком много и тяжело жили. Не ищите временного забвения; может быть упорной духовной работой добьетесь чего-нибудь. А пока – прощайте. Пишите, главное насчет дел своих. Поклонитесь Насте: я ей писал уже.

Ваш ЛШ

28. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Ноябрь 1897]^[306]

[Рим – Воронеж]

Фрагмент письма.

Вы превосходно сделали, Варвара Григорьевна, что бросили Воронеж. При Вашем душевном состоянии – он, понятно плохое лекарство. В Киеве, может быть, немножко рассеетесь.

Пожалуй теперь будете полезны Леонилле Николаевне. Ведь она снова ждет события^[307].

Знаете, – если Вы хотите читать книгу, которая Вам теперь будет по душе, возьмите у моей Сони (Софьи И.) французский перевод *A/so sprach Zarathustra*^[308].

Перевод сделан превосходно, – не то что русский и Вы будете иметь возможность, наконец, услышать настоящую, правдивую повесть мученичества этого человека. И ведь вот – знал он, что нет и не может ему быть спасения, а боролся, да как еще боролся со своей судьбой. Должно быть есть глубоко, глубоко в человеческой душе какой-то невидимый хозяин, который правит им тогда, когда голова, сердце – все то, что в нас считается главным, отказываются нам служить. Иначе, как понять такой высокий подъем духовной деятельности и совершенно разбитого и измученного физически человека? Т. ч., вероятно, что вслед за теми минутами, когда нам кажется, что все уже кончено, наступает какое-то новое начало. Помните, как у Ивана Ильича. Когда над ним кто-то сказал “кончился” – он почувствовал, что “кончилась смерть: вместо смерти был свет!”.

Все так называемые бесплодные усилия воли – верно нужны. И ведь замечательно: человек делает наибольшие усилия именно тогда, когда

они уже бесполезны с обычной точки зрения, когда он, очевидно для всех, погиб – погиб навсегда и окончательно. Почитайте, почитайте Заратустру – он наверное принесет Вам немного бодрости и утешения. Сегодня окончилась печатанием моя книжка^[309]. Теперь нужно ждать, что скажет цензура. Если *(обрыв текста)*.

29. лев шестов – варваре малахиевой-мирович
[Март 1898]
[Цюрих – Петербург]

Что сказать Вам в ответ на Ваше письмо, Варвара Григорьевна? Вы говорите, что мои соображения о том, что писать в письмах, чего не писать – теория. Я думаю, что, наоборот – практика. Я привык отличать теорию от практики, по свойственной последней жесткости, сухости, неумолимости.

Ряд нельзя, не должно, не нужно – когда все они относятся к тому, чего хотелось бы, и что именно нужно – в теории, правда, тоже существует. Но там это звучит надеждой и прочими благами и кажется всегда мягким по содержанию, хотя и требовательным по форме. Но иногда эти нельзя приобретают иной, действительно мучительный аспект: и тогда это практика. Что делать? О, если б Вы знали, как мне надоело “слово”, то слово, жрецом которого я в качестве писателя обязательно должен являться. Хотелось бы вечно молчать или говорить только для упражнения органа речи, а не затем, чтоб делиться с людьми “мыслями! Иногда мне кажется, что в этом – тайна и великая мудрость лицемерия. Лицемер говорит так, чтоб его собеседник чувствовал себя легко и чтоб самому ничего у себя не обнаруживать. Он хвалит то, что все хвалят, порицает, что все порицают и не выворачивает наизнанку себя и других.

Это – глубокая мудрость. Правда?

О делах нечего рассказывать. С Иогансоном^[310] я еще не вступал в переговоры и не вступлю до конца октября, п.ч. до этого срока не буду иметь возможности начать работать. Мне предстоит учебный сбор^[311], который отнимет у меня целый месяц. Пока он не кончится – ничего нельзя предпринять. Сев^[312] что-то замолчал вдруг и Левин – тоже. Я пишу и тому и другому, но ответа нет. Верно Севу надоело возиться с моими поручениями. Но, тогда бы лучше было прямо сказать. Чего он тянет? Он и статью мою задерживает. А Софья Григорьевна написала письмо Ковалевскому^[313] насчет рекомендации к Солдатенкову^[314]? Письмо Ковалевского подействует. А у Солдатенкова Вы уже почти наверное надолго достанете занятий.

Как Ваше здоровье? Пишете? Нужно Вам Бибку^[315] непременно <нрзб>! Я все пристаю к Вам – хотя и не знаю, помогают ли

приставания. Но, Вам важно начать в столицах печататься. “Сын отечества” – газета распространенная. Разнесет Ваше имя по всей России.

Что служба Насти? Не слишком тяжела? Пишет ли она что-нибудь или все время отнимает работа в больнице? Я ее “Грозу” показывал в “Сыне Отечества”.

Не знаете ли Вы, где теперь Софья Григорьевна? Ее в Киеве нет. И наша Соня не приехала, хотя Вы писали, что она выезжает. А *Petit* уже в России?

Пишите в Киев на домашний адрес, т. е. Подол, С.<обшественный> д.<ом>

Ваш ЛШ

30. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Лето 1898]

[Цюрих – Петербург]

Фрагмент письма.

...до конца жизни и сошел с ума. Это значит: прав тот человек, который слушается своего инстинкта, как Толстой, а не выдуманных другими людьми хороших слов, как Нитше. Вам нужно и можно исправить свое прошлое. Поезжайте в Киев, закройте глаза на могилы, создайте себе прочное положение. У Вас все есть: нужна только энергия. Если Вы и ее найдете у себя – Вы спаслись. А идеалам – Вы достаточно отдали, слишком много. Пора подумать о действительности. Вы скажете, как Настя, что я проповедую “безнравственное” и простите мне на том основании, что я все же, по-вашему, “нравственный” человек. Так? Ну, тогда значит я даром писал письмо, все свои письма. Я так, наоборот, безнравственными считаю тех, кто учит отрицать действительность. Тем – главного недостает: инстинкта жизни. И они искупают страшной ценой этот недостаток. Вспомните Гамлета. Настя уже мне писала, что я жесток к Гамлету. Но разве это я жесток? Разве это я устраиваю Гамлетам трагедии? Не я, а Бог, если Бог есть. А мы не можем думать, что нет Бога и должны, значит, принять всю, целиком, действительность, которая нам говорит, что худшие трагедии уготовлены Гамлетам, самые позорные, самые мучительные, самые ужасные. Если хотите – Нитше это новый Гамлет. Мне трудно сказать, но грех утаить. Я нахожу, что Нитше заслужил свою участь. И он сам того же мнения. – Да, Вава, нужно, наконец, заговорить настоящим языком! Вот и Менделевич, тоже находит, что я смотрю “мрачно” на жизнь. Ему это простительно. Но Вы, Вава, Вы, которая провела всю свою жизнь во мраке, Вы должны понять меня – и не сердиться, а последовать моему совету. Бросьте, бросьте своих толстовцев. Все лучше, чем их “добро”. Если увидимся в Киеве –

поговорим. А может суждено Вам прочесть мою статью о Н<итше> и Т<олстом>, если ее напечатают. Хоть нескладно, но все же написана...

Насчет типографии, кажется, уладится. Ловцкий^[316] – Вы знаете его? – мой будущий родственник обещал уладить. Куда сдать книжку, мне все равно. Но я боюсь, как бы Вы с “советчиками” не попались в просак, сдав в такой магазин, из которого я никогда не увижу денег, если даже, как, кажется, и будет выручка, как напр<имер> у меня уже было с нашим киевским Иогансоном когда-то, когда я Греца^[317] издавал.

А у Мопса^[318] я бы писал – только не литературные обзоры, а передовицы; пошел бы на амплуа порядочного: дорогие моему сердцу “вопросы”, которые порядочный называет “проклятыми” – мнения присущие интеллигенции. О литературе нечего писать для “Ж. и И.”. А передовицы – готов. Нужно деньги зарабатывать! Будем товарищами по перу... Что предложит Вам Мопс делать в “Ж. и И.”? Редактировать приложения? Или тоже обязательно писать что-нибудь? Ему, конечно, сотрудники нужны. В “Ж. и И.” – хоть шаром покати. Т. ч. у Вас положение будет прочное. И Настю, быть может, пристроите. Не следует, не следует отказываться. С хлеба на квас Вы уже довольно перебивались. Теперь нужно окрепнуть.

Когда приеду в Киев – не знаю. Может, очень скоро, еще раньше Вас. Как странно будет нам встретиться. Я, верно, <нрзб> выходцем с того света представляюсь. “Кто-то пишет письма – из этого нужно заключить, что он живет” – так Вы обо мне, верно, рассуждаете. И вдруг – наглядное доказательство, что живет! Эх-ма, Вава!

Пишите поскорее. Я люблю и получать Ваши письма, и отвечать Вам, хотя ни Вы мне, ни я Вам ничего приятного никогда не сообщаем.

Ваш ЛШ

Насте напишу отдельно. Опять она запускает себя! Напечатали ее рассказы где-нибудь?

31. Лев Шварцман (Шестов) – Варваре Малафеевой (Малахиевой-Мирович)

[Июль 1898]

[Цюрих – Петербург]

Вверху первой страницы:

Не знаете ли, куда сдать на комиссию книгу, когда она будет окончена? В магазин “В.<естника> Европы”. Если спросят в типографии, какую цену на обложке ставить, скажите – 1 р 25 коп.

Дорогая Вава!

Сперва о “делах”, чтоб не забыть. Спасибо за Вашу аккуратность. Действительно – среди русских немногие могут с Вами сравниться. Но что за *Corpus linguae*^[319] нашли Вы в корректуре? Или Вы только со слов Менделевича^[320] говорите? Я очень внимательно прочел – и три раза. Неужто все-таки мог пропустить кое-что. Если очевидная ошибка – конечно можно исправить, не справляясь у меня. Затем: получила ли Настя из Супруновки деньги? Она не дождалась их – и, может теперь в Москве сидит без копейки. Я ей написал, но ведь она часто через 3 месяца отвечает. А рассказы, написанные ею приняты куда-нибудь? Вы их читали? Хороши они? Не забудьте ответить на эти вопросы.

А затем – прошлое письмо. Само собою – оно не шутки. Я вообще так не шучу, а особенно с Вами. Но, <3 слова нрзб> “невольное” признание в стиле Достоевского. Правда, “все” сказать не может никто. Но я лично стремлюсь по возможности признаваться “вольно”, не дожидаясь моментов и не прикрываясь масками. Повторяю – я говорю, конечно, относительно. И я человек – как все, следовательно принужден обо многом молчать; но все же полагаю, что можно о многом и рассказать. И то, что я Вам писал – вовсе не следует скрывать. Только, я совсем не думал, что оно может и дальше производить столь тягостное впечатление. И сейчас я полагаю, что доля эффекта должна быть на этот раз отнесена не на счет моего письма, а Вашего настроения. Вегетарианство, по-видимому, оказывается для Вас более вредным, чем Вы сами полагаете. Вы больны – это я почувствовал бы и без Вашей приписки. Нельзя так, Вава! Вам очень не везет. Вы попадаете постоянно в кружки людей, которые дают Вам дурные советы. Может Толстому и полезно не есть мяса – но не Вам, конечно.

А что до “любви”, то разве Вы ее спасете своим вегетарианством? Нет, и тысячу раз нет. Не таким путем спасают веру. Это я и говорил Вам в прошлом письме. Если б, пишете Вы, Бог приказал Вам убить Исаака Вы не сделали бы этого! Нет, ошибаетесь, Вы не только бы сделали – а были бы несказанно рады тому. Что значат несколько лет жизни на земле, если есть Бог? И что значит наша “любовь” в сравнении с Богом? Ведь Бог – это высшая мудрость, высшая любовь; он всесилен и всемогущ – так разве несколько часов, дней, лет страданий страшны для того, кто <нрзб> Бога? Понимаете? Это моя формула “по ту сторону добра и зла”. То, что я писал о Лире – я повторю и сейчас. Но не забывайте главы о Гамлете. Одна и та же судьба, один и тот же Бог – внушают Лиру “нагорную проповедь”, а Гамлету мысль об убийстве дяди. Т. е. любить нужно научиться тому, кто был королем от головы до ног – и, наоборот, тому, кто умеет любить, как Гамлет, нужно еще научиться бороться, отстаивать свою любовь. Закон жизни – борьба. Тигр должен съесть ягненка, но может не есть. Что на это скажет Толстовская формула “добро – Бог”. Ничего. Ибо добра-любви, конечно, в тигре нет. И оно не защищает слабое существо от сильного. У Нитше

в Заратустре есть дивная фраза: “горе тем любящим, у которых нет ничего выше сострадания”. Сострадание – только человеческое чувство, слабое и немощное. Если есть Бог – то он, конечно, выше сострадания. Иначе сострадание было бы не идеальным, а [действительным] *(обрыв текста)*.

32. Лев Шестов – Варваре Малахиевой-Мирович
14 декабря 1898
Киев – [Петербург]

Получил Ваше первое письмо в Киев, дорогая Вава. Вы горько иронизируете по поводу моих советов. И Вы, конечно правы. Советы очень редко бывают полезны. Пожалуй, лучше совсем не давать их. Поговорим лучше о киевских новостях. Вы хотите знать, какими я застал Жоржика и Женечку. Жоржик вытянулся, похудел, из кругленького ребеночка, на которого так забавно было глядеть, обратился в мальчика со всеми задатками будущего Гамлета. Немножко вялости, немножко лени, большие серые глаза – Вы знаете, чем обыкновенно это кончается. Соня его любит и балует, Даниил – покрикивает. Затем он русский, еврей... Уже понемногу боязнь жизни забирается в его душу и мне ужасно жаль его. Я воюю с Соней за своего любимца. Авось отвоюю ему кое-что. Нужно, чтоб он поменьше в теплице сидел, побольше бывал предоставлен самому себе. Женечка уже засиживается – где не случится – за первой попавшейся книжкой. Вчера я застал ее в передней, едва-едва освещенной. Она и не заметила, как мы вошли. Если бы не растолкали ее, она бы и не взглянула на нас. Тоже верно попадет в Париж и будет разбивать свою и чужие жизни, все ища чего-то. Только Серёжа молодец. Бьет Соню, бьет Жоржика и Женю. На днях вырвал прядь волос из маминой косы! Этот, кажется, постоит за себя. Он и теперь над всеми командует и не боится вступать в бой со старшими, хотя бы и вдесятеро более сильными, чем он, людьми. Что то его ожидает в жизни? И не страшно ли думать, что и ему придется “переживать”?

Остальные – большие – мало изменились, только, если можно так выразиться, выявились резче. Особенно это заметно на Мите. Он все горит, горит – и я очень боюсь за него. Соня как будто стала бодрее, оживленнее. Даже танцует – и как красиво! Видел Николаева. Этот приятно разочаровал меня. Я думал, что от него только воспоминание останется. Вы знаете, конечно, о его историях. Оказывается – ничего. Живет – и даже снова стал писать. Прочел мне свою статью для новой газеты. Написано превосходно – ему проза легко дается. Прочел и стихотворение – ну, это не очень у него выходит. В наше время поэту нужны очень большие переживания, чтоб обратить на себя внимание.

Иначе – выйдет всегда бледно. Приехал и Ловцкий^[321]. Понравился он Вам? Верно, Вы осудили в нем юношу. Правда? Но, чего торопиться. Придет его время, возмужает, а там и состарится. Торопиться нечего.

Он рассказал мне, что Венгерова собирается бранить мою книжку. В добрый час! Я от нее ничего другого и не ждал. Ведь и у нее есть “школа” и Брандеса, верно, в этой школе чтят, как авторитетного писателя, а я – посягнул. Но, это мало интересно. Выбранить книжку стоило бы, только иначе, чем это сделает Венгерова; а Вы тоже браниться собираетесь? Вот Вас я послушаю с удовольствием, как бы не разносили Вы меня. Я уже предчувствую заранее, что поставите Вы мне в упрек. Хотя может случиться, что у Вас не хватит охоты и желания говорить все и Вы отделаетесь общими замечаниями.

Был я у Софьи Максимовны. Все также. По прежнему ходят к ней люди большей частью так или иначе пострадавшие. Один за духовной пищей, другой – пообедать. И она всем старается как может помочь. Немножко <нрзб>, поспорили: по всем правилам.

Вот пока первые впечатления. Я еще и до сих пор не совсем в себя пришел. Все кажется, что сплю и грежу. Я здесь редко урываю часок, чтоб остаться наедине с собой. И это так странно после долгих лет уединения. Может оно и лучше немного оторваться от “дум”. Но самочувствие тяжелое.

И нет сомнений – что ты всем нужен, всех связываешь – и никому, собственно, ничего не даешь, – это удручает. Мне кажется, что все убеждены, что я очень много “могу”, и только я один знаю, как мало могу я на самом деле. Вот видите – и я Вам лирикой на лирику отвечаю. Довольны?

Пишите мне по следующему адресу: Киев, Бибиковский бульвар, № 62, кв. доктора Мандельбурга, мне. Я живу у сестры, а не у родителей. Так сравнительно спокойней.

Ваш ЛШ.

33. Лев Шестов – Варваре Малахиевой-Мирович

[Конец 1900]^[322]

Берн – [Париж]

Фрагмент письма.

...хотелось бы. Чем нужно бы настолько хуже, что положительно нередко бываешь готов забросить все написанное и больше не начинать. Мне не следовало так много времени терять: ведь я ровно два года ничего не писал – это нехорошо. Мысли не должно задерживать надолго в голове: как только созреют, нужно выпускать их на волю. Не то – постареют, поблекнут. В этом я теперь убедился.

Но, в России я ничего решительно не мог делать. А первое время по приезде за границу больше болел и лечился, чем работал.

Т. ч., вероятно “Достоевский и Нитше” не оправдает Ваших надежд, если только Вы оные возлагали на него. Вы знаете, – доходишь иногда до ужасных нелепостей. Пока размышляешь, все кажется, что ты прав, что так и нужно проверять все старые идеалы. Но как начинаешь писать, все страшней и страшней становится. Я оставил эпиграф, о котором Вам говорил в Киеве: *aimes-tu les damnés*^[323] – из Бодлера. Но все спрашиваю себя: можно ли их этих *damnés* любить? И как их любить? Не лучше ли по-прежнему привязаться к идее – к отечеству, добру, истине, искусству, народу, словом к чему-нибудь нетребовательному, терпеливому, молчаливому. А то *damnés* – ух какой это беспокойный народ! Но, Рубикон перейден, как-нибудь допишу, а там посмотрим, что будет. Во всяком случае, лучший способ снять с себя власть какой-нибудь мысли – это написать о ней сочинение. Потом, может быть буду и не об осуждении думать.

Недели через две, как покончу с Достоевским, поеду доживать зиму в Италию. Там и дописывать работу буду. А Вы – уже назад в Россию собираетесь? Зачем так скоро? Стоило ли из-за трех недель столько ездить? А я в Россию вернусь не раньше, чем через месяцев 6, 8. Признаться я не боюсь *desiderium patriae*^[324]. Т. е. на месяца 3 я не прочь. Но надолго!.. не хочется.

Поклонитесь Софье Григорьевне и Мите. Что, собирается Митя проехаться, как он предполагал в Италию? Или уже передумал. Скажите ему, что на несколько дней я готов служить ему спутником. Пишите и Вы. Что, Сара Максимовна не хочет отвечать на мои поклоны или Вы забываете передавать их?

Ваш ЛШ. Адрес: Berne, Villa Frey

34. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

[1906]

[Москва – Берн]

Вот уже месяц скоро, как Вы написали на бланке перевода “письмо завтра”, а это завтра так и не наступило. Знаю Ваше самочувствие при переписке (помню, как Вы сказали – “не могу видеть пера при мысли, что нужно письмо написать”). Но все же, хотя лаконические сведения следовало бы давать друг другу – хотя бы для того, чтобы знать, живой ли адресат, и чтобы этому адресату написать весть такого же содержания.

Кульженко^[325] зовет меня давать объяснения иллюстрациям в Булгаковской газете^[326] – прибавляет, что это не, наверное, и что, кроме того, это же место обещано Ковальскому. И все мои заработные

проекты до сих пор в том же роде не наверное. И кроме того, везде уже есть свой Ковальский, который энергичнее меня, и в то время, когда я только соберусь с силами, чтобы начать, он уже начал и продолжает.

В дело меня решительно не приняли. Пишу детские рассказы “не наверное”, но их обещал пристроить Семён Владимирович^[327] в каком-нибудь книгоиздательстве. А пока все то же безденежье и та же необходимость в субсидиях. Если есть обычная сумма для этой цели, пришлите. Если нет, устрою еще где-нибудь заем.

Получена ли Вами тетрадка моя “Дети и революция”? Ее могли бы напечатать в одной из киевских газет^[328]. Здесь испугались. Читала Ваш “Пророческий дар”.

Неужели всегда “накануне” – и ничего кроме “накануне”... Но об этом молчание. Есть в *Campo-Santa* в Генуе бронзовый ангел. Стоит у двери склепа, приложив палец к устам. Когда я его видела, это было 10 лет тому назад, это была “красота молчания” – волнующего тогда молчания. Ничего другого я в молчании не видела. Теперь она мне представляется тем пеплом, которым засыпан Геркуланум^[329], погасив жизнь, звуки прахом...

35. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову
20 января (2 февраля) 1921
Москва – Париж

Восемь дней тому назад, в ночь с 12-го на 13-е около полуночи скончалась Надежда Сергеевна^[330]. При ней была Елиз. Мих. Доброва и та женщина из Алексеевского Братства, которая за Надеждой Сергеевной во время болезни с величайшей преданностью ухаживала.

Последние дни Надежды Сергеевны (болела она три месяца) были полны таких нестерпимых мук, что все, кто любил ее, ждали кончины ее, как вести освобождения. И все-таки – по Писанию приходит “день судный – как тать в ночи” – и никто не бывает в достаточной мере готов к смерти близких.

Я видела Надежду Сергеевну за три дня до смерти. Я знала, что она тяготится тем, чтобы смотрели на ее измененное болезнью лицо и не смотрела на нее. Она тяжело дышала со стонами и хрипами и почти не могла говорить. Но так как она позвала меня – за две недели перед этим не хотела видеть ни меня, ни кого другого, кроме духовника – я не уходила и ждала, что она скажет. Она сказала: Дух ушел. Душе тяжело расставаться с плотью. Вся жизнь в неправде, все – неправда. Бог милосерд и ко мне и к людям. Никто не знает, что такое болезнь. А потом спросила про мою мать, про брата и меня с прежней, здоровых дней, заботой.

Больше я ее не видела. В первое утро после кончины она лежала в своей комнате уже с таким лицом, какого я не знала, и была не она. Ее был только отпечаток великой скорби, какой иногда появлялся на нем. С ним она и ушла от нас.

Братство оплакивало ее, как своего учителя жизни и как свое несравненное духовное сокровище. Священники – наиболее известные в Москве, говорили над нею слова о том, что она знала больше их о пути к Богу.

Я тяжело заболела и при всем этом уже не присутствовала. Каждый день те, кто навещали меня, спрашивали: написала ли я Вам. Я сочла это каким-то указанием. И хотя моя душа, с тех пор как мы расстались с Вами на Харьковском вокзале, онемела, как я думала, уже до конца, оказалось, что есть слова какие-то и что Вы живы в ней. Помогите Вам Бог во всем – и больше всего в смертный час.

36. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову
4 сентября 1923
Сергиев Посад – Париж

Лиля^[331] привезла мне Ваши приветы, Лев Исаакович. Издалека – точно из другого существования. Но странное было чувство – точно не прерывалось общение духовное на годы – на годы, имеющие право считаться каждый за десятилетие.

И другое было странное – и хорошее – чувство. Незначительной и как бы вовсе не существовавшей ощутилась та горечь, какая за эти годы вставала при Вашем образе. Человек не обязан быть иконой для другого человека. И вообще, ничего он не обязан, кроме того, к чему он сам обязется из глубины своей совести. А эти глубины как раз не от него зависят. Вот видите, опять “философия и литература”. Так уж нам с Вами суждено – по гроб жизни. Он не очень далек от нас этот гроб, и вряд ли по эту сторону его мы увидимся. И я рада, что захотелось и смогло сказать Вам, что все блага, все пусть будут благословенны, что приходят от Вас на мою дорогу. Великая неподкупность и героический труд и чистота Ваших поисков истины были и есть для меня источником, обновляющим душевные силы. Вы, может быть, и знали это, но после долгого молчания захотелось Вам сказать об этом еще раз.

И вот еще о чем хочу сказать в этом письме. Мой брат^[332], которого мы с матерью уже считали ушедшим от нас без возврата (четыре года не было вестей о нем, и мать до конца выплакала свои глаза о нем, до полной слепоты) брат мой, Николай, по слухам очень достоверным находится в Болгарии. Его адреса у нас нет, но вот адрес его знакомого Тара Сарамбей Строительная секция Элли дере Барак 6 – Степан

Адамович Симанович. Мы, конечно, написали по этому адресу, и будем писать еще не раз. Но, говорят, письма из России туда плохо доходят. Большая к Вам просьба – написать этому Симановичу, а м. б., и еще кому-нибудь из знакомых в Болгарию, чтобы навели справку, в каком концентрационном лагере брат. Буду очень ждать от Вас письма. Тогда, когда оно придет, напишу Вам побольше обо всех и обо всем, если хотите. А пока – душевный привет Вашим близким и Вам – рада, что все вы живы, все, по словам Лили, здоровы. Знать ничего не знаю о Соф. Ис. и о Жорже.

В. М.

Адрес: Сергиев, Московской губ., Красюковская ул. Д. Быковых.

37. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

14 сентября 1923

Сергиево – Париж

Совсем недавно я послала Вам письмо, Лев Исаакович, с просьбами относительно брата, и вижу, что в дополнение к ним необходимо еще вот что сказать: к этому “Тара Сарамбей”, по-видимому, не так-то просто найти путь. Письма туда и оттуда доходят не, как правило, а как исключение. Говорят, надо бы прибегнуть к какой-нибудь миссии, заведующей вопросами репатриации. В Москве такой не оказалось. Если окажется в наличии подобное учреждение в Париже, или в Берлине, нельзя ли обратиться к нему непосредственно с просьбой похлопотать о брате. Ведь он пошел воевать только под железным императивом мобилизации и более партикулярного человека по своему мировоззрению и по свойствам своей натуры трудно представить. Мне хочется затруднять Вас лично двигательной частью этого дела, вообще “хлопотами”. Если бы я знала адрес Евгения Германовича^[333], я бы с этим обратилась к нему. М. б., Вы не откажете сделать это – написать ему, приложив здесь адрес знакомого брата. Через него пришла весть о том, что он жив.

Болгария Тара Сарамбей.

Строительная секция Элле дере. Барак 6.

Степан Адамович Симанович.

Это на случай, если бы мое первое письмо затерялось.

Я бы не стала так усиленно беспокоить всех знакомых и полу знакомых этим вопросом, если бы не примешалось сюда соображение крайней ветхости и мучительно напряженному состоянию матери, которая все эти 4 года ждала смерти как благой вести, а теперь боится умереть “не дождавшись весточки от сына”, теперь уже единственного, т. к. в прошлом году умер мой старший брат^[334], оставив трех неустроенных мальчиков-подростков в полу нищенстве.

И им, и матери, и мне – не сегодня-завтра, ввиду все растущей инвалидности моей – брат этот не только дорогой человек по кровным и душевным узам, но еще и единственная опора, надежда на возможную опору в области голода и холода. В последние два года эта область потеплела и принесла иные снеди, кроме пшена и ½ фунта хлеба – но если я не смогу зарабатывать, сколько нужно на все, что превышает пшонный уровень, он и все, что с ним морально сопряжено неизбежно.

Начала читать Ваши откровения о Смерти. Читаю медленно-медленно – похоже на то, как богомольцы взбираются на лестницу св. Павла в страстную пятницу. Как все у Вас горестно и трудно. И как я люблю, что это так. Когда кончу читать, я напишу Вам.

За эти три года, когда у Вас складывалась Ваша книга о смерти, и у меня вырос цикл стихотворений, ей посвященный – “*Ad Suor nostra Morte*” и к нему можно бы эпикуровские строчки взять эпиграфом.

ВМ

38. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

22 октября 1923

Сергиево – Париж

Спасибо за отклик, Лев Исаакович. Было радостно видеть Ваш почерк – той же странной радостью, о которой Вы пишете “рад, что Вы еще существуете”. Это, конечно, детская и эгоистическая радость – т. к. для каждого из наших сверстников, убежденных сединой и отягченных соответствующим, бременем было бы радостней уже не “существовать” – т. е. существовать как-то иначе вне почерков, писем, книг, болезней, заработков и т. п.

Со слов Льва Алексеевича Тарасевича^[335] и Лили я думала, что всем вам куда лучше живется. Но они, конечно, схватывали только поверхностные черты житья. Гершензон тоже приехал из за границы *jeune premier’ом*^[336], и щеки порозовели, и костюм нарядный. Я была у него на прошлой неделе по делу – спросить, нет ли работы на литературном рынке. Он не очень обнадеживал, но дал советы, где такую работу искать. Дошкольное отд., которое меня кормило, на прошлой неделе внезапно прикрыли, и этим сдвинули меня в мир безработных.

Пока я не унываю, т. к. за октябрь мои 6 червонцев мне еще выдадут – а на дальнейшее есть обещание переводческого характера. Есть какой-то урок в виду, есть запасы картофеля, свеклы и капусты.

Ввиду свирепствующих вокруг служебных сокращений, мое положение не представляет ничего трагического – напротив, оно обставлено многими благоприятными условиями, которых нет у других. Скверно только, что нога то и дело лишает меня права передвижения, которое так нужно при поисках работы.

Но есть друзья. Есть нужная беспечность духа – мешающая нарушению душевного равновесия. И раньше я умела помнить заповедь “Не печытесь на утрий^[337]”, а теперь этого “утрия” и совсем нет.

Живем мы вдвоем с матерью. Она так много оплакивала своего без вести пропавшего Вениамина (так она звала брата), что окончательно ослепла.

Жизнь в Сергиеве хороша тишиной и особой красотой окрестностей. Лес и поля от нас в 5-10 минутах. На таком же расстоянии живет Михаил Владимирович с Натальей Дмитриевной и сыном Сергеюшкой, которому в июле исполнился год. В лице его я воспитываю чуть ли не четвертое поколение.

М.В.^[338] работает в Москве в почтово-телеграфном журнале и преподает психологию в местном техникуме. Главный интерес местной интеллигенции – религиозные, вернее, церковные вопросы. Я не умела до сих пор заинтересоваться церковью, все продолжаю чувствовать ее как учреждение слишком человеческое. Это не мешает мне искренно жалеть епископов, сосланных в мученические условия в Зырянский край и другие трущобы. Туда же попал и Мало-Никольский Димитрий, с которым я любила некогда беседовать во времена гибели Юлиана^[339].

Сколько жизней унесено с тех пор – жизней, которых не думалось пережить ввиду своего старшинства и всяких недугов – Татьяна Фёдоровна^[340], Надежда Сергеевна. Умер мой брат – я Вам писала уже, умерла Настя – в числе тех, кто в восемнадцатом году погиб от недоедания в больницах, Наталья Николаевна^[341] и многие другие мои знакомые, которых Вы не знаете.

Из московского литературного мира я вижу только с Новиковым^[342], да изредка с Гершензоном. Раньше с Зайцевыми, но они теперь в Италии.

Красная литературная молодежь делает свой молодой шум вокруг своих Маяковских, Шершеневичей. Там мало талантливого, а что талантливо, лишено вкуса, пропитано тенденцией. Но... перемелется – мука будет. Вокруг студий – и в студиях тоже толпятся жаждущие сопричастия к искусству кадры. Станный отток от жизни, от жизнетворчества. Последнее – по дирижерской палочке и трагически не осуществимо при недостатке какого бы то ни было “оборудования” (в школах, детских садах, всяких мастерских, техникумах и т. п.). Но в общем, жизнь гораздо легче и “богаче”, если уместно такое слово, чем три года тому назад. Впрочем, богатство – однобокое – бриллианты и бобры, как и раньше, удел очень малого меньшинства. Большинство же радуется, что ходят трамваи, освещены улицы, есть рынки и на них всякая снедь вместо одного пшена и воблы 19 и 20 годов. Знаете ли Вы адрес Аллы? Если да, пожалуйста, напишите. Привет Анне Елеазаровне, Тане, Наташе.

Всего доброго Ваша В. М.

39. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

5 декабря 1923
Сергиево – Париж

Вчера получила письмо Ваше, Лев Исаакович. Еще до этого узнала через Гершензона – Лилю, что Вы очень хворали. Иногда боль содействует какому-то нужному внутреннему; иногда только изматывает последние силы. И в том, и в другом случае Вам желаю, чтобы она не повторялась. Верится, что Ваш дух найдет свои пути и кроме боли. К тому же, ее уже достаточно у Вас было.

Я читаю про всяких авв и поражаюсь, как им трудно было факирское самоистязание, репа на деревянном масле, немытые тела... Воздержание – понимаю, презреть и забыть свою плоть (затворники) – тоже, но зачем же им терзать ее и издеваться над нею. А <нрзб> и патерики утверждают, что это путь единый для всех верных, возделенный.

Вот уже прожита жизнь, а все нет для меня такого лимонаря или патерика, который успокоил бы душу от буйственных сомнений и вывел бы из “темницы духовой”. На времена, более или менее короткие, проходит через душу луч из иных миров и всегда тоска о них. И больше ничего. А вокруг такие “утвержденные на камени”, с догматами, с ритуалом жития, с исповеданием до мученичества – завидный жребий. И в этом смысле полнота одиночества.

Тронула меня и пристыдила Ваша забота в области долларов. Вычеркните ее из поля душевного зрения. Нужду потерпеть я не прочь в сужденные сроки – и опыт в этом у меня достаточный, безвыходных же положений нет. До крайности же меня и мать не допустит. Михаил Владимирович, – у него есть стремление и совсем поднять на свою спину бремя наших существований, но до этого я, конечно, его не допущу – у него целый дом – жена, коза, прислуга, сын, и он не мастер добывать деньги.

Пока я еще трачу жалованье последнего месяца, растянув его на два, и у меня есть маленький урок и довольно большие запасы картофеля, свеклы и репы. Так что бросьте, добрый мой старый друг, (уже теперь и иносказательно “старые” мы друзья) бросьте думать об этой стороне моего жития. Вот поправится мать (у нее абсцесс, было две операции – нога), оправлюсь я сама – у меня сейчас приступ ревматизмов и печени – и поеду в Москву, к Добровым, проживу у них недели две и поищу переводов в среде знакомых литераторов. К тому времени и Евгений Германович приедет; обещал помочь мне в приисках работы.

О том, что в техникуме закрылось мое отделение – не жалею. Последний год я до того уже через силу тянула воз преподавания и заведования, столько было пропусков (половина занятий происходила у меня на квартире), что ясно было – так не может долго продолжаться.

Ведь последний год – из семи дней недели – у меня один-два здоровых, а 5–6 хромых, из них 3–4 совсем лежачих.

Явилась возможность после Рождества по протекции Тарасевича полечиться в соответствующем санатории. Непременно сделаю это. Морально меня очень утомило такое инвалидство. Когда с нами жила Оля^[343], это было еще терпимо. Она даже любила дни моей болезни, чтобы поинтимить и побольше побыть со мной в общении. Теперь она отдалилась, получила хорошее место – четыре червонца на всем готовом – под Москвой по Савеловской дороге в детском санатории. Это сведения для Тани, если интересуется судьбами кружка юной “Радости”. Попутно о Машеньке, бывшей Полиевктовой. Ее Томас разъезжает по всей Европе, почти не пишет. Она с тремя норвежатами живет в Москве, занимается переводами; с Томасом думает совсем разойтись ввиду такого его поведения. У Анечки, Машиной сестры (теперь Бруни) родился недавно третий ребенок – моя крестная дочь. Живут они где-то под Оптиной пустыней, очень бедствуют. Из Жени Бируковой вышел недюжинный поэт. Некоторые стихотворения ее даже на память знаю. Большой пафос, своеобразие формы, богатство образов. Рерберг и Лида Случевская водят экскурсии. Нина Бальмонт вышла замуж за художника Бруни. У нее тоже – ребята. И очень чернорабочая жизнь. Но она несет ее бодро. Осенью виделась с нею. Это все для Тани и Наташи сведения. А Вы мне напишите о Софье Исааковне и Софье Григорьевне. Еще я хотела спросить о Тане – “моей” – ведь я ее с пяти лет приняла в свою жизнь, и теперь это очень больное место в моей душе. Есть ли по Вашему (Вы должны знать это от Фани Исааковны) надежды на ее полное выздоровление? От Лили я узнала только впечатление ее – печальную картину полубреда, полу сознательности – вернее, мозаики из бреда и сознательности. То же случилось недавно с племянником Анны Васильевны – 18-тилетним юношей. Его посылают в Германию, в Дрезден. Там, говорят, делают чудеса над сломавшимися душами. Отчего бы Тане не пожить там.

Прошу прощения за неинтересный подбор материала в письме. От Москвы я живу вдалеке – несмотря на расстояние двух часов пути. И давно не была в ней. Жизнь у меня стала вполне захолустная и даже несколько одичалая. Когда приезжают из Москвы приятели, я больше утомляюсь, чем радуюсь. Впрочем, это не ко всем относится.

Пишу много стихов – сами пишутся. Работаю над материалом, собранным в дошкольном опыте последних лет – и всей жизни. Туда и Инночка с Женей, и Серёжа – входят. На это есть спрос в Госиздате. А сказки мои – 12 сказок – не ко двору – фантастические – никто не хочет их печатать, они же несомненно лучше того, что я раньше для ребят писала.

Написала грязнее, неразборчивее обыкновенного, потому что пишу в постели – ноги, печень, рука и т. д. А на дворе, наконец-то после грязной осени великолепный мороз и снега, снега...

Душевный привет Вашим близким и Вам, тоже. Не хворайте. Пишите.

В. М.-М.

40. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

5 марта 1924

Сергиево – Париж

Тревожно думать о Вашем здоровье, дорогой Лев Исаакович!

Буду ждать сообщения о нем, если Вам писать трудно, поручите Тане или Наташе известить меня, в каком Вы состоянии. Адрес мой все тот же – Красюковская улица, дом Быковой. Если Вы здоровы и это Вам будет не трудно – передаю просьбу Л.Я. Гуревич^[344] – эта просьба касается и меня – у кого-нибудь из знакомых, читающих французскую беллетристику^[345], попросить список книг, подходящих для перевода в Мосполиграфе, где Любовь Яковлевна заведует этим отделом. Может быть, Софья Григорьевна не откажется это сделать – когда-то она, кажется, была в дружественных отношениях с Гуревич.

Подходящими книгами в данном случае можно считать такие, где затронуты социальные вопросы, не в тенденциозном освещении, а, так сказать, выражаясь по школьному – “герои труда и сильной воли”, а также униженные и оскорбленные в социальном смысле. Можно и чисто художественные – но не очень экзотичные вещи; исторические – из эпохи Великой Французской революции 48-го года. Сатиру на буржуазные пороки и слабости и то новое, что вышло за последнее время у авторов с крупными именами.

Такой список оказал бы и мне большую услугу, так как я приглашена работать в этом издательстве, но нет книг. Мне заказана *L'été Romain Rolland'a*^[346], но и ее нет в Москве. О ней – я уже писала – впрочем не в Париж, а в Берлин, куда поехала одна из моих приятельниц, но боюсь, что там этой книги нет, и она мне ее не вышлет. Из-за работы (мне дали несколько рассказов Напр'a^[347]) я живу больше двух недель в Москве. Материально начинаю понемногу оправляться – помогли по своему благочестивому обычаю американские дяди – время от времени они предлагают безработным писателям несколько долларов. Но теперь уж и без них смогу обойтись. Да и осенью я как-то не очень заметила, что бюджет исхудал. Так легко теперь с русского масла перейти на постное и уменьшить его дозы, отменить белый и ввести черный хлеб – и тому подобное. Предшествующий опыт был на пользу. Если придут в достаточном количестве французские книги, это уже будет твердая почва под ногами по крайней мере на полгода.

Евгений Германович тоже был в стесненных обстоятельствах, искал перевода. Гуревич обещала и ему. Он уехал на месяц в Тифлис, измотавшись в здешней сутолоке. Встретились мы с ним по-хорошему – то, что “художник варвар кистью сонной” чернит в человеческих встречах, годы снимают, как ветхую чешую. Я рада, что он привезет свою девочку в Россию. Дети должны жить в России – русские дети – особенно в первые годы, когда складывается душа.

За полмесяца пребывания в Москве я тоже успела устать. Всякий город, прежде всего – Вавилонская башня. И в старости это утомительно – таскать на нее кирпичи и даже смотреть, как таскают их. А развлечения уже давно перестали быть нужными. В театр хожу, когда кто-нибудь из знакомых актеров или актрис попросит посмотреть их. Вообще:

Ночи стали холоднее
Звезды меньше и бледнее,
Все прощания легки,
Все дороги далеки.
Крики жизни дальше, тише,
Дым кафельный вьется выше.
Пламя свечи восковой
Ярче солнца в час ночной.
Все, чему увянуть – увяло.
Все земное малым стало.
И с далеких берегов
Неотступный слышен зов^[348].

Так у меня сложилось про старость три года назад, и еще больше это так теперь.

Буду очень ждать вестей. Не хворайте и не спешите “в дальние жилища иных миров”.

Привет Вашей семье.

В. М.

41. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

1 мая 1924

Москва – Париж

Случайно встретила с Гершензоном и узнала, Лев Исаакович, что Вы спрашивали обо мне и даже переслали как-то через него несколько долларов, узнав о моей безработности. Это и тронуло меня и немного удивило. Отчего через Гершензона? Не проще ли было послать прямо на мой Сергиевский адрес – Красюковская ул. Д. Быковой. Кстати, идя

эти кружным путем деньги где-то затерялись. Г. говорит, что до него они не дошли.

Бог с ними. Теперь я понемногу начинаю зарабатывать и это уже не так насущно важно для меня, как было одно время. Грустнее гораздо, что Вы через Гершензона что-то узнаете обо мне. Я сразу откликнулась на Ваше последнее письмо и очень беспокоилась после него о Вашем здоровье, и не понимала, что значит такое длительное молчание.

Краткость писем и невыразительность давно понимаю и принимаю, и сама к этому теперь склонна. Но раз уже возобновилась переписка, не надо бы разрывать ее такими широкими полосами безответности. И тут, как везде должна быть, конечно, полная свобода действий. Но когда уже есть ток общения, хочется чувствовать его живым. И для животворения его, когда не хочется и не можетя писать, существуют открытки.

Вот Евгений Германович, предавшийся, как в юные дни, бродяжничеству по Абхазии и Кахетии и Грузии, только открыточки мне и шлет. Впрочем, было одно очень длинное письмо, и я порадовалась, что он мог так написать и так отдохнуть от городов, забот и дел. В письме почувствовался воздух, каким дышал Мцыри, Демон, Лермонтов и молодость.

Я рада, что Вы здоровы. За это время я не раз думала, что Вам совсем плохо.

Мое здоровье тоже сносно. Эту весну я к общему и своему удивлению на ногах. Зато мать слегла, по-видимому, уже непоправимо. У нее было нечто вроде нервного удара в начале поста. С тех пор она плохо говорит, плохо слышит и лежит почти без движения.

Несколько дней тому назад приехала ко мне Ниночка Тарасова со своей Галей, и это очень облегчит мне уход за матерью – Нина, говорят, берет его на себя. “Говорят”, потому что вот уже полторы недели как я в Москве (мать осталась с преданной мне моей служительницей) и Нина приехала без меня.

В июне ожидается из Америки Алла с Художественным театром. Я в Москве в погоне за заработком. Редактирую тут Гамсуна и других и перевожу – Гуревич милосердно подделась со мной половиной своего романа. *Romain Rolland* опять вывернулся у меня из-под рук. С осени я всех знакомых литераторов и нелитераторов просила выслать мне его *L'été* для перевода. Никто не выслал и его перевели.

Если Вы знаете какие-нибудь хорошие книги, не из тепличных, с более или менее социальной фабулой – французские книги – я была бы очень благодарна, если бы Вы прислали мне их. Адресовать надо Пименовская 16, изд-во “Мосполиграф”, Н.С. Ангарскому, для меня. Это обеспечило бы мне хлеб насущный на лето.

Что у Вас? Кто жив? И как жив? “Как” – поважнее, чем “да” или “нет” на вопрос “жив ли?”. Я всех помню. Минутами всех люблю – такая

огромная прихлынет иной раз любовь-жалость к человеку за то, что он человек, и все судьбы забьются как бы в одном сердце.

В. М.

42. Варвара Малахиева-Мирович – Льву Шестову

8 мая 1925

Москва – Париж

Больше недели прошло с той ночи, когда я прочла “Гефсиманскую ночь” но все еще звучит во мне ее “*Ad tuas, Domine, tribunal appello!*”.

И второе – такое мне знакомое – что агония Христа будет длиться до скончания мира.

В одной из Сергиевых пасх я пришла как-то с этой мыслью (своей, не Паскалевской) к Флоренскому. Он говорил: Христос воскрес. А я должна была сказать ему, что ничего не знаю об этом. А в страстную неделю и тогда, и теперь знала, что весь мир вовлечен в мистерию сораспятия и сопогребения Ему – с той поры, как он, мир, стоит и до той поры пока будет стоять.

Как Вы думаете, отчего Нитше не выстрадал этого права, какое явилось у Паскаля. Ведь и у него была бездна под ногами – и только бездна, куда летели вниз головой тысячелетние ценности. И одиночеств. И жестокая болезнь.

И как вообще помириться, и неужели Вы помиритесь с *élus et les damnés*^[349]?

Прекрасно и страшно это обречение “не спать”. И тоже знакомо.

Но как соединить с этим: мир мой оставляю вам. Мир мой даю вам. Не как мир дает, но...

У первых мучеников христианства, конечно, не было “сна”. Но мир был. Откуда он? И что такое он – мир? М. б. он возможен и над бездной – когда уже есть крылья чтобы перелететь через нее вместо того, чтобы ставить то или другое между собой и ею.

Много таких мыслей-чувств и среди них таких, какие трудно облечь в слова будит Гефсиманская ночь.

И давнее – во что некогда поверила душа, поверившая в путь ее творца – свежее дуновение с той отдаленной горной вершине, где чувствуется уже перевал в... не знаю куда

Но там возможны паскалевские. *Ad tuas, Domine, tribunal appello* вместо всех ржавых тысячелетних пружин, какими движется мир. Я называла их тысячелетними, но сейчас сообразила, что не в том дело. Что они состарились. А в том, что от века и с умыслом навеки кто-то завел их для того, чтобы человек не смел выйти из своего курятника.

Кто завел или что завело эти пружины? Первородный грех? И как знать человеку слеп он или зряч?

Я пишу непоследовательно, бессвязно. Я бы хотела до смерти, на этом еще свете, разок поговорить с Вами о Гефсиманской ночи.

Писать я разучилась – да, пожалуй, и не умела никогда.

А говорить – с немногими, с Вами – с покойным Гершензоном – временами могла, так что было понятно, о чем я спрашивала и понятно, что я понимала то, что отвечают мне те, “чей светоч на горе”.

Мар. Борис., кот. дала мне Гефсиманскую ночь”, согласилась со мной, что от этой книги сильный свежий ветер горны вершин с перевалами туда, где... Она думает, что туда, где теперь Мих. Осип. И она в чем-то права.

Я рада, что она может со мной говорить о нем. Буду заходить к ней почаще приезжая в Москву. Только ездить почаще мне мешает моя семья, кот. разрослась до 25 ребят.

Последнее время сильно устаю от них – явились мигрени – совсем чуждая мне болезнь.

Они очень кричат. Как в торговой бане – “ор” (словечко Надежды Сергеевны). Но пока меня не отчислят, не уеду. Отчислить же могут за то, что я не “молодежь” и не приверженец рефлексологии.

Жалко, что книжку Вы послали на имя Гершензона. Если попадется что-нибудь подходящее впредь для передачи, пожалуйста вышлите на кн-во “прибой” Лубянская площадь Валент. Роберт. Канатчиковой. Там пригласили меня работать – но условие то же поставили, что и в Мосполиграфе было – достать книгу самой, социальный роман. Такой роман прошел бы быстрым темпом минуя цензуру и очень помог бы мне выбраться из той материальной трясины, в которой я вязну.

Привет Вашему дому. А Вам – мир. Не покой, но мир...

Письма Варвары Малахиевой-Мирович Леонилле Тарасовой

1. 12 февраля 1897
Санкт-Петербург – Киев

Дорогая Нилочка!

Я очень удивлена тем, что мое письмо по адресу Кости не дошло к вам. Я написала ему на второй день по приезде в Воронеж, прося немедленно выслать 100 р., т. к. нечем было платить Николаеву учителю, да и мне самой без займа у Николая трудно было бы двинуться в Петербург. Со дня на день ждала от вас денежного письма, потому не писала. Наконец, пропустив все назначенные раньше сроки отъезда, я дала, как вы это знаете, телеграмму, т. к. сидеть дольше в Воронеже было бы тяжело. Восторги родственного свидания пережиты,

обстановка к работе не располагает, с мамой начались мелкие шероховатости, которые потом стоят крупных мук раскаяния и тяжелого чувства непоправимости. Все дни шли по одному образцу – утро, кофей, попытка творить, Шопенгауэр, обед, Шопенгауэр, чай с родственниками и с вареньем из общего блюдечка, Шопенгауэр и ночь. Ночью хорошо – от финиковой пальмы на стене, освещенной лампадкой, ложатся нежные и роскошные тени. Эти нежные тени, и Сокол в углу, и лицо Богородицы с каплей крови на раненой щеке напоминают мне с волшебной яркостью ту, другую Ваву, которая проводила долгие ночи без сна на этой же постели три года тому назад, и так безумно любила, так безумно страдала. Путем этих страданий много истин открылось мне в этой жизни; если я поделюсь, сумею поделиться ими с людьми, я буду глубоко удовлетворена. Я не жалею, что все было так, а не иначе. Я знаю, что то было безумие – и желание любви, и муки ее, но в них такая полнота жизни, столько красоты и столько молодости... Я люблю вспоминать их так живо и ярко, как вспоминаю здесь по ночам.

Я писала уже. Помню, три дня я провела в Нижнедевицке. Это было интересно – много новых впечатлений: глушь, но глушь интеллигентная – земцы, учительница, дамы с неопределенным томлением *fin de siècle* с сатирическими стихами и цыганскими песнями. Меня встретили хорошо, почти дружески, взяли слово приехать летом на месяц. Лёлина жизнь проходит в трудах, в нежном внимании к окружающим и в затаенном желании смерти. – завтра в Петербург. Остановлюсь в Москве у своего кузена – доктора [Мира], заведомого карьериста, но, впрочем, нравственного корректного и не лишённого интереса господина. Недавно он признался тетке, что я была его первой любовью, и что он очень хотел бы повидаться.

Пиши, Нилочка, побольше. Поклон своим, всем, кто меня помнит. Я всех помню.

Приписки на полях:

Сейчас вернулась с гипнотического сеанса. Усыпляла рабочего и внушала ему перестать пьянствовать.

Здесь большие морозы: нет охоты показываться на улицу.

Пиши, Нилочка так: Невский пр., 78, кв. 15 но только поскорее, этот адрес недолго.

Макс^[350] виделся с Гайдебуровым^[351]. Оказалось, что Гайдебуров слышал обо мне. Он хочет со мной познакомиться. Обещал дать работу в “Неделе”.

2. 10 января 1898
Санкт-Петербург – Киев

Не знаю, Нилочек, приеду ли я в Киев раньше весны. Порою я думаю о тебе и обо всех вас с величайшей нежностью и жаждой свидания. Но что-то держит меня в Петербурге. Если вдуматься в это “что-то”, увидишь, что оно разложимо на смутный интерес к тому новому, что еще не исчерпало жизни здесь, на неопределенное желание быть близко к некоторым редакциям и на серьезную привязанность к одной девушке, которой я нужна, как одна из последних жизненных резервов. Я провожу с ней полдня и полночи. Мы вместе читаем и всюду бываем вместе. Приехала третьего дня Настя. Мы по обыкновению много говорили и даже смеялись. Но – “недоступная черта между нами есть...”^[352]. Николая завтра уезжает в Воронеж, и оттуда дня через 3, 4 в Киев. Мне страшно жаль, что нет сейчас денег послать вам, мои родные то, что хотелось бы. Финансовые дела по обыкновению в самом глубоком декадансе. Однако, ребятишек я не могла оставить без подарков, хотя в данном случае подарки, больше, чем где бы то ни было нуждаются, чтобы при виде их адресаты говорили: мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь. А все-таки напиши, угодила ли я ребятишкам и кому как, а главное, что Ай^[353] сказала и какую сделала физиономию.

Недавно была на вечере Венгеровой – где видела ту, которую Бог поставил на рубеж меж пошлым и небесным – полу-серафима, полу-кокотку и полу-химеру – Мережковскую^[354], видела Вейнберга^[355], <нрзб> – Так ты хочешь, Нилочка, чтобы я определилась? Определиться внешне можно было бы, но разве это важно. Крепко целую. Пиши. Вава.

3. 15 января 1898
Санкт-Петербург – Киев

Надеюсь, что ты дорогой Нилочек, простишь меня, что я не рассчитала времени послать это письмо к именинному пирогу. 16 января я помню – и этот день неразрывен с твоим образом. И образ твой в этот день мил и прекрасен, как олицетворение юности. Это звонкие песни, это голубые глаза отважного норвежского юноши, это вьющаяся ореховая коса – я люблю их и буду помнить и видеть как в ясновидении даже и тогда, когда ты станешь сгорбленной, седой и сентиментальной, как твоя мама. И так, ты простишь меня, Нилочек. А если узнаешь, почему не написала вовремя, то поймешь, что иначе и быть не могло. Я вошла в драму чужой жизни с головой по уши, со всем глупым скорбным сердцем, со всем кременем и силами.

Драма эта касается меня лишь косвенно. Но я, все-таки я была причиной, что эта девушка, которую я успела полюбить, теперь хочет покончить с собой. Ей бы, верно, было лучше “там”, в нирване, в раю, в доброй темной могиле. Но пока есть возможность удержать ее – я малодушно хватаюсь за все соломинки и заведомо фиктивные и заведомо <нрзб>, чтобы она жила.

Я устала, милый Нилочек, но душа моя напряжена, как струна, которая звенит даже от прикосновения ветра. Я очень устала. Лечение мое еще не начиналось, вместо того, чтобы брать души, взяла урок на Фонтанке (25 руб. в месяц, заниматься через день 1,5-2 часа). Не узнаешь ли ты через Талю^[356], когда выйдет 2-е издание Собора^[357], и почему на мою просьбу прислать еще один экземпляр, он мне очень нужен, и я просила выслать за деньги, но с уступкой – она ничего не ответила.

Приписка на полях:

Был недавно Лазур<ский>^[358]. Он из тех, которые сразу покажутся гораздо более простыми и ординарными, чем оказывается потом.

Крепко целую тебя и детишек. Пиши. Вава.

4. Санкт-Петербург – Киев

Дорогой мой Нилочек!

Спешу предупредить тебя, что в одно январское утро к вашему крыльцу может подъехать темно-коричневое видение, в котором ты узнаешь, или не узнаешь Николая. Вам придется приютить его у себя на диване на 2 или 3 ночи, пока студент, с которым он будет жить не приищет комнаты. В Петербурге, как я, кажется, уже писала, жизнь с учителем обошлась бы рублей в 50-60, что превышает мои плательные силы вдвое. Студент – еврей. Я совсем забыла, что такое русские, оевреилась, люблю евреев, смоковницы и аравийское солнце их темпераментов и Давидову арфу их лиризма. Ко мне приедет Настя. Я узнала, что она сидит в Москве, как рыба на мели. Я рада ее приезду и очень жду ее, чтобы читать вместе “Так говорил Заратустра”. Возьми это в Библиотеке – перевод Антоновского – услышишь веяние будущих столетий и сердце, воспитанное на христианстве и демократии ужаснется. Сердце ужаснется, а в лицо будет веять холодный горный ветер с ароматом дивных незнакомых цветов.

У меня уже есть комната – большая, светлая, с письменным столом, с мягкой мебелью, с цветами. Если кто-нибудь приходит вечером, я

гашу лампу, зажигаю лампадку на этажерке перед Костиным портфелем, окружаю этажерку цветами – и тогда комната превращается в сказочный лес с огромными листьями у окна, огромных кустов и перистых пальм. Я полюбила мою комнату – в ней тихо, как на дне морском и видно небо белое днем, мутно серое перед вечером, ночью темное, туманное, неразгаданное.

Целую тебя, Костю, детей. Пиши. Вава.

Мой адрес: Надеждинская, № 22, кв. 23.

5. 17 января 1898

Санкт-Петербург – Киев

Я думаю, Нилочка, что это письмо мое придет, раньше, чем Никола будет в Киеве. Не забудь, голубушка, как только увидишься с ним, передать ему две мои просьбы. Первая – как можно скорее пойти к Саре^[359] и разузнать там, отчего М.С.^[360] ничего не пишет мне по поводу 2-го издания Владимирского Собора. Вторая просьба – в типографии Розенберга справиться, в каком положении издание моих рассказов для детей. И та, и другая справки для меня очень нужны. Вчера только писала тебе письмо – но иногда мне кажется: писать близким, так уж писать каждый день, или никогда, или открытки: жив, здоров, чего и вам желаю. Какая страшная вещь – не быть вместе с близкими. Я оттого переносу это, что я фантазерка, у меня яркая память и множество событий во внутренней жизни, которые не дают сосредоточиться на том, что реально со мной нет никого из вас, киевские друзья. Пиши, Нилочек, чаще. Я хочу слышать больше и подробнее про тебя и про детей, про Костю. Настя притаилась у соседнего стола и творит. Читали ли вы ее “Гусеницы” в Рождественском номере “Ж. и Ис.”? Я полюбила этот рассказ. Настя стала отзывчивей к жизни и многим интересуется. Вчера был у нас Лаз<урский>. Чем дальше, тем больше хорошим и интересным становится в моих глазах этот флегматический человек, задумчивый до мрачности и очаровательный, когда улыбается. Ты, кажется, интересовалась в одном из писем его внешностью. Он высок и в фигуре его есть что-то привычно одинокое, как в силуэте тополя. Он рыжеват, как Панько и лицо его склонно к застенчивому румянцу. Глаза у него тоже рыжеватые, мрачные, со светлыми ресницами, а рот удивительный, гордый, алый и девически чистый. Я люблю смотреть на его лицо.

Приписка сбоку:

И напиши о Николе: какое впечатление произвел, держал себя медведем, или нет.

Был Ланге^[361] на 5 минут... *Tiré à quatre épingles*^[362]. Я так его в сущности перезабыла, что удивилась его существованию. Ну, Нилочек, <2 слова нрзб>, из того, что я написала столько об Л., не заключи чего-нибудь романтического, и я, Боже мой, как далека от ролей...

6. 21 февраля 1898

Санкт-Петербург – Киев

Сегодня я проснулась рано – в окно глядела угрюмая статуя с фронтона противоположного дома, и полоса темно-серого неба, полного угрюмым петербургским сплином. “На караул!” – раздается свирепый голос с улицы и вслед за ним торжественный плач похоронного марша. Я подошла к окну – хоронили какое-то важное военное лицо. Эти хлопоты и заботы о комфорте, эта погоня за наслаждением, какой проникнут холодный большой город – какое это великое заблуждение! Кажется, я понимала это умом в последние годы и начинаю понимать самой глубиной моего существа, что “единое есть на потребу” – Бог и Любовь – Но от глубины, от сверхчеловеческой вероломности этих понятий то, что называют разумом – наша бледная попытка безвинных, которых мы впутываем в дело познания мира, отворачивается и маскируя свое бессилие, говорит: нужно заниматься земным хозяйством. Будем заниматься земным хозяйством! Для этого иду сегодня в Вольно экономическое общество слушать Туган-Барановского. Я познакомилась с ним – настоящий Туган Барановский^[363]: добродушно-придурковатое лицо, с оттенком обычного марксистского самодовольства, скучен и криклив, т. е., вернее шумен – говорит не только ртом, но и руками, и очками и так громко.

Знаешь, Нилочка, я была два дня в Москве. Остановилась в гостинице с дядей Петром Фёдоровичем и кузеном Мирой. Кузен на правах кузена весь день целовал меня. К вечеру я поняла, что это нехорошо. Мы пошли на “Хованщину” – мрачная музыка русского раскольничьего аскетизма, сцены самосожжения, измены бояр, колдуны. Мне понравилось. Пришли с Хованщины – дядя уехал куда-то ночевать и оставил номер (с перегородкой) в наше распоряжение. Что это за тяжелая была ночь. Я люблю любовь, но я не люблю мужской страсти. Я была холодна, как горный снег, дважды провеянный северным ветром. Тем не менее я пережила ряд страстных сцен. Наутро я простила его – мы расстались друзьями, но провожая меня, он сказал, что не хочет дружбы, не верит в нее, но ликвидирует свои дела в Москве (он ординатор) и приедет в Петербург “с иными целями” (это было сказано грозно). Как тебе нравятся “иные цели”? Выдумали же люди, что это счастье, обнимать друг друга и целовать в губы, поцелуй, которого я совершенно не выношу, так он некрасив и груб. Итак, я пишу

тебе о поцелуях. Что делать? Я еще не могу забыть этого дикого впечатления московского кузена в связи с Хованщиной и с теми модными трактирами, где мы ели блины. В Питер я приехала вечером; Сони и Евг. Ю.^[364] не было дома. Я бросилась с разбега в вагон конки (здесь конки не останавливаются) и поехала на Васильевский остров отыскивать Елену Алекс. Ее также не оказалось дома. Затем я встретила с ней на кантовском юбилее. И она встретила меня, а также Софью Александровну так холодно, почти неприязненно, что мне не хочется больше к ней идти. На этом кантовском юбилее отвратительно читал Лесевич^[365], и чисто, гладко, не без изящества прочел реферат Лаппо-Данилевский^[366], который очень напоминает Горощенко. Затем были на лекции Влад. Сол<овьева>. Об этой лекции послала в "К. Слово"^[367]. Вообще лекции, заседаний здесь подавляющая масса. Венгерова, которая отнеслась ко мне необыкновенно тепло и дружески хочет заманить меня в "Женское общество". Я согласилась. С рекомендательными письмами еще нигде не была. Заходила к Муме Б.^[368] она ведет жизнь женщины – гражданки – все, что делается в общественной жизни Петербурга близко ей, как личные дела – и это мило, потому что у нее это не напускное. Мума обещала мне урок – 0,25 руб. и обед. Пока живу у Сони в одной комнате с ней. У нас хорошие отношения и мы не стесняемся друг друга. Единственное неудобство – не даем друг другу спать длинными ночными разговорами. У меня к ней нежное отношение как к дороговому, редкому и вдобавок крылатому цветку. У нее – не знаю, что, но что-то хорошее, прочное и исключительное. Встаю поздно; читаю всякие летучие вещи; между прочим, нашла книгу о Нитше – <нрзб>. Обедаем в 6 ч. у Венгеровой. Там часто бывает Минский. Минский интересный человек, но есть в нем что-то изломанное, искусственное, пряное и жесткое вместе. Жесткое, потому что в базисе всего лежит алчный, малодушно боящийся смерти эгоизм. Он сильно увлечен Соней, а ко мне у него странное отношение – как ни странно, а есть между нами какая-то не от нашей воли зависящая близость. Про меня он сказал вчера, что я похожа на маленькую итальянку – молчу, как будто не умею говорить и вдруг подниму нож и отрежу кому-нибудь или чему-нибудь голову. Была на финляндской выставке – претенциозная попытка символизма – и такой север – то суровый, то унылый, то лубочно яркие краски. Встретила на выставке <нрзб> и обрадовались мы этой встрече, как радуются соотечественники на чужой стороне. Я пробыла у них вечер – играли в рулетку – я выиграла пятиалтынный. Был еще один член нашей компании. Алипшевич, теперь занимает здесь какой-то пост в Управлении дорог. Я пойду к нему – он оказался неглупым человеком и с хорошим настроением.

Приписки на полях:

Мой поклон передай Надежде Васильевне, Юлии Владимировне Чеботаревой^[369]. Все они отсюда необыкновенно милы.

Нилочек, скажи Тале, что тот, кого Юл. Вл. называла “наш общий друг” в настоящее время там, где я была по возвращении из-за границы (тюрьма).

Софье Исааковне буду писать на днях. Кланяйся ей.

Ну, пиши, родной Нилочек. Я буду отвечать. Пиши, пиши. Тебя и Костю целую.

Мой адрес: Невский, 59, Зинаида Афанасьевна Венгерова для В.Г. Малафеевой.

7. 27 марта 1898

Санкт-Петербург – Киев

В страшной досаде на то, что все мои письма к вам (3 или 4) пошли на удовлетворение нескромной любознательности классных дам. Думаю перехитрить их и пишу тебе, дорогой Нилочек, на имя мадам Лоран. Если бы в глубине моей души не жило такого буддийского “все равно” по отношению к событиям моей жизни, я имела бы причину плакать от досады. Дело в том, что благодаря тем классным дамам, заведомо пропадают почти все письма, адресованные мне. И как, и чем убедить мне этих не в меру усердных классных дам, что “царство мое не от мира сего”.

Твое заказное письмо пропало. Отыщи квитанцию или припомни день, когда послала его и вознагради себя хоть 10-ю рублями к празднику, которые тебе должны выдать за пропажу заказного письма. Затем, при случае, передай Вере Петровне мое неодобрение тому, что она обещала сжечь мои письма в тот же день, как я ее об этом попросила (в позапрошлом году осенью) – и до сих пор не собралась сделать этого. Конечно, мне противно подумать, что чужие и неприятные мне люди прочтут мои письма и бумаги. “Но умолкни моя стая – и погромче нас были витии”.

Перейдем к Петербургу и к моему петербургскому существованию. Я живу уже отдельно от С.Г., в крошечной, но чистой и тихой комнате на Преображенской улице, № 3, кв. 2. У хозяйки моей сын, который поет по вечерам: Уста мои молчат, и мне снилось вечернее небо, и берет на рояли аккорды, полные бурной тоски. Не подумай, что тут какой-нибудь роман – мы еще ни разу не видели друг друга. Затем – хожу по выставкам – если хочешь знать о них и вообще о впечатлениях Петербурга отсылаю тебя к одному из номеров Киевского Слова, где будет напечатано мое письмо. Кстати, кого я только не закликала,

чтобы зашли в Ж. и Ис. и добыли мою сказку для детей. Она мне очень нужна. Если же ее там напечатали, пусть хоть гонорар вышлют. Живу исключительно стихами, т. е. в кредит. Неделя платит мне по полтиннику за строчку. Она напечатала Жанну Аскуэ^[370], в мартовской книжке тоже будут мои стихотворения. Затем были сегодня у Флексера (Волинского), оставила у него 5 стихотворений. В понедельник узнаю, будут меня печатать в Северных Цветах, или нет. Игрушечка^[371] и Жизнь также приняли меня. Знакомств из литературного мира много, особенно Гайдебуров настаивает, чтобы я писала о Петербурге в Неделе. Я боюсь взяться – это не мое.

Приписки на полях:

Пусть Женя вместо диктовки напишет мне письмо (только спроси ее, хочется ли ей написать).

8. 22 апреля 1898 год
Санкт-Петербург – Киев

Я не могу спать. Белые ли ночи этому виною или истерические нервы старой девы – но вот уже больше двух недель, как я засыпаю тогда, когда солнце поздравит меня с добрым утром. Я не думала сегодня отвечать на твое письмо, которое принес Эммануил, потому что сильно была утомлена днем, полным ходьбы, с расслабляющей баней в конце вечера. Но пролежав без сна в постели, я увидела, что мне предстоит бессонница и решила зажечь свечу и писать. Ах, сколько своеобразной томительной, бессонной печали в этом странном белом сумраке, который называется белой ночью. Эта печаль обнимает душу, как ласка и как слезы, растворившиеся в болезненной сказочной мечте. Без горя и радости, без покоя и тревоги, все глубже и глубже задумываясь над собой, плывет эта странная северная ночь между мутным небом и ясной землей, как призрак, как чей-то грустный сон, как невоплотившаяся греза.

Я думаю о твоём письме, о тебе, о том существе, которому ты дашь жизнь. Кто – это существо? Кто и во имя чего вызывает его к загадке жизни и смерти? Как пройдет оно короткую, но трудную дорогу между двумя областями несуществования? И вот наряду с ними передо мной встают четыре разных лица с их уверенной торжествующей жизнью, с утренними криками, с грохотом игрушек, с плачем, с капризами, с невинным эгоизмом, и с улыбкой херувимов. Я вспоминаю весь шум, и цвет, и вкус жизненных явлений – зелень травы на валах, высокие тополя, ваш садик – и мне не хочется уже думать о тайне, а хочется жить, быть, как дети, как роса на листьях, как воробей. Как я

обрадовалась Эммануилу! Во-первых, от него повеяло Киевом, по которому я, оказывается, страшно соскучилась. Во-вторых, после целой недели ночных и дневных философских бесед с моим соседом о тщетности жизни, добродетели и нравственности, о целях, о бесцельности, о Боге, разуме, о материализме – он принес мысли, чувства и речи, непосредственные, как ржание лошади. Это до того развеселило меня, что мне вернулись 17 лет, и я очаровала Эммануила до дикого блеска в глазах и заботы о том, как и когда ему со мной видеться. Конечно, я сделаю все от меня зависящее, чтобы эти свидания не осуществились.

Ты жалеешь о моей встрече с Щ., Нилок. А я нет, хотя мне тяжело. Я гораздо больше жалела бы, если бы она была другой. Я предчувствую и знаю, что дети, если бы они у меня были, произвели бы огромный переворот не только в моей жизни, но и во внутреннем мире. Они привязали бы меня к жизни толстым канатом, дали бы мне ряд маленьких, но кажущихся великими, интересов, создали бы оторванный от основного мира, мир горячего и нежного, слепого и глухого эгоизма. Всему этому я сознательно и добровольно предпочла свободу одиночества, и душа моя спокойна. Я не говорю о Щ. Там сразу понятно стало, что мы чужие. Была еще одна встреча, результаты которой зависели от меня, и я распорядилась опустить занавес над прологом, не ожидая даже первого действия. А Щ. был недавно у меня. У него худой, нездоровый и недобрый вид. Он получил место помощника директора на заводе, и живет далеко от меня. Мы условились идти вместе в музей и оба не спешим с этим, предчувствуя, что нам тяжел будет этот трехчасовой тет-а-тет в музее.

Не знаю, когда попаду в Киев. Может быть, раньше поеду в Воронеж и Нижнедевицк. Может, останусь в Петербурге. Здесь Мума обещала мне какое-то место в “Журнале для всех”^[372]. А, впрочем, может быть, и не утерплю – брошу все и явлюсь к вам неожиданно, как тать в ночи. Ужасно я по вас, милые мои, соскучилась.

Читаю много. Работаю над большой вещью – напишу и порву; но от мысли кончить не отказываюсь. В Игрушечку отдала еще один рассказ и стихи. Там меня одобряют. Получила из провинции письмо с восторженным отзывом о Жанне Аскуэ.

Но интересных людей “по типу” и “по содержанию”, однако не встречала. Получила ли ты письмо, где я говорила о Муме? Напиши, это мне хочется знать. Я вижусь с ней, виделась раз с Феодорой и С.А. Они удивительно бодры и сознательно ничего не хотят знать проблемы завтрашнего дня и истории. Работают массу, живут скромно, личной жизни, как и прежде, и в помине нет. И нет также тех слез энтузиазма в душе, которые делали душу такой прекрасной.

Вчера я была на редакционном обеде в “Неделе”. Гайдебуров (отнесшийся ко мне с большим вниманием и участием) дает раз в неделю великолепный обед ближайшим сотрудникам редакции. Был

Меньшиков. (Читал элементы романа. Похожий на маленькую коренастую бабу, расторопную и упорную. Того пророческого настроения, какое есть в его статьях, за обедом в нем не заметила.) Был камергер Случевский, человек с каким-то свирепым самомнением, и с первого взгляда надменностью и вульгарностью.

Был Абрамов, был Исаев, еще кто-то – взгляни на них и пройди мимо, как говорится у Данте. Украшением стола была Генриэтта Кангрэм^[373] (рассказ “В крепости небывалой”), тоненькая, с польскими ужимками, молоденькая, с бархатными щечками, с атласными ручками, с шелковистой шевелюрой черных негритянски густых локонов и с огромными карими глазами на детском капризном личике. Был Соловьев (Слона то я и позабыла). Это философ – добродушный и строгий, похожий на Васнецовских угодников; он же и стихотворец а la Тютчев. Говорили об искусстве, о Толстом (читала его последнюю статью), о Котарбинском – в Петербурге много шума наделали его сепии. Я буду писать о них в Киев. Говорили о буддисте князе Ухтомском, о Крестовоздвиженской общине первых христиан, основанной Неплюевым в Ямполе. Я, между прочим, собираюсь туда. Это очень для меня интересно, как для провинциала такого захолюстья из захолуствий, каким является Киев, не то, что Петербург, но даже перед Воронежем.

Не слышали ли чего о Вас. А. (Ланге)? Меня очень беспокоит его двухмесячное молчание.

Приписки на полях:

Был здесь на днях Макс^[374]. Осталось от нашей встречи хорошее, почти поэтическое воспоминание.

Мне по-детски грустно одной встречать... (*обрыв текста.*)

Если бы вы знали, что за подвальная сырость, черная духота, какой скверный запах в атмосфере декадентской компании. Я совсем раззнакомилась с ними.

Целую тебя, Нилочка дорогой. Жду письма. Напиши побольше. Костю целую, детей тоже.

Мой привет Надежде Васильевне и всем, кто меня еще не забыл. Какие слова говорит уже Алла?

Напиши побольше, Нилочка. Не грусти. Поцелуй Костю. И тебя крепко, крепко целую. Вава.

9. 28 июля 1898
Полтава – Киев

Поскорее заставь, дорогой Нилок, лентяя Костю или кого-нибудь из посетителей, если сама не можешь известить о твоём здоровье. Твое письмо ужасно взволновало меня – в этих недобровольных физических страданиях, которые тебе пришлось перенести, есть что-то возмущающее меня против самого Бога. Лиза ужасно страдает. Я при ней безотлучно. Мне хочется порой уйти в дальний угол сада и кричать от горя, что мир устроен так плохо, что есть рак, операции, боязнь смерти (она не хочет умирать).

У меня, кажется, воспаление почек. Единственная светлая точка у нас – это тот доктор, который нас лечит. Богатый человек, женатый на аристократке, имевший сумасшедший успех у женщин – он переломал всю свою жизнь, все раздал бедным, лечит бесплатно, стал вегетарианцем и принял толстовскую веру^[375]. Жена и дети последовали за ним. Живут бедно, дети бегают босиком – и вообще обиход крестьянский. Кроме того, он все бросит скоро и уедет на Сахалин к своей первой жене, с которой расстался 18 лет назад. Едет из чувства вины перед нею и с согласия второй жены. Очарование его личности громадное – все окружающие его боготворят, а он прост, как дитя. Для меня помимо очарования тут еще одна радость:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край^[376].

Вообще глухая полтавская провинция куда живее нашего прокислого Киева. Взять хотя бы Лизу и ее мужа – сколько самой горячей заинтересованности у них тем, что делается на свете. Не говорю уже о земских детях, которые для них ближе, их собственной души – но литература, Дрейфус, учащаяся молодежь, война испанцев и американцев их интересует настолько, что без всякой натяжки темы их разговоров всегда носят общий характер. Толстовское настроение сильно захватывает Полтаву. А статистическое бюро – это настоящие Ульрихи фон Гуттены^[377]. Помнишь: “Науки процветают, умы волнуются – весело жить на земле”. Таково их настроение. Я с радостью познакомилась бы с ними поближе, но теперь и некогда – Лизу нельзя оставить и самой сильно не здоровится. Вот приедет завтра мама – тогда можно будет в Полтаву несколько раз съездить.

А теперь о Кульженко. Пожалуйста, призовите Талю и передайте через нее Василию Стефановичу, что я: 1). Безусловно не разрешаю делать никаких добавок им к моему тексту – нагонять текст может новой главой – пусть наймет своего корректора и он напишет ему свое впечатление за 5 с полтиной – 3 листа. 2) Расплату его со мной считаю ловким эксплуататорством.

И еще: простое приличие требует того, чтобы не через мировой суд, а через Талю Василия Стефановича прислать мне несколько экземпляров.

Приписки на полях:

До свиданья, Нилочка. Крепко тебя целую. Поправляйся. Твоя Вава.
Поклон Косте и милым деткам.

10. 7 августа 1898
Воронеж – Киев

Думала я, мой бедный Нилочек, думала много о твоём положении и ни до чего не додумалась. Единственный выход – заем, но кого не возьми, нет могущих дать займы – заем выходит осложненным такими нравственными неловкостями, что решиться на него трудно. У Макса я беру только с точным указанием имени, фамилии и надобности того лица, для которого делаю заем.

Остается С. И<сааковна> и Софья Григорьевна. Первую почти невозможно просить о такой сумме. Это в ее глазах целое состояние. Второй я задолжала по уши и не повернется язык говорить больше ни об одном рубле. В моей личной кассе 1 руб. 40 коп... Подумай ты сама еще, посоветуй мне какую-нибудь аферу. Очень тяжело, голубушка, представлять, как ты, еле оправившись от операции начнешь снова переживать все муки и унижения погони за рублем. Придумай, Нилочек. Может быть, в сообществе с тобой можно будет мне добыть из ничего 100 руб.

Время от времени я валяюсь, меня мажут со всех сторон – но что-то со мной случилось – наверное не известно. Аппетита никакого, сна тоже нет. Кроме того я стала вегетарианцем – прощайте колбасы, котлеты, селедка. Последнюю, впрочем, могу есть – пока считаю переходным временем время, мной переживаемое. Лизе мало по малу становится все хуже. Мама собирается послезавтра бежать “от этих страшных мест”. Это грустно – она такая хозяйка и так умеет ухаживать за больными. Ждем сюда Настю – проездом к Анюте^[378]. Анюта, ты знаешь, обманутая <нрзб> осталась на <нрзб> со своим заграничным паспортом. В идеальных людей верь: их мало, два на весь содом и гоморру – но все они есть.

Видели ли вы Талю? Что с ней, она не пишет. Пиши, Нилочек. Костю поцелуй покрепче. Целуй ребятешек, в частности Ай. Целую. Вава

11. 14 августа 1898
Воронеж – Киев

Целую ручки, ножки и больной животик, Ай-ай-ай-ая. Мой милый, мой бедненький Ай-ай – год тому назад, когда мы провожали Войнцвойга^[379], если б он изрек ей смертный приговор, была бы только слабая животная жалость, а теперь это болезнь. И одна мысль, что ей может грозить опасность, уже целое горе. Пиши, родной мой Нилочек, о ее здоровья. Мне мерещатся всюду какие-то неизбежные удары – это, конечно, говорят нервы, развинченные зрелищем медленно умирающего человека, к которому на зло логике событий все теплее привязываешься. Мама осталась еще дня на 3, в ожидании Насти, которую ждем завтра – она побудет здесь несколько времени, проездом к Анюте. Мама все рвется домой, потому что ее подруга Аня нездорова и скучает по ней, о чем доносят каждый день жалостные письма. Это дружба 40 годов из какой-нибудь мелодрамы под занавес: Две Элеоноры или “Для сердечного дружка – и сережка из ушка”. Мне было обидно, что мама не хотела посидеть с нами. Лиза все в прежнем положении, но каждый день говорит о своих надеждах на выздоровление. Ко всему привыкаешь – теперь это потеряло для меня остроту первого впечатления. Я уже могу и читать, и думать о своем, за что мучить совесть по временам напрасно.

Сегодня ездила в Полтаву встречать Настю. Не встретила, но походила по Полтаве: пыль такая, что в двух шагах ничего не видно. И деревья и трава совершенно серого цвета. Была у доктора, которому время от времени я посылала цветы с тем чувством, как хорошие католички кладут розы к ногам статуи Франциска Ассизского. Сегодня же я была в самое сердце поражена тем, что он заговорил со мной языком земного флирта. А может быть, это не флирт, а что-нибудь важное, predetermined самим небом. Стало грустно, и как это часто бывает, захотелось быть чьим-нибудь видением, а не плотским существом.

Приписки на полях:

До свидания, голубка. Пиши.

А сколько здесь поэтов! Мне представлялось уже 3: баштанный – страшная задира и драчун, Наркит, священнический сын и его репетитор, этот и драматург.

12. 7 сентября 1898
Санкт-Петербург – Киев

Дорогой Нилочек!

Я не знаю, что и думать о вас! Почему ни слова, ни вздоха – вот уже больше 3-х недель не было. И Таля, и Поля^[380] – все молчат, точно заговор какой-то. Неужели просто лень и слабая память – “схоронили – позабыли”. Но ведь я еще живу – и не умею жить без отсутствующих друзей. Ради Бога – напишите – здоровы ли. Ну хоть ненавистную открытку настрочите. Я в Петербурге уже неделю. Адрес: Эртелев, № 7, кв. 15. как видишь: В одной знакомой улице я встретил старый дом. Николай от меня через площадку лестницы. Столуемся вместе и чай пьем вместе. И то, и другое пока в кредит. Учитель Николая превращается мало по малу в гениального композитора. Его взялся даром учить композитор Липпольд^[381], который изумляется его таланту.

Я торжествую – ведь первая почуяла, что он гений, а не “помешательство”. Занимаюсь с Колей литературой. К петербургской жизни подхожу исподволь, недоверчиво, холодно и отчужденно. Мечтаю о холмике на очень высокой горе: справа вершина с вечным снегом, слева – пропасть, да такая, чтобы и признака дна не было.

Поклон тем, кто не забыл скитальца.

Жду письма. Слышишь, Нилочек.

Твоя В. Миревич

Приписки на полях:

Этот Липпольд пишет музыку на мои стихотворения. Вот и все.

Пишу оперу для Липпольда под заглавием Майя. Сюжет и заглавие мои. Музыка, конечно, его. Треть дохода с оперы моя. Поставлена может быть через год.

13. 8 октября 1898

Санкт-Петербург – Киев

Дорогой Нилочек!

Письмо твое получила третьего дня, но люди, дела, заботы и впечатления помешали собраться ответить в тот же день и вчера. Сегодня я устала от фельетона, от чтения газет и ходьбы по городу, чувствую себя в праве ничего не делать, рада, что я одна и рада приливу желания поболтать с вами обо всем. Прежде всего, несколько слов по поводу твоего письма. Для такой глухой провинции, каков Киев (глуше Воронежа) это чрезвычайно оживленное письмо. И я рада, что это так. Что может быть хуже, чем сон духа. Но о себе скажу, что меня

в библиотечную комиссию не тянет – книжное дело далекое от жизни, хотя, конечно, необходимое и интересное. Мне хотелось бы или обнять жизнь так тесно и крепко, чтобы сердце перестало биться в ее объятиях от боли за нее и любви от ней. Или жить далеко и высоко в келье с незажженной лампадой, пред неведомой святынею. А так, как я не умею устраивать для себя ни того, ни другого, то пока что собираюсь писать маленькие фельетоны в Русь – та же комиссия.

Главным жизненным импульсом остаются при этом деньги. Их нет и следующий месяц надвигается на душу с наглой и саркастической усмешкой, протягивая счет: 10, 5, 15, 20 и т. д. – в то время, как в кармане нет ничего и даже то, на что я не решалась в течение шести лет сделать – у Макса Бродского занято 75 руб. ищешь работу – получаешь обещания, приходишь домой и строчишь фельетоны вместо Ай и теней прошлого.

Как жаль Таличку! Отчего же она не устроилась так, как проектировала весной: уроки декламации, воскресная школа, языки. Она так молода, ей можно еще спокойно поучиться и пожить жизнью цветка года два. А Ланге тоже жаль. Бывает так – с первой встречи с человеком, он западет в душу и займет в ней, хоть небольшое, но определенное место. Так было у меня с Ланге. Я поджидала его здесь, мне хотелось послушать, как он говорит, и походить с ним по Петербургу. Его обручальное кольцо и таинственная жена не смущают. Мне, чем женатее, тем лучше – и при этом жены могут спать спокойно, как будто отпустили мужа погулять с доброй няней или с двенадцатилетней девочкой.

Что будешь слышать о Ланге, напиши. Что касается до волны петербургских знакомых, она пока та же, что и весной. С Меньшиковым вижусь довольно часто, но тон нашего знакомства меня уже смущает – слишком интимно. Гайдебуров также назначает мне частые аудиенции с обедом, с музыкой и стихотворениями, длинные тет-а-тет, которые хороши тем, что он играет Шумана, как бог музыки и меланхолий. Кроме того, он тонко понимает стихотворения. Вчера я не заметила, как прошла такая аудиенция, длившаяся 4 часа. А это уже много! Затем, к соблазну дворника и жильцов, он провожал меня в карете в мой закоулок. И я прихожу после музыки, после разговоров о лотосах и звездах в комнату, где мне подают горох с луком, а на стенах шевелятся массивные тараканы. И иногда я думаю, как это случилось, что я человек, а не нота какого-нибудь оркестра, не снежинка, растаявшая в воздухе.

Приписки на полях:

Николая решила оставить в Петербурге – нашелся великолепный учитель.

Костю милого хорошего и тебя крепко целую. Привет всем, кто не забыл меня.

Целую беленький хохолок А-ай, розовый носик Лены, голубые глазки Нины и всю мордочку Женечки.

14. 9 октября 1898

Санкт-Петербург – Киев

I

Ты хочешь, милый друг, стихов —
Они цветут в душе, как розы,
Но воплотить их – нету слов,
Как рассказать нездешней грезы.
Туманный образ, что обнял
Меня всецело, безраздельно
И право жизнью жить отнял
И истомил меня смертельно.

II

Я с ним родилась, им живу,
И сердцу жаль порой до боли
Цветов, которые я рву,
Губя расцвет их поневоле.
Вливая тонкий, жгучий яд
В дыханье тех, что не сорвала,
Чей полный смерти аромат
Так часто прежде я вдыхала

Я говорю о тех сердцах,
Какие бились мною сладко.
Далеких, милых дней тетрадь,
В еще не высохших слезах
Твое письмо мне приоткрыло...
...А ты за что меня любила?

III

Мне больно, милая, не стою
Я этой нежности живой,
С моею, жаждущей покоя
И одиночества душой.
Мне снятся сонные громады
Вершин их вечные снега,
Над ними звезды, как лампы,

Под ними – моря берега.
И там, где грозное ущелье
Таится в дальних высотах,
Давно поставила я келью
В моих мечтаниях и снах.

IV

Я над письмом твоим в печали
Сижусь до полночи глухой.
Дневные звуки отзвучали
Давно над спящею землей.
Соседи спят. Дыханье их
По дому шорохом несется,
Как будто мирных домовых
Неясный топот раздается.

V

В душе, как звучная струна
Дрожат прошедшего мгновенья.
О, как я прошлому верна!
Как целы все его виденья.
Твой образ светлый, молодой,
И неподкупный, и суровый,
Прямолинейный и простой
На рубеже той “правды новой”,
Что душу к подвигам звала
Встает в пленительном сиянии.
Душа притихла, замерла
В немом и скорбном обожаньи.

VI

Маяк, который светит в нас,
Как высшей правды отраженье,
Горит не вечно. Он погас.
Но сила старого горенья
Сквозь годы тусклые прошла
Лучом таинственно прекрасным,
И красоты звезду зажгла
Во мраке скучном и ненастном.

VII

О, как я рада! Ты со мной.
Сейчас мне страшно, страшно было —
В той церкви синий дым кадила
И гроб, закрытый пеленой.

В гробу безгласно неподвижный
Двойник усопший мой лежит,
И нет ничьей руки любимой
Поправить волосы. Висит
Вдоль бледных щек его небритых
Волос рассыпанная прядь...

Но ты пришла. Склонилась низко,
Решилась ласково принять
Тяжелой пряди тень немую —
И были мертвые уста
Живому рады поцелую,
Как рада солнцу темнота.

VIII

Меня бессонница томит.
Ты знаешь ночи роковые:
Пустыней жизнь вокруг молчит,
Все чувства мрачные, нагие.
Как Езекиев мир костей
По сердцу бродят терпеливо.
И нет иллюзий, нет страстей,
И беспощадно все правдиво.

VIII (так!)

Плывут созвездья в темноте,
Моря к утесам нежно льнут.
Друзья, влюбленные, подруги —
Они в конвертах чувства шлют.
Их речь бумажная нежна —
Они соскучились, тоскуют,
Желают, верят, ждут, целуют...
Но дни идут - и я одна.

IX

Одна... Как странно - я одна.
И как со мной случилось это,
Что я, как беглая комета
В союзы звезд не включена.
Что у груди моей застывшей
Живое сердце не стучит,
Что в ночь с волнением не спешит
Ко мне никто, весь мир забывши
И к изголовью моему
С мольбой любви не припадает

И с глаз бессонных не сгоняет
Тоски томительную тьму.

Х

Один лишь был на свете Некто...
Но он ушел... не захотел...
И заблудившейся комете
Блуждать без сроку Бог велел.
Миры чужие озаряя
На миг сияньем роковым,
Годины бедствий предвещая
Холодным пламенем своим.

.....

Затем – ко сну пора идти.
Ответа жду, люблю, жалею.
Люблю, жалею, как умею.
Письмо окончено. Прости.

Вава

15. [Санкт-Петербург – Киев]

Дорогой Нилоч!

Грустно, что у вас в милом Киеве может быть непогода на душе. Поля в твоей лихорадке оставила ли тебя. Напиши что-нибудь о детях – какой-нибудь исторический анекдот, говорящий о их гениальности (не гениальных детей нет), или про их глупости. Какие слова говорит Ай? Нина начинает читать или петь? Перестала ли Лёка превращаться в соляной столб воплощенного упрямства, и все такой же плакса Женька или нет, и поумнел ли он. Как хотелось бы посидеть с ними вечером!

В твой приезд в Петербург не могу уверовать, пока не увижу тебя в своей комнате. Впрочем, если бы ты достала билет – тогда это было бы осуществимо. Остановилась бы у меня, за обед платила бы 30 копеек в день и копеек 30 тратила бы на конки. Все остальное тебе ничего не стоило бы. Думаю, что в январе я буду здесь.

Меньшиков так описал мне Ямполь и другие геологии, что пропала охота ехать – говорит: сплошное ханжество, самодовольство или жесточайший разлад.

Касательно моих стихотворений должна со смущением добавить и разъяснить, что все-таки это не письмо, а, так сказать, “перл создания”, т. е., вещь преувеличенная и сгущенная. На самом деле, все проще и разнообразнее, и, кажется, я не похожа на инокиню. Отчего Таля ни словечка не пишет? И выйдет ли, наконец, этот злополучный

Собор? Макс зовет меня в Киев – предполагает взять Ж. и Ис. Но это еще не наверное.

Бедняжка Настя скитается по Москве без работы и без денег. Бедная Лиза доживает последние дни и страшно мучается. Таковы новости. Кстати, когда будешь в “Киевском Слове”, осведомься и о новых фельетонах, употреблять их или оставить “впрок” на зиму (“Думы о счастье и о писательстве” и “О ненавидящих тело”). Сейчас читаю “Подросток”. Какая дивная вещь по замыслу, по типам, по бездонной глубине и паутинной тонкости психологии. Нынче так не пишут. Перечитала свои рассказы и с отвращением к ним и с радостью, что еще не поздно, решила не затевать издания. Глазурь или Лазурь, если только сам имеет какие-либо основания желать этого, пусть придет, но пусть заранее предупредит открыткой – я часто гуляю с Николой по вечерам, или бываю в библиотеке.

Крепко целую Костю и детей. Вава.

16. 12 октября 1898

Петербург – Киев

Нилочек, дорогой мой – еще одна просьба и для меня очень нужная. То, чего я не сумела за мое пребывание в Киеве, ты со своей энергией, я уверена, сделаешь: нужно во что бы то ни стало взять у Александровского тот номер “Церковно-приходской школы”^[382], где мой “Рождественский сон” и переслать этот “Сон” Максу (Садовая, № 1) и поскорее. Для издания у меня не хватает 12-го рассказа – Сон я люблю и для 8-летних детей он будет понятен. Александровский не мог при его аккуратности затерять его. Спроси Струнину и Ньюшу – не передавал ли он им этот номер для Булашева^[383], который требовал его через них как свою собственность. Постарайся деточка – пожалуйста – это для меня большая услуга. Немедленно напиши, удалось ли раздобыть эту сказочку. У меня нет сейчас призвания к детским рассказам и не хотелось бы давать что-нибудь выдуманное, насильственное вместо того рассказика, который был понятен даже Агафье Антоновне и в свое время растрогал ее до слез.

Вчера были на именинах у Зинаиды Венгеровой в декадентском кабинете, где днем горит лампа под красным абажуром. Были только родственники – тяжеловесный доброжелательный толстяк Семён Венгеров, худенький черноглазый Слонимский с двумя детьми Мишэ и Вовэ. Была вчера также в университете на лекции Соловьева. Лекцию он закончил так: знаю только одно, час воли Божией надвигается, и желаю только одного, чтобы без крушений и бедствий мирным и широким путем совершилось то, что должно совершиться и что неизбежно совершится. Я писала об этой лекции корреспонденцию в

“Киевское Слово”. Сейчас была у Мумы. Это совмещение мадонны и римского гражданина. Меня всегда трогает и волнует эстетически. Мума живет одна в маленькой комнатке и работает целый день на благо русской культуры, которую любит прочно и глубоко как идею и как человека, как брата, которого она желала бы прежде всего видеть процветающим.

Здесь сейчас Галочка, бывшая Рубисова с мужем. Исполняю долг киевлянки к киевлянке и забочусь, чтобы она увидела и услышала, что можно. У нее льняные локоны и лицо наивного и лицемерного херувима.

Целую крепко и тебя, и Костичку.

Приписки на полях:

Настя в Москве (Адрес – Владимиро-Долгоруковская, № 5, кв.11). Собирается поступать на коллективные курсы.

Не знаешь, почему Таля не вышлет мне Собора? Зинаида Венгерова хочет писать о нем, ей нужно для издания <нрзб>

Неужели это сколько-нибудь вероятно, что вы на рождество приедете Квартира вам <нрзб>

Посылаю стихи последней формации, согласно твоей просьбе.

17. 12 ноября 1898

Петербург – Киев

Нилочек мой родной!

Не ожидала я от тебя подобных рассуждений на тему о дружбе. Ну да, уж Бог тебя простит. А самое лучшее о таких вопросах не философствовать, а – “любить без рассуждений, без тоски, без думы роковой, без упорных и пустых сомнений^[384]” – насколько любится, и до тех пор, пока любится.

В последнее время мне пришлось много истратить времени и слов на кружевные анализы чувств и отношений. И я, как никогда убедилась в тщетности слов. События шли своим путем с неумолимой логичностью и не туда, куда вел анализ.

Я рада, милая, что ты живешь, как по внешнему, не глубокому самочувствию, оживленно.

L’heure est brève^[385], молодости почти что не осталось, довольно будет тишины и резиньяции в сумерках старости. Вот ты обо мне спрашиваешь, что меня волнует и занимает. Кажется, уже настала моя старость, потому что со всей искренностью на этот вопрос я могу

ответить только одно – НИЧЕГО. Конечно, меня заставляют каждый день испытывать маленькую сумму приятных и довольно крупную сумму неприятных ощущений: письма, Николай, запутанность некоторых отношений, упреки совести, театр, неудачи и удачи в вопросах заработка. Но нет во всем этом общей идеи, Духа Божия, огня молодости, вопля душевного. Это чуть слышный звон струн на границе полного безмолвия. Такую жизнь я – да услышит меня Бог, – сейчас же с радостью променяла бы на абсолютный покой, в котором хоть есть величие вечности. А может быть, это результат скверных нервов, Нилочек? С головой моей же сравнительно неладно – чувство страшного давления, а по временам боль ожога. Не психиатр ли ваш Лазур<ский>? Здесь ни одного знакомого доктора (ради Бога, забудьте только вашего неприличного Эммануила). А у незнакомых нет денег лечиться. Вчера, (или третьего дня – не помню) после суток бреда и бессонницы, я написала письмо к известной Волковой (председателю общества охранения женского здоровья) и предложила ей полечить меня в кредит. Думаю, что она будет так благоразумна, что не откажет. В самом деле, для меня сейчас все мои будущие заработки сводятся к здоровью – если бы я была здорова, я к весне выбилась бы из нужды. Кто сказал, Нилочка, что рассказы не будут издаваться. Напротив, я денно и нощно умоляю Макса, чтобы он поторопился с ними к Рождеству. А если не хочет сам издавать, я прошу передать Эвенсонам. Не поговорить ли тебе об этом с Максом по телефону. А, впрочем, как хочешь.

Крепко целую тебя, Костю, все ваше воинство. Лечись, дружок, береги здоровье.

Может быть ваш Лазур посоветовал бы мне какого-нибудь ужасно недорогого доктора.

Вава

Приписки на полях:

Стихов нет. Если когда-нибудь, что-нибудь родится из литературных туманов моей головы – пришлю. Пиши. Скажи, что с Талей? От нее ни слова.

18. 23 ноября 1898

Петербург – Киев

Дорогая Нилочка!

Мне все нездоровится – сильно. В голове этот мучительный ожог и паук, что появлялись в мае. И что самое тягостное – бессонницы. Твое письмо такое расстроенное. Я отложила его с каким-то унижительным

чувством бессилия. Отвечу тебе – да – иногда я хотела бы не то, что быть богатой, а перестать биться и перебиваться и иметь возможность помочь тем, на чью нужду тяжело смотреть. Теперь, если бы здоровая голова, я могла бы зарабатывать много, рублей 20 – меня всюду принимают. Но это заколдованный круг: нельзя работать с больной головой, надо лечиться, лечиться нельзя без денег, а денег нельзя добыть без работы, а работать нельзя с больной головой. Странно, что после моего апельсинового письма ни слова не говоришь о Лазуре. Я серьезно рассчитывала, что он как-нибудь пристроит меня к какой бы то ни было гидротерапии или к электричеству в кредит. За деньги это немыслимо, т. к. я живу от рубля до рубля полтинниками в кредит. Но стоит мне написать рассказ в “Неделю” и еще другой в “Вестник Европы” и вот я богата. Как быть – я не знаю. Николая стоит с учителем больше 40 руб. учителя поэтому отпустили – но это трагически, потому что ему необходимо по языкам мчаться в карьер.

Приписки на полях:

Костю жалко до невозможности – хочется плакать над участью этого человека, такого умного, такого чистого, такого от всего особенного и так грубо теснимого жизнью.

Ну, пиши мне, до свидания, родной – жаль, что не будете в Петербурге.

Вава

19. 11 декабря 1898

Петербург – Киев

Дорогой Нилочка!

Напиши, что слышно о П.^[386] меня мучит какое-то темное предчувствие. Вероятнее всего, что он сыт и благополучен – но мне все кажется в последнее время, что судьба подстерегает его каким-то огромным горем. Истинно сентиментальная прихоть истеричной старой девы. Чувствую себя после полосы некоторого просветления опять темно. Опять бессонницы. Что-то давит сердце и жжет голову. Водолечение еще не начинала, благодаря тому, что “Киевское Слово” на все просьбы выслать гонорар отвечает одним молчанием! Непременно надо узнать, напечатали ли они 5 фельетонов:

1. Манеж.
2. То, о чем говор.
3. Силуэты петербургской жизни.
4. Театры, новые пьесы.
5. и еще Силуэты петербургской жизни

Если они позволили себе такую крайнюю неделикатность (чтобы не сказать более), как молчаливое откладывание этих фельетонов вплоть до полного их устранения, когда Игнат<ович> перекосит физиономию и скажет: Не мой! – я выхожу из Киевского Слова немедленно. Был у меня Лазур. О нем у меня два мнения: одно для Акопенко^[387], которого он, вероятно, будет спрашивать о том, какое впечатление произвел на меня. Это мнение не полное и поверхностное, недосказанное из нежелания обидеть доброго человека. Вот оно: человек добрый, открытый, простой. Другое мнение для вас с Костей.

Мне с ним безотрадно скучно. Он еще не начинал мыслить о жизни. Может быть не начинал и чувствовать. Он представляется мне большой свежей тыквой, еще не оторванной от матери земли, в счастливом растительном полусне. Может быть, я еще ошибаюсь, но таково впечатление первого свидания. Ко мне отнесся чрезвычайно внимательно и уже успел оказать большую услугу рекомендательным письмом в ближнюю лечебницу. Без этого письма мне пришлось бы переехать версты 4 от центра – туда, откуда с “кувшином весталка спешит”.

Ты знаешь, что Лев Исаакович приехал в Киев? Неужели никогда не видишься с Бал<аховскими>?

Крепко целую тебя, Костю и детишек, Ай.

Детки мои милые пусть подождут картинок. Сейчас разорена до копеек.

Вава

20. 30 декабря 1898

Петербург – Киев

Словно лепится сурепица

На обрушенный забор, —

Жизни сонная безлепица

Отуманила мой взор^[388].

Я не понимала этого стихотворения Сологуба и смеялась над ним. Но сегодня вдруг поняла его и не могу отвязаться от этих нелепых строчек. Первая безлепица, Нилочек родной мой – фондовское пособие, которое разошлось раньше, чем я взяла первый душ в водолечебнице. Вторая безлепица – Николя отсутствием учителя, с почти неизбежным фактом в мае. Я его отсылаю на днях в Киев (не май, а Николю). Третье – белорусская политика Игнатьева^[389], благодаря чему я не могу решиться послать в Киевское слово ни одного фельетона.

Четвертая – бесконечные автоматизмы и головные боли опять – две недели скитания без квартиры – некоторые письма, некоторые отношения, некоторые разговоры, все слилось во впечатление сурепицы, которая лепится на не разрушенный забор. Твоему письму

рада – ты так долго не писала, отвечай, дружок, аккуратней. Я люблю твои строчки виде полумесяцев, твои лихорадочные и детские буквы.

Теперь 4 часа. Я рада тишине. Я все больше и больше люблю тишину. Я думаю, что в ней, а не в словах мудрость. Вот уже месяца два, как я почти нигде не бываю – т. е., не бываю в так называемом обществе. Свидания *a part* есть – но не с композитором – с ним я разошлась решительно и бесповоротно больше месяца тому назад. Теперь он ненавидит меня и желает мне зла. Когда я возвращаюсь ночью домой по темной лестнице, мне иногда кажется, что он поджидает меня с ножом в руках, как Рогожин Идиота. Но это, конечно, романтизм и трусливая фантазия. Приходит ко мне студент из кончающих. Он переполнен несчастной любовью к одной девушке, которая его никогда не полюбит. И я горю нежнейшей жалостью к нему. Мне хочется прижать его несчастное лицо к груди, убаюкать, “найти цветы и травы, такие, от которых возможно уснуть и увидеть сны золотые”. Но не думаешь ли ты, что подобная слишком горячая участливость может трагически переместить его сердце из огня, да в полымя. Затем – еще студент – декадент, искатель ощущений, изящный, когда улыбается очаровательный. Уже не очень молод, аристократичен, любит сидеть у моих ног и сравнивать со всеми картинами, какие видел в жизни, что, конечно, очень смешит и чуть-чуть трогает меня.

Ну, а затем Лазурский, флегматичный и экспансивный с внимательным и неподвижным взглядом глаз, в которых я прежде отрицала мысль, а теперь читаю мысль полудетскую, но свою и своеобразную. В конце концов, Лазурский милый, но каких похвал хочет для него Акопенко? Самая большая похвала, это то, что для Лазурского, несмотря на узы дружбы, нестерпимо скучны проза и стихи Акопенко. Ну уж и роман сочинил ваш Акопенко. Бывает скучность, от которой недостаточно зевать 3 месяца подряд – таков этот роман. Мне довольно вспомнить его, чтобы во время лютой бессонницы минут на пять забыться сном.

Бываю у Венгеровой, у Минского. Новый год буду встречать у Минского. Я их не люблю, но они не хотят со мной расстаться, и как умеют, ласкают. Прочти Настин рассказ “Гусеницы” в рождественском номере “Ж. и И.”. По-моему, он прелестен. Там же в приложении для детей мой “Господин каприз”.

Приписки на полях:

Требую подробного объяснения разочарованию в Ланге! И требую подробного описания его образа жизни – Ланге один из немногих, кто

меня интересует не только как тип и не только как “бедная голова двуногия животная”.

Прочти непременно Сологуба. Есть дивные стихотворения.

Целую тебя – твоего службиста и детвору.

Настя тоже поедет в Киев. Пиши по старому адресу.

21. 13 августа 1899

Переверзовка – Киев

Твое письмо так безотрадно, моя дорогая, что рука не подымалась отвечать на него, не имея возможности облегчить, помочь, утешить хотя бы словами. Теперь пишу просто потому, что без этого нет надежды вскорости иметь от тебя хотя бы такое же письмо.

Мы с Софьей Исааковной говорили о тебе. Она относится к тебе с искренней теплотой, которая в этой странной, робкой и надменной натуре проявляется через силу и как-то условно. Между прочим, она сказала, что хочет твоему ожидающемуся в мир пришельцу приготовить все приданое. Дм. Григ.^[390] также горячо развивал невозможный проект, чтобы перегрузить тебя со всем четвериком в тот флигель, где гостил Костя^[391], а Сашу^[392] и Льва Исааковича, которые там обитают “пустить на все четыре стороны”.

Лев Исаакович приехал внезапно, огорчил меня своим приездом безмерно и, кажется, скоро уедет. Мне ужасно тяжело с ним встречаться. Я стараюсь не выходить из моей комнаты или ухожу гулять с Из.<абеллой> Аф.<анасьевной> (Белла)^[393], но все же встречи неизбежны. Софье Исааковне это тоже тяжело, но она не хочет, чтобы я уезжала. Может быть, потому что я люблю ее неподвижную красоту и пустынную ночь ее души. Ланге еще не возвращался из Петербурга – у него заболела воспалением мозга какая-то таинственная девочка, без него нет ни тенниса, ни крокета, ни поездок на разные хутора. Дети в его отсутствие немножко наклевываются в мою комнату. Софья Исааковна уговаривает меня остаться у них учительницей на всю зиму. Мое глупое пристрастие к холодным и чужим детям тянет меня согласиться – но какой-то тайный голос советует не откладывать Москвы. Пожалуйста, не забудь прислать фельетон о Котарбинском.

Не знаешь ли Талиного адреса? Окончился ли ремонт? Как здоровье Кости?

Приписки на полях:

Правда ли, что Остолопенко (так по ошибке называет Лев И. Акопенко) уехал на чуму?

22. 18 августа 1899
Переверзовка – Киев

Получила твое милое и опять такое грустное письмо, дорогой Нилочек, и вот уже несколько дней все не могу собраться ответить. В последние дни я разнервничалась, впала в автоматизм и в течение суток тихо, а до и после слегка жаловалась. Ланге, к моему полному удивлению, проявил за это время терпеливейшую и нежную заботливость, сидел со мной всю ночь и находил какие-то слова, которые меня успокаивали. Слабая стала душа, не хочет выносить прощаний, недоразумений и нелепостей, в которых человеческие сердца обречены купаться в течении своей короткой жизни. Л.И. уехал. Приехала Соня. Мысль о ее приезде была мне тяжела. Но все сложилось иначе, чем я думала. Жизнь утишила ее, время многое изгладило и мне приятно, хотя и очень грустно от ее присутствия. Мы ходили сегодня вместе гулять по лесам, нашли даже красивые места, дикие большие пустыри с серебряными ивами и белыми, как снег березами. Живем мы все – я, Бэла и Соня в Костином флигельке. С Бэлой мы идем нога в ногу, порой много смеемся и школьничаем. Она временами прекрасно играет – тогда грезится минувшая молодость, уже далекая и недостижимая, как звезды, которые светло мерцают по ночам над нашими чахлыми березками.

Недавно начала кататься верхом – катаюсь плохо, разучилась – но все-таки это очень большое удовольствие. С.И. увлекается велосипедом и Ланге с охотой придерживает ее за пояс, бегая за велосипедом между необозримыми морями бураков. Женя перестала меня дичиться.

Дм. Гр. наговорил сегодня страшных дерзостей и ушел с проклятиями, как будто я его оскорбила, а не он меня.

Вот и все. Целую. Жду письма. Вава. Пожалуйста, вышли фельетон о Котабринском.

23. 22 августа 1899
Переверзовка – Киев

Нилочек мой дорогой!

Попроси скорее Настю разузнать, принимают ли на борьбу с чумой лиц без медицинских познаний и напиши мне, как обратиться и куда с прошением. Мне кажется, что ты знаешь меня настолько, чтобы понять,

как глубоко обосновано у меня такое решение. То, что я не поехала на голод, было для меня величайшей неудачей, которая, как я и предчувствовала, завела меня в большие дебри. Что я не умру на этой чуме, я знаю наверное – но мне нужно быть близко к смерти и при самом трудном.

Перед многими из тех, с кем я говорю, я не решилась бы так обнажить моих мотивов – но ты, дружок, знаешь, что давным-давно мне не может прийти в голову щеголять чувствительными фразами – и что, увы! теперь это лишено героической окраски, и просто и сурово, как осенняя даль. Еще раз повторяю тебе, деточка, что я страшно заблудилась в моей душевной жизни, и буду метаться и ползать по земле, как притоптанное насекомое, если не найду самого для себя трудного и нужного – просто в какой-нибудь барак тифозный не хочется – это отбивать хлеб у какого-нибудь фельдшера. А на чуму не так много желающих. У нас в доме поселился дух тяжести. С.Г. из тихой меланхолии часто переходит в острую и вся темная говорит самые безнадежные вещи. Соня не знает, что с собой делать. Ланге бодрится и держит себя молодцом – но на душе у него, пожалуй, хуже, чем у нас всех. Оказывается, что в последнюю поездку в Петербург он похоронил свою единственную дочь, 9-летнюю девочку. Мне страшно жаль, что он худо ко мне относится – я так люблю раненые души и сумела бы ему помочь.

Жду письма. Вава.

24. 26 августа 1899
Переверзовка – Киев

Дорогой Нилочек!

На днях я получу ответ от С.О.^[394], принят ли мой рассказ – и тогда я смогу хоть немножко помочь тебе. Ужасно тяжело было читать твое письмо. Пожалуй, это хуже чумы. Ведь чума – это что-то грозное, большое, не свое – здесь и тонешь, и забываешься, и поднимаешься. А этот ворох мелочей, тысячи налипших на жизнь колючек это вечно напоминает о мизерности существования и о том жалком, страдающем, маленьком Я, от которого хотелось бы убежать.

Я думаю, когда вернется С.И. в Киев, можно будет устроить у нее заем. Я это устрою как-нибудь. Вернется же она через какую-нибудь неделю. Завтра я еду в Воронеж. Снялась с места по обыкновению внезапно. Вдруг почувствовалась невозможность оставаться дольше, точно какая-то власть, имеющая голос закричала: Иди! – и потянуло вдаль. Да и по маме крепко соскучилась. Да и в понедельник или во вторник к тому же сюда нагрянет графиня и начнется вавилонское столпотворение. Объясни понятнее твои загадочные слова о Л. и

почему ты ему не веришь и что предполагаешь. Письма обещаю рвать, да и к тому же это письмо ты напишешь уже в Воронеж. Объясни – мучит бабье любопытство.

В субботу Л. едет в Киев и будет у вас. Как смели сравнивать его с Костей, все понимающим, все передумавшим Костей! Пиши о здоровье детей. Что это за казнь египетская еще – эти <нрзб>. Откуда?

И ради Бога, поищи фельетон о Котарбинском.

Крепко целую. Жду письма. Вава.

25. 4 сентября 1899

Воронеж – Киев

Дорогой Нилочек!

Твое краткое уведомление, что все по-прежнему неблагополучно, получила вчера, в 12 часов дня, приехав с вокзала по невылазной грязи в родные палестины. Еще все мне так странно здесь, как сон (я не была дома полтора года) и все так знакомо, так полно прошлым, молодостью, любовью, гордыми надеждами, мыслями о смерти. И Петровский, и Настя, и все, что было позже здесь живет странной полной незримых слез жизнью, смотрит на меня с увядающих астр клумбы, с печального лица богоматери, у которой ранена щека, и капельки крови катятся, как кровавые слезы.

Маму застала сравнительно здоровой. Рада она мне, кажется, очень. Думаю, что на этот раз проживу без болезненных осложнений. Я приехала в кротком состоянии и живу где-то далеко. А когда я далеко, тогда мне близкие особенно близки, мелочей я не замечаю, и вижу в них только то, что они есть на самом деле, что индусы называют “Сущность Великая”.

В некие последние дни мне было очень тяжело. Для детей во время приезда графини я была бесполезна, т. к. они как собачки бегают за Василием Фёдоровичем^[395]. Ваши подозрения относительно его на этот раз несправедливы. Экзамен он ждет держать, а дочь у него действительно умерла. Мы расстались с ним худо, с какой-то невысказанной и очень большой неприязнью. Я попыталась было объяснить и разогнать это настроение, но он не понял, или сделал вид, что не понял меня. Тале буду завтра писать.

Целую. Вава

Талин адрес: Paris, poste restante.

26. 29 сентября 1899

Воронеж – Киев

Все по-прежнему, дорогой Нилочек – оттого и ответ на твое письмо затянулся. “Душу”, которая живет за тридевять земель в тридесятом царстве от всего, что происходит, не хочется рассказывать, да и нет для нее слов на языке человеческом. Метерлинк едва осмеливается говорить о ней. Россетти робко намекает на ее тайны в “абсолютных глазах” Астарты. В реквиеме Моцарта она мечется где-то уже за пределами земной жизни. А в общем, искусство, как и наш обыденный язык, умеет передавать только жизнь сердца и ума, а к тому, что “едино на потребу” приближается лишь изредка, касается его робко, неумело, символами.

И так, дитя мое – разговоры о копейках, о юбках, о тратах, растратах, о болезнях. Бедняжка мама ни в чем неповинна, если раздражается – ее жизнь так сложилась – болезнь, нужда, неудачные дети – что она имеет право как Иов роптать и разговаривать раздражительно не только со мной, но с самим Богом. Но мои нервы не в силах рассуждать так, как моя мудрость – и плачут и дребезжат от каждого прикосновения. Прибавь – ни одной души знакомой и море топкой грязи вокруг – так что и гулять нельзя. И вот картинка моего дня сводится к лежанию – сидеть нигде, к длинному чаепитию, разговорам с Аней и опять лежанье, опять чай. По вечерам читаю своим дамам Метерлинка. Николка очень много занимается, часов 8–9 в день. Учитель приходит ежедневно. Вчера с этим учителем через рельсы, топи и пустыри в страшной темноте к ужасу и горю мамы ходила на концерт Славянского^[396] с корреспондентским билетом пропустили в 3-й ряд и я прослушала “во лугах”^[397] и “Тиреувну”^[398] для того, чтобышний раз убедиться, как мало в этом удовольствия. Целую Вава.

А что мой милый Ай-Ай и Лёля?

Костичку тоже целую.

27. [Октябрь-ноябрь 1899]

Гнездиловка – Киев

Отчего молчишь так долго, Нилочка?

Хотела бы иметь о всех вас подробный отчет. Если нет для него настроения, то хоть краткий конспект жития. (Владимир Соловьев говорит, что в молодости жизнь, а после уже житие – “проще время живота”.)

На праздники еду к маме. Пиши на Воронеж. Последним месяцем я жестоко страдала – за жизнь и душу человека, с которым связал меня слепой рок. Все наше прошлое осветилось таким трагизмом, что, если бы я раньше знала то, что знаю теперь, не уехала бы от него никогда ни на одну минуту и не спрашивала бы ни о чем, ни разу – молчала бы

под пыткой. Все приходит слишком поздно. Теперь я могу быть только безучастной вещью в его жизни со всем моим пониманием происходящего.

Я даже не могу писать ему – он в санатории. Письма запрещены. На сколько это времени, ненадолго или навсегда – тоже неизвестно. Душа моя от меня далеко. Живу в полусне. Теперь даже не болею.

Целую всех вас. Напиши, что с вами. Перешли письмо Тале, если знаешь ее адрес.

28. [Октябрь – ноябрь 1899]

Гнездиловка – Киев

Ты знаешь, что нам дано умирать и воскресать при жизни. Но страшно, что есть при жизни умершие люди. Прости, Нилочек, эту болтовню, так похожую на бред. Ты любишь меня, я знаю, я верю этому и потому говорю с тобой в час, когда так больно, что следовало бы молчать. Но мне легче от этой болтовни, и от того, что я вижу, как твои глаза внимательно, печально ходят по этим строчкам и в их голубом полярном льду зажигается что-то теплое, светлое, глубоко чистое по своему бескорыстию.

Я живу одна. Живу далеко от мамы. Навещаю ее – она все болеет, и читаю ей и Ане вслух трилогии Толстого, Чехова – все, что они хотят. Но чаще я сижу, как сейчас, в своей крошечной комнате возле Чугунного кладбища, слушаю, как часы говорят: без-ваз-врата, без-ваз-врата; что-то пишу, что-то читаю, не позволяю себе ни на минуту лечь в течение дня, и веду борьбу с собой за свой рассудок всю ночь, рассказываю сказки, уговариваю, не могу найти достаточно ласковых имен для себя.

Вот уже три недели, как никто ко мне не приходит. Да и кому прийти – знакомые – <нрзб>, Гнездиловка – далеко, за морями, за пропастями, за необозримыми кладбищами. А поэтому, пиши. Дай Бог тебе сил, терпения и радостей. Деньги нужны были для уплаты долга и для квартиры. Льву Исааковичу^[399] я написала, чтобы приехал сюда. Ну вот и все. Пиши. Вава.

29. 25 ноября 1899

Петербург – Киев

Наконец-то откликнулся ты, старый товарищ! Я уже не знала, что и думать. И ты молчишь, и о тебе никто из киевлян ни слова. Прочла твое письмо – и как детства, как потерянного рая стало жаль того времени, когда я жила в милом госпитале, со спокойной грустью смотрела на

госпитальные звезды и тополи, играла с детьми, была, как все – могла радоваться цветам на валах, и говорить так подолгу об Акопенко. Теперь ничего этого нельзя воротить – ничего нельзя поправить. Надо терпеть. Не вполне верно, что надо терпеть, но предполагаю это, да и решила испытать себя, ложась в постель говорю себе: Слава страстям твоим, Господи! Слава долготерпению твоему.

Вы все в Киеве стали такие мудрые, все что-то знаете о жизни. Я ничего не знаю. Я стала дурочкой, маленькой девочкой, вроде такую маленькую девочку, которая живет на кладбище, в склепе с неугасимыми лампадами, спит на могильных плитах разговаривает с барельефами на памятниках и не отбрасывает могильных ужей и жаб, когда они касаются лица. А ты стала философом – и Шелли, и Эпикур сразу говорят твоими устами. Я вспомнила стихотворение Шелли:

Озимандия^[400]

Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.
И сохранил слова обломок изваянья;
“Я – Озимандия, я – мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времен, всех стран и всех морей!”
Кругом нет ничего... Глубокое молчанье...
Пустыня мертвая... И небеса над ней...

Сказавши это – нужно или всеми силами души поверить в Бога, в правду, гармонию и нужность этого надвигающегося на нас и на все “глубокого молчания” и “пустыни мертвой” – или схватиться всем существом за бегущую минуту, есть, пить, веселиться, с ужасом бежать от страдания и с проклятьем встретить смерть.

Есть еще третий – отказаться от подарка жизни, оскорбившись его ничтожеством.

Но нет, нет, тысячу раз нет – я верю, я знаю, что жизнь страшно, неописуемо важна – не как приятные или неприятные физические изменения в нас – а как любовь, страдание, падение, полет, сомнение, вера, смерть и воскресение.

Мой адрес: Садовая, 26

30. 15 февраля 1900
Москва – Киев

Дорогая Нилочка!

Извести, что у вас делается. Есть ли события, и как переносится жизнь – бодро или с усталостью и роптанием. Я скучаю по Алле. Скажи ей, что люблю ее и ищу для нее кошечку – я видела на выставке в картинном магазине большую картинку – кошку, совсем живую и с прекрасными зелеными глазами. Но тогда у меня не было денег. Я забыла, на какой улице этот магазин. Но с тех пор, проходя мимо письменных магазинов, везде ищу на окнах эту кошку для Аллы.

Я люблю в Москве небо – светло-голубое в дымчатых и белых тучках, бульвары, особенно Никитский, Художественный театр и тип московского интеллигента – большого, русого, голубоглазого, слегка плутоватого ребенка – богатыря, наклонного к мистицизму и разгулу, с сохранением для обиходной жизни не только здравый смысл, но и некоторую плутовость. Люблю Кремль и тонкий, сильный ум одного приятеля Льва Исааковича, к которому он дал мне письмо.

Сейчас мы с Настей собираемся в Охотничий клуб смотреть Метерлинковскую “Незваную гостью”. Были в Художественном театре на “Одиноких” Гауптмана и Чайке.

Постановка удивительная. Каждая деталь жизни – гравюра, лампа, чайники – до того живет, до того характерна, что ей можно аплодировать наравне с артистами. И артистов Немирович-Данченко вышколил так, что они шагу напрасно не делают на сцене, а все для характеристики, для раскрытия своей души и своей драмы. На Чайке все плачут и Настя рыдала. А мне ничего. Мне теперь все больше весело.

Пиши, Нилочек. Поцелуй Костю.

Адрес (до 1-го Дурново) Годеннский пер. № 7, кв.4.

31. 27 сентября 1900

Житомир – Киев

И я люблю каждое твое письмо, старый друг. Это не шутка, прожить вместе столько эпох и тысячелетий. Когда попаду в Киев, и попаду ли – не знаю. Думаю, однако, что не хватит сил не заехать к вам, когда поеду в Москву. В Москву пора бы – но пожар в такой степени раздел меня, что долго еще придется работать “Волыни”^[401] и другим редакциям “за одежду”. Хорошо бы поехать в Пены, но для моей работы (о Леонардо да Винчи) необходимы материалы. Которые случайно есть в Житомире, но в Пены не перевозимы.

Живу, я, впрочем не в Житомире, а в 20 верстах от него, на заводе. Здесь же и Энна. Дух ее стал еще тоньше, еще разнообразнее, и она так нежна и оторвана от жизни, что хочется плакать и извиняться перед нею за грубость этой жизни. Ты хорошо сказала про нее, что она “Нестеровская девушка”. Кстати, от одного состава для ращения волос

(она вечно боится остаться без волос) ее волосы стали светлыми, золотыми, бронзово-золотыми. Это редко и красиво. Жизнь на заводе по свистку правильная, тихая – если бы не некоторые внутренние бури. В 12 часов ночи мы аккуратно ходим в завод, в лабораторию химика, у которого гостим. До 12-ти дня он дежурит, до 7-ми вечера спит и мы все время живем с Энни наедине. Я чувствую к ней нежность до слез и боюсь, что вот-вот ее не станет. Так чувствуется – она хочет умереть. У нас обжитой дивный парк над рекой. Вековые сосны и пихты в лунные ночи – какая-то сказка. Слишком хорошо, слишком печально, слишком пустынно. Но в общем – хорошо. Много тишины. Пишу понемногу стихи и прозу. Написала фельетон о Чехове для “Волыни”. Главная работа “богов презревший, самовластный, богоподобный человек”, т. е., Леонардо да Винчи.

Поклон и поцелуи по обычному распределению.

Мой адрес по-прежнему: Редакция “Волыни”.

И непременно пришли адрес Тали. Я соскучилась по ее письмам.

32. 11 ноября 1900

Воронеж – Киев

Мой милый старый товарищ соскучился по моём духовном Я? Мне самой хотелось бы услышать и узнать о нем что-нибудь определенное. Но оно живет далеко от меня, зловеще тихо, готовясь к чему-то. А я без него жила в пестром полусне страстей и “внешних впечатлений”. За это время я написала 4-5 стихотворений. Из них признаю и усыновляю только одно. Пришлю его в следующем письме, теперь не хочется писать. Вернулась домой третьего дня. Не заехала в Киев, потому что стремилась к маме кратчайшей дорогой через Брест, Гомель, Бахмач. Очень соскучилась по маме, страшно хотелось увидеть ее. Но в Бахмаче на грязной платформе во время пересадки меня окликнул Даниил Григорьевич^[402] и мы поехали с ним дальше в 1-ом классе, и он убеждал меня заехать в Пены. Экспромт совершился, и я пробыла в Пенах 3 дня. Меня пленила пенская жизнь, одиночество, дети, необозримые поля, белые березы перед окнами столовой, т. ч. я почти решила скоротать зиму там. С.И. и Д.Г. и детки горячо и нежно меня об этом просили. Через неделю еду в Москву. Пока пиши, родная на Воронеж. Целую всех. Ай-Ай крепко-крепко в розовый носик.

P.S. Я написала детскую пьесу “Весенняя сказочка”.

33. 5 января 1901

Воронеж – Киев

Письмо твое, дорогой Нилок, получила. И жду нового.

Здесь центр дня, артерия, связывающая людей с жизнью – почтил он и письма. Снег идет день и ночь, площади и улицы заметены, нет проходу и проезду, и некому проходить и проезжать. Сейчас расчищали дороги к сараю и к воротам, жду Николу из каприза к обеду и в ожидании пишу тебе. Заеду ли я к вам? Если бы довольно денег было, заехала бы несмотря на то, что “отпущена” (я люблю иногда игру в зависимость и подвластность) только в Воронеж. И если деньги будут – жду разных получений – заеду и проживу у вас, а там еще куда-нибудь. Меня томит жизнь на одном месте. Хочется, собственно, куда-нибудь, где горы, моря, пустыни – но за невозможностью видеть это, хочется хоть не видеть того, что видишь каждый день. Часто и с отрадой думаешь о той предельной станции, где скитающийся дух возвращается в лоно отчее. Если бы у меня были дети, я бы порою бы жалела, что им далеко до этой станции, и столько неудобств, столько кружения, пока дождутся до нее.

Будь здорова, милая. Кланяйся Косте, целуй детвору.

Пиши. Вава.

34. 27 января 1901

Москва – Киев

Вот и закрытое письмо, моя дорогая девочка. Отвечаю им на твое, голубое, которое ты адресовала в Воронеж. Мама переслала его. Как странно, что тебе показалось, что я в Воронеже. Я в Москве, на Гагаринском пер., дом Шлиппе, на Шпоре. У меня сейчас сидела Настя и еще один “страшный и умный дух”. Она ушла, я одна и бьет 12 часов и в шотландском замке (так называет Настя мою комнату) ненарушимо тихо. Астарта и Беатриче, Таля и серый готический Ганновер смотрят на меня со стола, полные значения, но непоправимо молчаливые. Напрасно ты думаешь, дорогая, что только великие души имеют право удаляться в свою пустыню со своим “орлом и со своею змеёю”. Все, кто захочет этого, все, кто полюбит это – правы, и делают то, что нужно.

В уединении жизнь моя

Как жизнь богов полна.

В ней плещет радость бытия

Без берегов и дна.

Великих горестных утрат

Тоскующая тень

Бежит испуганно назад

Почувств светлый день.

Она испуганно бежит

Туда, где весь в цветах

В Долине Прошлого лежит

Любви священной прах.
Но с этих радостных вершин,
Где виден океан,
Спокоен, вечен и один.
– Цветы и смерть – обман.
Утраты нет, и счастья нет,
И все, что есть слилось
В единый свет, безбрежный свет
И Богом назвалось.

Так пишет один малоизвестный поэт и невеликая душа. Вообще – что лучше, что хуже, кто знает это? Пути каждой души своеобразны и таинственны. Одной лучше глубокое одиночество, другой непрерывное соприкосновение с другими душами. Одной – Голгофу, другой постель из розовых лепестков, одной бурю, другой тишину морского дна. А то и так бывает, что сегодня тебе нужна тишина, а завтра шторм. Вообще, нет заповедей, нет правил, кроме одного – будьте свободны, как свободен Отец ваш небесный. Извне мое бытие скучно и жалко. Каждый день Румянцевский музей, где я с видом труженика перевожу Метерлинка (мне дали переводить какие-то издатели “*Trésor des humbles*”^[403]). каждый день какая-нибудь редакция, где кроме моего рассказа, без преувеличения лежит 250, и мне ввиду почета и милости обещают, что моя “Радость жизни” или “Ника” пойдет семнадцатой; каждый день мой гадкий заботы о завтрашнем дне, о прачке, кофее, о кредиторе, который явится за тремя рублями. Каждый день твердый, как ремень кусок говядины, за который я плачу 40 копеек, потому что его дают в кредит. Но это все декорации. Пьеса разыгрывается совсем другая. В ней все реквизиты, все миры и все рождения, которые есть и будут до скончания века. Мы переживаем великий, чудный перелом. Метерлинк называет его “пробуждением души”. Добролюбов (второй) свершением “древнего долгожданного заговора”, Ницше и Кириллов (из Бесов) новым переходом “от человека до ангела” (у Ницше до сверхчеловека). И капли или целые родники в этой новой жизни сверкают в каждом из нас над прахом старого, над муками родов.

Целую тебя. Страшно соскучилась по детям. Целую их, обнимаю. Люблю всех бесконечно.

35. 9 февраля (кажется) 1901
Москва – Киев

О, как же я хочу видеть твоих детей, детей твоих и тебя. И госпиталь, и его готические тополя, и Костеньку. *Ahimè!* (так поют итальянцы вместо – увы!) это будет ужасно нескоро, так нескоро, как

будто вы в Юкатане или Лабрадоре. Как молодо твое маленькое взволнованное письмецо. С него посыпались подснежники – удивленные, обрадованные жизнью подснежники, нашей юности.

Бальмонта я видела. Не понравился – позёр, франт, фат – из тех, что носят браслеты и кружева. И вдобавок упал в обморок от раны самолюбия – плохо прочел свои стихи. (Обморок не иносказательный, настоящий.) Я люблю его “Чет и нечет” (без окончания). А в остальном он, по-моему, надуман, холоден, претенциозен – модный франт, нарядившийся в последнее слово европейской моды. Но как переводчик Шелли – он поэт истинный и незаменимый. Вот и все о Бальмонте – как глупо и стыдно вышло, что я перепутала письма. Каждый бы прочел на твоем месте, но не каждый бы имел правдивость и мужество открыто признаться. Это нелюбовь, Нилочек – значит и жалеть не об чем. Если бы была любовь, конечно, ты права – там уже не могло бы быть разграничений на высокое и низкое. Но это не любовь – *un cris d'un coeur desert – un souffle ardent d'un temperament*^[404].

И со всем этим покончено. Мне ничего не надо. Я безумно богата и не знаю даже, что мне делать в “подвалах верных” с “верными супругами”. Я не тот большой талант, который умеет раздавать. Но я сумела накопить. Пока обойдешь эти владения, уже и день прошел, и ночь подошла, и так несутся дни и ночи, как крылатые кони.

Целую вас всех. Детям буду писать завтра – сегодня устала, хочу спать – 2 часа.

Вава.

36. 19 февраля 1901

Москва – Киев

Гагаринский переулок, Д. Шлиппе, кв. 10.

Тронута тем, что вы с Костичкой так живо помните меня. И думаю, что так и нужно. Я и сама помню, вспоминаю, верите, не перестаю помнить близких и бывших близкими, так ясно и жизненно, как будто они не переставая живут со мной, в одной комнате. Я забыла – верите, спрятала за семь замков то, что помнить было страшно пусть живет и да будет благословенно.

Мне грустно, и порой больше, чем грустно, что я потеряла из виду Талю, или лучше сказать, что Таля захотела потеряться у меня из виду. Все-таки, Нилочек, сообщи ее адрес. Теперь, когда бедная снегурочка заболела, думаю, ей понадобятся разговоры со мной. И еще, где Анюта – адрес ее мне также нужен – не забудь, деточка, сообщи.

И для того, чтобы не забыть этого, ответь не отлагая, – хоть открытой карточкой.

Весна над Кремлем зажигает такие юные, розовые зори, тает лед, срываются светлые тяжелые капли с водосточных труб и в воздухе пахнет не то увядающим снегом, не то предчувствием близких подснежников. Все было бы хорошо, если бы не жестокие неурядицы материального существования. “Нету”, “негде”, “надо”, “Боже мой” – да ты знаешь все это, милый товарищ. От крайностей этого глупого положения Настя бежит в лес, за 2 станции от Москвы – и я сегодня серьезно думала: стоит ли вся эта милая фата-моргана явлений – весны, осени, лета, театра, друзей, врагов, страдания, счастья – стоит ли она беготни по раскаленной сковороде в погоне за колбасой, за куском мяса и четырьмя стенами. И решила я мудро, что не стоит. Но пока жива мама, я связана в этой области, и значит надо придумывать что-нибудь другое. Завтра пойду, например, на “пурим”. Там будет детский маскарад – дитя, в которое я влюбилась со всем эксцессом стародавней страсти, будет в неаполитанском костюме. Но дело не в том. Я пойду на Пурим, потому что там будут и взрослые. И я лелею сумасшедшую мысль подойти к первому попавшемуся золотому тельцу и сказать: дай мне кусок золота величиной с твою голову. Я давно собиралась сделать это. Но почему, скажи мне, полевая маргаритка, законная жена, девочка Красная шапочка и Архангел Гавриил – скажи мне, почему я, которую еще “у наших” называли Эвтиждой, никак не соберусь сделать этого.

И мало того – когда это золото – и телец подходят сами ко мне и мычат выжидательно – и стоит только протянуть руку – я вдруг всем существом предпочитаю ему нищету и отчаяние из-за пяти рублей.

Целую тебя, Костю, Полечку и детей – крепко, горячо, как целую при свидании и при прощании, как можно целоваться только в Киеве, где родные звезды, родные тополя, родные могилы.

37. 19 сентября 1901
Воронеж – Киев

Не хотелось писать тебе, дорогой Нилочек, все это время, потому что у нас тоже скверно. Мама хворает, но все-таки возится с котлетами, кашею, не понимает, что это тяжело и не нужно, что не стоит превращать это в культ, – и раздражается, и снова в отношения вкрался холод, дальность, преднамеренное игнорирование точек зрения и самой сущности натур. Мою вторую отчизну – кухню сдали за полтинник и мне негде жить, т. е., юридически есть, и фактически есть – но для писанья, для того, чтобы чувствовать себя ушедшей от Воронежа и от всего на свете, нет. Я стала злой, и до меня нельзя дотронуться. В Москву следовало бы ехать теперь же – но для этого нет ни денег, ни предчувствия их. Т. е., я должна получить из “Игрушки”,

где в сентябре будут напечатаны 4 моих рассказа рублей 30 – но, что это для всей семьи с зимними заготовками пищи и платья. Одним словом, худо.

Светлая сторона – Метерлинк, которого я читаю, приезд Насти и виноград, который прислал Миша. Все это – Метерлинк, Настя и виноград, между прочим, пришли уже к концу. Поехать к Насте – и хочу, и есть причина колебаться. Но верно поеду. Деньги от Надежды Васильевны и ее милое письмо получила давно. Поблагодари ее.

Пиши, родной мой. (Если я у Насти буду, письмо перешлют.)

Целую крепко.

Напиши – в Киеве ли уже Софья Исааковна?

38. 8 августа 1902

Москва – Киев

Отвечаю тебе, Нилочка, на киевский адрес, т. к., согласно с твоей зеленой записочкой, выходит, что в Плютах в августе тебя уже не будет. Когда письмо твое пришло в Москву, я гостила у Насти – в двух часах от Москвы. В Мещерской больнице, где она обосновалась, по ее словам, на целую жизнь. Там психиатрическая больница на 700 человек и есть терапевтическое отделение, в котором Настя состоит фельдшером за 35 рублей в месяц и квартира с отоплением и светом и т. д. Я довольна ее устроенности и для ее нервов это лучше, чем лихорадочная погоня за хлебом по московским редакциям.

Меня это лето измучило своей разорванностью на части – Бологое, Молоди, одна, другая, третья дачи, вагоны, конки, полная неизвестность, где завтра ночевать, где обедать и т. д. и бросив все, что держало в Москве, в один плачущий и стонущий бурями и дождями день я сложила свой чемодан и уехала к маме. С вчерашнего дня я в Воронеже. Мама обрадовалась мне страшно. Ее истомило одиночество в это лето... Думаю об энергичной работе. Это необходимо, т. к. здесь застала нужду и с собою привезла эту нужду.

Непременно добудь и пришли Талечкин адрес.

Надо усилить темп переписки, Нилочка.

39. [Конец августа 1901]

Москва – Киев

“По вольной прихоти обманчивых ветрил” я уже в Бологое, куда мать переслала мне письма – в том числе и твое. Останусь здесь недолго. Следующий мой адрес: Москва, Нижнее-Кисловский пер, Д. Товарищества домов, № 6, кв. Воронеж. Приехала сюда по зову Евгении Николаевны^[405], которая очень больна. Мы катаем ее в кресле – она не

может ходить. Но душа ее так же жива, настороженна, чутка и прозрачна, как была раньше.

Зиму она прожила в Берлине; теперь у матери. Здесь прекрасное озеро, северные, грустные и суровые краски зари, никакой ночи – после дня – тоже день, только день в полуобмороке. Но все ясно, можно читать и в час ночи облака вверху окрашены розовым пламенем. Огромный парк – Земляничная гора, где уже много земляники и тихие серовато-зеленые северные леса со всех сторон.

Тем не менее, нужно на московскую сковороду и на московские горячие уголья. Как хотелось бы в Пены! Не знаю только, удастся ли. Все человеческое, удобное, изящное сколько-нибудь стало несбыточным. Сверху жернов – снизу другой. Остается молчание.

Жду вестей. Расскажи о детворе, твоей и Балаховской. О, как я соскучилась по детским глазам, по всему невинному, лепечущему, доверчивому.

Вообще, напиши, как живется. Как Софья Исааковна? Все так же тиха, как ночь в пустынях Египта? Как ничто не хочет умереть в памяти! Я вспоминаю сейчас Пены, как вчерашний день – и березы, и звезды и голос Софьи Исааковны.

...будь здорова и пиши Таличка уехала к вам?

40. 3 октября 1902

Москва – Киев

Арбат, меблированные комнаты “Успех”, № 8

Ты права, родная моя, в своих плохих предчувствиях относительно моего ответа. В жизни моей скопилось столько тяжелого, что я в затруднении – подниму ли, и что будет, если не подниму.

Настя заболела тяжелой нервной болезнью, сложной, причин и течения которой врачи не понимают. Предполагается консилиум, предполагается и то, что она может не выздороветь. Это случилось месяц тому назад и за это время не было улучшения. Затем – ненависть там, где должна бы быть нежность и доверие, и невозможность расстаться там, где осталась только ненависть.

Это и Настя – главное в моей жизни. Остальное конки, уроки, тесный номер с запахами рукомыльника, печатание стишков в “Курьере”^[406], “Волыни”, безденежье. Впрочем, было бы несправедливо не прибавить, что надо всем этим, вне всего этого я бываю удивительно, необыкновенно счастлива без всякого повода к этому. Не знаю, поймешь ли ты это: и кажется, что все у тебя есть, и ничего не

нужно, и все любишь, и ничего не желаешь, и чувствуешь такую беспредельную свободу, такую горячую готовность жить и умереть.

Попроси, Нилочек, Талю написать о себе подробно, как живется ей в Киеве и “вообще” на этом свете. Я писала на петербургский адрес. Получила ли она мое письмо

Я очень соскучилась по вас, мои милые, хорошие. Жду весточки, не забывайте.

Вава.

Прочти при случае Джером Джерома и “Об умении нравиться женщинам”. Под этим пошлым заглавием живет благороднейшая книга. Особенно конец.

41. 25 октября 1902

Москва – Киев

Спасибо, дорогая. На душе легче и теплее становится, когда получаешь такое письмо, как твое. Вообще, на этот раз мне легче переносить все случившееся, благодаря тому, что я убедилась на деле в искренности и глубине отношения ко мне некоторых людей – в числе их оказалась и ты, и Костя. Скажи Костичке, чтобы пока не заботился ни о чем. Настю необходимо месяца на два оставить еще в Мещерске. Я сейчас только оттуда. Мне дали в два дня четыре свидания. Не знаю, было ли в жизни что-нибудь тяжелее, неправдоподобнее, ужаснее. Все, впрочем, было тихо. Она не говорила с нами. Но ее нельзя узнать – страшная худоба, прозрачные руки и ничего Настиного – ни взгляда, ни голоса. На вопросы она отвечала почти сознательно, но странно. Большую часть часов проводит в религиозном экстазе. Остальные в полной угнетенности, от пищи отказывается. Не ела пять дней, отчего меня и вызвали. Удалось уговорить ее съесть яйцо и выпить стакан какао. Моментами она сознательно и многое помнит, но многое и забыла. Говорят, что она рассуждала совершенно логически, исключая некоторые пункты. Но я этого уже не застала. Не застала, к счастью, и того периода, когда она была буйной. На вопрос, хочет ли она уйти оттуда, она отвечает: Нет, мне здесь хорошо. Да и неудивительно, отношение к ней прекрасное. Сам директор больницы навещает ее через день. Все сослуживцы директора и фельдшерицы принимают участие – но потом будет печальным осложнением отсутствие близких и родных и домашней обстановки. Для этого я и хотела бы перевести ее в Москву и постараюсь сделать это. А если сама все порву с Москвой – буду хлопотать о Виннице или о чем-нибудь киевском и перееду в Киев. Что ж с Таличкой? Напиши, родная, в чем выражается ее болезнь. И дай ее адрес. Пиши на Нижнюю Кисловку, д. № 5, кв. 10. Пока буду там. О себе как-то не подберу слов сказать порою я даже счастлива. Я

научилась уходить куда-то далеко и от самой себя, и от людей, и проводить часы или минуты – не знаю, там, где ничего нет, кроме красоты и свободы. Жаль, что у меня нет таланта, чтобы рассказать другим об этой стране.

А фактически – урок, заботы о логовище – до сих пор не устроилась, жила в меблированных комнатах, дорогих и отвратительных. Теперь ищу ящик подешевле и подомашнее. По ночам стала бояться одна – все что-то слышится, чудится, кажется – большею частью на мещерские темы.

В Киев ужасно хотелось бы. Но это невозможно. Неужели ты приедешь? В хорошее как-то не верится. Впрочем, я гневлю Бога; человек который ненавидит меня – любит меня, и когда я не ненавижу его – я его люблю; и есть часы, когда все забывается и помнится только, что есть нечто таинственное, называемое жизнью, и в жизни – еще более таинственное – и почему-то радостное – власть одного человека над другим.

Целую тебя и всех твоих деток и Костю. Жду письма твоего. Сейчас такое яркое весеннее солнце. Вава.

42. Москва – Киев

Малая Бронная, д. Румянцева, кв. 38.

Получила несколько дней тому назад твое письмо, дорогой Нилочек. Хорошо, если бы ты могла приехать. До 25-го моей хозяйки нет – вся квартира свободна, я одна в ней с прислугой.

Много душевной усталости в твоём письме, тебе хорошо бы встряхнуться. Я очень рада была бы тебе – я тебя так давно не видела, не слышала. Сама я в периоде молчания – я довольна очень, что одна в квартире и иногда даже притворяюсь, что меня дома нет – когда приходят люди с разными разговорами и с психологическими счетами.

Если бы не плохое состояние нервов – бессонницы и т. д., было бы все выносимо и, м. б., даже хорошо. Душа хочет быть мужественной и молчаливой, хочет взять на себя ответственность за все и всему глядеть прямо в глаза. Но от этого не меньше головные и всякие другие боли. Хочу отделаться от них и немного реставрировать себя водолечением. Если это не окажется слишком дорогим, начну с завтрашнего дня обливаться и делать все, что прикажет гидротерапия, м. б., и электротерапия. Настю отправляют в Кирилловку. Земство, а главным образом директор Мещерской больницы, грубы со мной и вряд ли дадут знать, когда ее отправят. Я, конечно, помимо них это узнаю, но, возможно, что это будет позже на несколько дней. Поэтому очень прошу тебя, справься по телефону, как получишь это письмо – не привезли ли ее в больницу. Если да – напиши мне, я попрошу кого-

нибудь из знакомых – Полю, Сашу, а м. б., московскую барышню, которая едет теперь в Киев, устроить, что можно для облегчения Насти с теми деньгами, какими я располагаю.

Целую тебя, Костю и всех детей. Пиши, а лучше приезжай.

Я на Рождество непременно в Киев соберусь.

43. [Ноябрь 1902]

Москва – Киев

Жду твоих писем, Нилочек, и огорчена, что не имею от вас вестей. Получила ли ты мое письмо (последнюю открыточку для Лёли и тебя) и книги?

Из последних сил постараюсь съездить на Рождество в Киев – я уже успела соскучиться по тебе и Костичке и по вашей детворе. Мои девочки приносят мне много светлых часов, но не могут заслонить рожденных тобой, связанных еще с молодыми днями детишек. Боюсь только, что эта поездка слишком огорчит человека, который до сих пор не может простить мне летних экскурсий. Он совсем не верит в мое отношение – но любовь, как проклятие тяготеет над ним и разлюбить он не может. По-прежнему мы обречены идти через вьюги и тесные ущелья, по острым камням и попадать в такую темноту, где ничего не видно и кажется все погребло – и находить выход в поля блаженных, где нетронутые цветы, первобытное солнце и ключ жизни на несколько часов.

Что Костичка и Поля ничего мне не отвечает? Не знаю, как быть с Настей. Не сегодня-завтра мне могут прислать ее. Порой я обрадовалась бы возможности быть на ее месте. Иметь в голове одну мысль, одно чувство Бога – разве это не лучше, чем это мелькание, умирание, возрождение на минутку и заведомая призрачность и грубость нормального.

Пиши, Нилочка, как у тебя в царстве внешнем и внутреннем.

Во вторник пойду слушать твоего любимца (Бальмонта). Будет читать о Пшебышевском^[407]. Читала ли ты его *Homo Sapiens*? Прочти непременно это Кнут Гамсуна “Пан”. И напиши, как понравилось.

До свидания, дорогая. В общем – горение и сейчас же безбрежная усталость, смерть.

Напиши обо всех детях. Угодила ли книжонками Лёле?

44. [Декабрь] 1902

Москва – Киев

Нилочек мой дорогой! Пишу из Мещерска, куда приехала навестить Настю. Здесь хороший лес, парк, снежные сугробы, а с больными я не только свыклась, но и сдружилась. Запросто беседую с буйными помешанными, хожу к смирным, изолированным во время припадка, позволяю “искать” у меня в голове, обнимать и толкать, бить они не смеют того, кто их не боится. С тихими пью чай – нахожу все это общество мало отличающимся от, так называемых, здоровых людей.

Только слабоумных не люблю. Давно уже назревали у меня мысли, что все одинаково в мире – жизнь и смерть, радость и страдания, здоровье и болезнь. Настю через неделю могут отпустить в Воронеж. Из Воронежа постараюсь заглянуть к вам, если денег хватит. А пока вот что разузнай, Нилочек, только с коммерческой осторожностью, когда выйдет второе издание Владимирского Собора и в скольких экземплярах (это важно). И еще – не раздобудешь ли ты несколько открытых писем с моей фотографией (у Кульженко). Этим ты оказала бы мне большую услугу. Пожалуйста, об издании узнай, родная, поскорее и напиши Москва, Каретный ряд, Спасский пер., д. Цер. Спаса, кв. 33. Бардаль.

45. 1 января 1903
Москва – Киев

Нилочек! Поговори с Костей и с Андреем Фёдоровичем^[408] насчет Винницы. Немедленно сообщи мне, возможно ли в ближайшем будущем, и на каких условиях поместить туда Настю. Ее болезнь возвратилась бурно с разными осложнениями, грозит слабоумием, если не будет упорного и энергичного лечения. О здешней же больнице сами доктора отзываются как о мертвом доме. Ни свежего воздуха, ни одного условия для сносного самочувствия. Каждый лишний день здесь – мука и для нее, и для нас. Я написала в Мещерское с просьбой вернуть ее туда – но с ответом медлят и по многим причинам ответа нужно ожидать отрицательного. Я навещаю Настю два раза в день и поняла, что на свете нет большего горя, как видеть вместо близкого, дорогого, понятного лица непонятное, чужое, часто страшное, видеть человека – и не иметь о нем никаких известий. Письмо твое получила. Спасибо за приглашение. Если можно будет – и в денежном смысле, и с делами, приеду.

А с Новым годом и забыла поздравить. Мы эту неделю прожили во времени и неизвестно – года тянулась она или минутку. Желаю в новом году всяческой пощады от Жизни.

46. 9 апреля 1904

Москва – Киев

Хотела бы картины более отчетливой и подробной. Меня интересует по-прежнему человеческая душа – тайна ее увядания, воскресения, роста. Если даже все суета – это почему-то остается интересным и важным. От письма твоего веет воскресшею молодостью, надеждой на жизнь – на нечто большое и настоящее в жизни.

Я хотела бы знать, откуда это и чем питалась, и чем жива такой повышенной степенью жизненности душа.

Не нужно прибавлять, что к общечеловеческому интересу здесь присоединяется особый – личный – с детства милый, привычный и родной образ души, воплотившийся в земном образе навеки семилетней для меня Нилочки.

Меня так же трогает, что тебе в этом настроении хочется писать именно мне. И я нуждаюсь в настоящем моем состоянии, чтобы во мне как-нибудь нуждались, дотрагивались до моей души, чего-нибудь хотели от меня. Тогда я ощущаю, что у меня есть “Я”, такое, какому жизнь не могла нанести ни одного ущерба, неизменное в своем требовании от жизни и в своей вере в то, что выше жизни.

Но нервы от всего, что было, от весны и Москвы так истончились и онемели, что каждый день труден выше меры.

Живу среди каких-то бондарных и экипажных заведений, чайных, трактиров. Рада, что не вижу поэзии вечеров северной весны. Четыре года тому назад я каждый вечер в это время ходила на один из мостов и смотрела на Кремль. Небо за ним было ярко и нежно зелено-синее, известное только в Москве, башни стояли, как видения древности, как сон сказочной, отошедшей в вечность действительности. И в душе была фантастическая сказка, гордая, еще далекая от воплощения и нежная, как музыка. О, что сделало из нее время, действительность, и я сама.

Ну, до свидания. Пиши. Веришь ли в “вечное возвращение вещей”? жутко – а иногда чувствуется, что ничему нет и не может быть конца.

47. 29 июня 1904

Кудиново – Киев

Письмо твое, милый друг, застало меня в очень тяжелую минуту – одновременно с ним пришло известие из Мещерска, что Настя слабнет и переходит в безнадежное слабоумие. Ты знаешь – с тем, что с ней случилось, нельзя свыкнуться – это не вошло в сознание, входит только минутами – и трудно передать ужас этих минут.

Я живу в Кудиново, где и в прошлом году жила, с той же Катенькой^[409], что и в прошлом году и с ее мужем. Он пианист и

композитор, много музыки, много лесов, много тишины, много красоты, но мало душевного мира и таких часов, когда бы переставали ворочаться в груди какие-то огромные камни, придавливая все, что в ней могло бы еще расти и жить.

Первое – это, конечно, тот, кого ты называла моим другом (как далеко это слово от того, что есть на самом деле). Второе – это же и первое – Мещерское. Третье – сознание своего бессилия и ничтожества создать что-либо, начиная со своей судьбы. Я бы хотела быть железной, крылатой, иметь ключи от всех сокровищ земли и волшебный жезл. Вместо этого всякие невралгии, безденежье (когда деньги так важны были бы) и даже дух вместе с телом устал и чаще дремлет в могильном оцепенении, чем стремится куда-нибудь.

М.И.^[410], кажется, поедет на Дальний Восток. Жизнь его сложилась так тяжело и безнадежно, и душа его так задавлена бременем московских и иных обязательств и так глубоко больна, что даже такая страшная вещь как Дальний Восток, в моих глазах представляется каким-то исходом для него. Я не умею смотреть на него как на больного (это помню только по временам), и поэтому счет наших взаимных обид все нарастает и уже так велик, что расплатиться можно только ценою жизни.

Ты мало пишешь о себе, родная – все так неясно, одни намеки. А я так бы хотела знать о тебе все. Если М.И. уедет на восток, я к тебе приеду. Хорошо? Целую и обнимаю тебя крепко. Пиши – сейчас же ответь.

Адрес: Ст. Кудиново, Нижегородской ж. д., именье Караевых.

48. Москва – Киев

Тверской б. Меблированные комнаты Романова

Милый старый друг мой – ищу для тебя подбадривающие в твоей душевной и телесной усталости слова и стыжусь произносить их. С каждым годом понимаешь лучше, как сложна, своеобразна и скрыта от нас жизнь другого, и как поневоле легкомысленны, пусты и не нужны чаще всего наши советы или утешения.

М. б., единственно, что нужно – это надежность чувства, что говорит о себе или протягивает руку не в пустоту. Мне хотелось бы, родная, чтобы у тебя было такое чувство ко мне.

У меня на совести мое прошлое письмо к тебе. Я увлеклась там “культуртрегерством”. Но как часто я думаю, что и это суета. Быть добрым (по мере сил), быть, если не чистым, то неусыпно очищающимся, слушать в себе волю послов так – это навеки важно. А делается это через Микеланджело и Венеру Милосскую, или без намека на них.

Это может быть не только все равно перед лицом Вечности – но и больше цены, если без Микеланджело.

Десять дней я в постели – инфлюэнца, бронхит. Но теперь это уже на исходе. Со мной неотступно были духовные чада мои – их число все растет в Москве – и также милые старые друзья Залеские^[411]. Приехала вчера Романова^[412]. Анна увидела, в каком я коридоре и в какой комнате и начала с того, что горько заплакала. А я обрела смирение не искать для себя комнат с видом и комфортом. Но из Романовки все-таки скоро убегу – тут воздух темных коридоров перенасыщен пятидесятилетними, сопровождаемыми бактериями. Вот такое мое будущее, поскольку оно от меня.

20-го в Яхонтово к Романовым... А на Рождество, как всегда, к маме. Детей, тебя, Костю – целую.

49. Москва – Киев

У храма Христа Меблированные комнаты “Бояре”

Дорогая моя, прости, что вопреки моему обыкновению не сразу ответила – очень болела это время, и предшествующее, и раньше предшествующего – с самой осени. Друзья мои собирают меня в Крым, т. к. бронхит не уступает никаким мерам. Предполагают стрептококки, исходя откуда медицинский мир грозит мне глухотой, слепотой и смертью.

Помня изречение Юлии Владимировны: “Одинокой женщине, не получающей пенсии, самое лучшее умереть”, не очень борюсь за земное существование. Но устала быть инвалидом и ради этого, м.б., соглашусь на Крым или на переселение за город.

Нилочек, неужели ты это серьезно думаешь о покраже Юрия^[413]? Это ты начиталась Шерлока Холмса, верно. По Москве и ее окрестностям знакомые мне дети (Лиля Шик, например) разъезжают одни с семилетнего возраста и ничего не слышно о пропажах и других ужасах.

Впрочем, последнюю неделю мне так худо было, что я даже не жалею о несостоявшемся свидании с Юрием.

Передай ему, детка, марки. Сегодня выходила первый раз за три недели и захотелось ознаменовать это чем-нибудь праздничным – увидела в окно коллекцию марок и решила приветствовать ими существование Юрия.

До 11-го я остаюсь в Москве, тот же адрес. Как всегда, буду благодарна за вести о вас всех. Целую тебя и Костю.

Напиши, где думаете быть летом. Собирается ли Костя на Кавказ с экскурсией естествоиспытателя?

50. [1905]
Москва – Киев

Приехать в Киев невозможно – по крайней мере, в течение этих двух месяцев – я кажется уже писала, что у девочек моих экзамены и очень серьезные – они поступают в классическую гимназию. Было бы недобро и нечестно оставить их на произвол судьбы. Если бы не они – тоже ведь нельзя было бы приехать раньше мая: в половине апреля вернется в Москву М.И. Нужно попытаться быть с ним – хотя заранее можно угадать, что попытка будет неудачна. Впрочем, все здесь возможно – в сторону возможного и невозможного до бесконечности, как в кошмаре.

В Воронеже по-прежнему, грустно, полно воспоминаний о невозвратном – на нашей окраине. Но в городе за последние годы завелись некоторые знакомства.

Есть интересная и глубоко печальная, хоть и счастливая пара. Он – доктор, интеллигентный, умный, милый – она жена другого доктора, от которого недавно ушла во имя огромной, печальной как смерть любви, и оставила у того, у бывшего мужа, по его требованию троих детей. Этого прежнего мужа и троих детей она помнит каждую минуту – но ни в чем не раскаивается. Любовь ее похожа на горе. Мне у них хорошо уже тем, что все хочется плакать. А дома я деревянная и из желаний знаю только еду и спать. Много читаю матери вечером – и что бы ты думала – Метерлинка! 6-го или 7-го уезжаю. Мой московский адрес: Долгоруковская улица, Косой переулок, д. Федоровой, кв. Федоровой – мне.

Прочла книгу великого Чехова. Если бы не слог, который меня возмущает (“тина правды”, <нрзб>), многое в ней отвечает на созревшие в душе вопросы.

Пиши, если не хочешь терять меня из виду. Отвечаю я – ты видишь аккуратно. А если не будешь писать, мне будет трудно собираться с письмами.

Воспоминания Варвары Малахиевой-Мирович

О Льве Толстом. В Ясной Поляне

Эти записки набросаны на другой день после поездки моей в Ясную Поляну. Теперь, когда Л.Н. Толстой ушел от нас и к облику его прибавилось величие смерти и высокая красота последних дней его жизни, хотелось бы в другом тоне рассказать все, что здесь написано. Но при такой обработке легко могла бы пострадать свежесть первоначальных впечатлений, для сохранения которой я решаюсь оставить мои прошлогодние заметки в нетронutom виде. В них нет ничего литературного, так как для печати они совсем не предназначались. Лев Николаевич несколько раз говорил в течение нашей беседы, что говорит со мной не как с литератором и не хотел бы, что бы при жизни его беседа наша проникла в печать. Мысль о том, что я могу пережить его, не приходила мне в голову, и, когда я записывала свои яснополянские впечатления, они предназначались лишь для меня и для близких людей.

Слишком сильная любовь на земле возвращается к Своему первоисточнику – Богу (*Фома Кемпийский*).

Я начну с дней, предшествовавших моему посещению Льва Николаевича.

В эти три дня, прожитые в Туле, я убедилась, что лучи, исходящие от такого великого очага духовного горения, несомненно, действуют на окрестные города и села. Я говорю не метафорически, не о гипнозе идей, не о власти имени. Я думаю, что просто через стены и деревья, через ветер, поля и перелески идет такой луч из Ясной Поляны и касается души телеграфиста, извозчика, самоварного мастера, маленькой гимназистки, и будит, и волнует их, – беспредметно, но настолько властно, что выросший или долго живший в Туле человек, взяв впервые “Исповедь” или “В чем моя вера”, – уже будет готов понять написанное в них.

Слово “Толстой” (чаще “Лев Николаевич”) в Туле^[414] произносится с особым оттенком, с каким не говорят даже зарегистрированные толстовцы. Говорит ли извозчик, носильщик или ребенок, – что-то настороженное, общее всем, звучит в голосе – и почитание, и тревожность. Чувствуется в этот миг, что шире, чем обыкновенно, хочет уйти взор, всколыхивает душу обязанность усилия душевного – если не теперь, то во имя этого же имени – завтра, через год, “в седьмой, в девятый час”, как в притче о виноградарях.

Дети семьи, где я жила, волновались за меня, представляя мою встречу с Львом Николаевичем. Когда я уезжала, меня провожали с такими лицами, с какими, быть может, в средние века напутствовали отправлявшихся в крестовые походы.

Телеграфисты, у которых я справлялась о поездах, останавливающихся в Козловке или Ясенках, узнав по названию станций, что я еду ко Льву Николаевичу, сразу изменили свои лица; у одного было с косым глазом, сердитое и замученное скукой лицо. У другого – совсем нехорошее, с дурашливыми и циничными гримасами.

И вдруг оба лица стали человеческими, строгими, с оттенками той благородной зависти, какая некогда была, вероятно, на лицах тех из пяти тысяч, которым достался хлеб и рыба, а заповеди блаженства не донеслись и лик Учителя остался не увиденным, так как оттеснили их далеко, к самому подножию горы.

– Можно позавидовать вам, что ко Льву Николаевичу довелось собраться, – почтительным тоном сказал юноша с косым глазом, который за пять минут до этого, мстя за свою скуку, сердито и дерзко говорил, что “закрытых бланков не только у него нет, но и в продаже ничего подобного не может быть”.

– Бывают счастливы, – вздохнув, проговорил его товарищ. – Мы вот с тобой, Мотя, пятый год собираемся, а вот не собрались.

– Ну, не видал еще Лев Николаевич телеграфного народа, – печально сказал тот, кого звали Мотя.

– Граф тем и отличаются, что каждого принимают. Нищий приди, и тому, говорят, слово скажет, – сурово вмешался в разговор седой сторож, до этого молча возившийся в углу над какими-то бумагами.

– Да ведь к нему с вопросами надо идти, – с горечью сказал телеграфист. – А у нас ведь какие вопросы? Самые микроскопические.

Я решила ехать на лошадях, так как поезда не подходили к назначенным мне Львом Николаевичем часам (от 7–10).

В пять часов извозчик заехал за мной, и мы тронулись в путь по тихой холмистой улице, обвеянной облаками вьюги, с низенькими домиками в форме избышек (их ряды прерываются изредка старинными барскими домами с антресолями и колоннами).

Когда мы выехали из города, метель, оказалось, превратила небо и поля в какую-то новую неведомую стихию, в белый хаос грозных и враждебных человеку Начал. То здесь, то там на миг обозначался кто-то косматый с широкими рукавами или стоя закружившихся, сплетенных для общей гибели дико воющих оборотней, головы, крылья, руки, хвосты... Возникали, грозя исполинскою рукою, гиганты в развевающихся мантиях, сразу с бешеною радостью по чьему-то мановению возвращающиеся в хаос. Омофоры, эпитрахили злых сил, отпевающих их буйную гибель, взмахивали над самым лицом, рассыпаясь над санями колючими искрами.

В этих полях вырос и жил Лев Николаевич Толстой, эти стихии первые, быть может, зародили в нем весь ужас его перед Хаосом, всю покорность его перед Хозяином.

Тот “чернобыльник”, о котором он так страшно пишет в “Хозяине и работнике”, – не то ветки кустов, не то уцелевший от осени сухой бурьян по сторонам дороги – метался, как мечутся в агонии, когда умирают, как умирал Иван Ильич, – до того предельного мига, когда он прошептал: “Кончено... смерть...”

– Оторопь берет, – прокричал извозчик из-под своего рядна.

– Может быть, лучше вернуться.

- Три рубля – заработок, – жутко прозвучало сквозь вой хаоса и тонкий плач телеграфных проволок.

- Можно завтра поехать.

- Я не к тому, барыня... Выехали – значит, воля Божья.

И такую покорность Хозяину выразила его согнутая спина под рядом, которым он терпеливо и неторопливо завертывался от вьюги, каждую минуту с победным возгласом срывавшей эту жалкую защиту с дрогнувшей покорно спины.

- Это еще что, – по шоссе едем; а вот как по бездорожье поедem! – странным эпическим голосом добавил старик, ловя край ряда. – Ну, да ничего, я там вожжи брошу, лошадь по следу найдет.

И так ясно стало, что человеку нечего противопоставить беснующемуся хаосу, кроме покорности, кроме предела покорности, того последнего, где боль – радость и тьма – свет.

Конечно, пока есть другие надежды, – кровь, тепло, завтрашний день, – можно без нее обойтись, и утверждать свою волю, и помнить свои человеческие ценности – близкие и далекие. Но когда станет лошадь и над санями начнет расти сугроб и онемевшие пальцы откажутся поправить съехавшее рядом, тогда – хотела бы я знать – может ли кто-нибудь обойтись без покорности, закрыть глаза и застыть “просто”, как засыпает муха, как замерзает в первые морозы запоздалое былье.

- Пуще всего не усните, – сон долит печаль, – возвещает голос из-под ряда и даже как будто радостно.

И правда, покорность незаметно и сладко начинает превращаться в сон.

Дорога спускается в овраг. Сразу становится тише, онемевшая от холода рука с той стороны, откуда ветер, покрывается множеством мелких уколов.

- Правда ли, что его сиятельство не велит, чтобы его звали “его сиятельством”? – спрашивает извозчик.

Я отвечаю, что, вероятно, правда, и объясняю, почему это не может нравиться Толстому. Но извозчик не согласен.

- Такого человека и величать, – говорит он. – А что же, прости Господи, другой и охальник, может быть, а его величают. А Лев Николаевич, слышать, кому нужно корову – возьми, нужно лошадь – лошадь дает, и всегда с наставлением.

- Да дело в том, что ему почет человеческий не нужен, – говорю я.

- Ему не нужен, а нам кого же и почитать? Я четыре раза в Ясную Поляну ездил и четыре раза графа видел. Снимешь шапку, и он шапку снимает... Вы, барыня, с графом знакомство водите?

- Нет, я первый раз еду. Никогда его не видала.

- Скажу я вам правду, – таинственно понизив голос, сказал он, – и в метель ехать – стоящее дело. Англичане приезжают: у них, говорят, в

английской земле, таких людей нет. Слышно, первый человек граф после Бога.

– А разве, по-вашему, не царь после Бога первый?

– Царь, он царь, как следовало быть. А про Льва Николаевича говорят, – он праведной жизни.

– Кто же говорит это?

– Из седоков говорили. И по городу слышно. Вы что, барыня, мекаете? Кабы не графиня, Софья Андреевна, говорят, граф в монахи бы пошел, имущество бы роздал мужикам. А хозяйка-то не допускает... Характерная, говорят... А граф, извините, как мастеровые: в блюзе одевши, без пинжака и в сапогах ходит... А как посмотрит – тут душа разыграет... ведь бывает же такой глаз...

Овраг, высокая пологая гора миновали, пошла дорога лесом, замелькали занесенные снегом дачи. Поворот к “бездороге”. Бросил извозчик вожжи, но лошадь смущается, а может быть, выбилась из сил, ныряя в сугробах. Стала. И извозчик стал. И показалось, что так уже было когда-то: я, и покорный извозчик под изодранным рядном, и продрогшая лошадь в саване из инея – вот так стояли, и на нас безучастно смотрел месяц сквозь снежную мглу, чернобыль и черные деревья. А вьюга нас хоронила долго-долго, – маленьких, покорных... Что это было? Где это было? Или это про “Хозяина и работника”?

Платок, плед, воротник стоят лубком, – повернуться трудно.

– И неподалеку тут граф, – бормочет извозчик, неподвижно стоя, – а поворотов не видать. А поворот – первое дело. Поворота не знать – до утра простишь. – И вдруг он вскрикивает: – Вехи! вон, там, вехи!

В оцепенении своем он не переставал всматриваться в снежную муть и заметил вехи.

– Да это так, может быть, чернобыль какой, – говорю я.

– Нет, вехи, я уже вижу; на них венчики соломенные.

Подъезжаем – правда, веха, другая. И значение их – показывать путь к Ясной Поляне – делает эти бедные сухие прутья такими важными и странно живыми.

Нас догоняют дровни из графской усадьбы; везут какие-то бочонки – с керосином, верно, с маслом. Пахнуло укладом барской усадебной жизни, где не нужно видеть каждый день магазинов, вывесок, не нужно покупать, считать деньги, проверять сдачу. Закупается помногу, надолго, и жизнь освобождается от тирании многих мелочей и, главное, всегда на это хватает на все, и не нужно, как Достоевскому, взывать к жестокосердным издателям: “У жены теплой юбки нет, на молоко, на лекарство, – на завтрашний день уже нет!..”

Ворота с двумя толстыми, низкими, коническими столбами, сторожки, сторожевая собака; она выбегает с ленивым лаем и прячется от вьюги в будку. Сани, скрипя, едут между царственных елей в пышных парчовых ризах. Столетние липы, дубы чернеют сквозь серебряную пелену снеговой пыли. В конце аллеи виднеется большая

терраса у двухэтажного, небольшого, по первому впечатлению, дома. Она пустая, заметенная снегом; окна в доме освещены тускло и только немногие.

Извозчик знает, где подъезд, заворачивает за угол и останавливается у небольшого крыльца, по сторонам которого два скупос освещенных окна.

– Приехали, благодаря Бога, – говорит он с облегчением и даже крестится.

И, выгружая меня из саней, прибавляет неожиданно:

– Дай вам Бог у графа наставиться!

Потом он идет к окну и энергично стучит кнутовищем в стекло. Оказывается, звонка нет. Он долго стучит в одно окно и в другое – наконец, дверь открывается, и высовывается белокурая, чинно причесанная голова лакея в сером, с золотыми пуговицами. Он рассказывает извозчику, как ему проехать в людскую, а меня начинает с бесстрастно-почтительным лицом освобождать от снеговых платков, превратившихся в ледяную кору.

– Вам ко Льву Николаевичу или к кому именно угодно?

Я говорю, что Лев Николаевич назначил мне эти часы. Лакей легко уносится наверх доложить обо мне. А мне кажется, – как всегда в важные минуты это кажется, – что, с одной стороны, это сон, а с другой стороны, что это было уже так, и в чем-то иначе, и хочется припомнить – как иначе? И незаметно, как воздушные, преодолеваются ступени и как несуществующие, пошатнувшись, пропадают какие-то комнаты.

– Лев Николаевич в своем кабинете, – говорит провожающий лакей. – Вот, сюда пожалуйста.

И вот, это жуткое чудо – воплощение, вочеловечение, – во времени и пространстве, лицом к лицу появление того, кто доныне был только названием великого творческого начала, создавшего творения. Более реальные, более живые, чем иные человеческие существа, пережившего такие великие искания, познавшего, может быть, то, что от смертных скрыто. – И вот, это лицо, этот голос...

– Здравствуйте, садитесь. Чем я могу вам служить?

Прекрасное старческое лицо, без старческой дряхлости, с живыми, но светски-завешенными глазами; взор под голубой дымкой, внимательный, но далекий. Мягкий голос, сдержанный, почти холодный. Осанка светского человека, и даже не это, а скорее осанка царя, который решил быть доступным. Но в голосе что-то пленительное, что-то до того родное, знакомое, что опять колышутся воспоминания: кто так говорил? Кто мог так говорить? Такой же величавый и так же таинственно-близкий? И говорил, и был нем в то же время. Проносится в памяти статуя Микель-Анджеловского Моисея. По силе, по затаенной грозности, по той тишине, которая рождается только бурями, невыносимыми для простых смертных, – это братские

лица. И не было бы удивительно, если бы лучи, какие рисуют над головой Моисея, засияли бы и над головой великого старца.

На вопрос его я ответила, что мне давно хотелось видеть его, что встреча с ним, даже помимо слов его о жизни, какие мы знаем уже из его книг, не может не иметь важного значения для каждой человеческой души. (Свои слова я предпочитаю передавать в конспективном виде.)

– У вас какие-нибудь вопросы? – пытливо, искоса бросив взгляд, быстро спросил он. Прочитав на моем лице, что дело не в вопросах для меня, он быстро прибавил, чуть улыбнувшись, с светской любезностью:

– Если нет, – тем лучше.

В первый час нашей беседы светскость почти не покидала его, глаза почти все время были завешены голубоватой дымкой, отчуждающей властно и спокойно, без обиды для гостя – потому что голос его все время звучал мягко и заинтересованно.

И только, когда он дал мне для прочтения вслух письма солдат, и я неожиданно для него подняла на него глаза, я встретила уже не светский, а пытливый, строгий взгляд судьи и учителя жизни. В первый час он говорил о своем понимании религии – это было совсем, как в его книге, теми же выражениями. Говорил о тех силах, какие заложены в народе; о пробуждении религиозного сознания; о том, что интеллигенция никуда не годится, раз она дошла до такой мерзости, как “декадентство”; сурово советовал (все с тем же холодным взглядом) не читать книг, кроме Евангелия, Вед, Конфуция, Лао-Тзе.

– Это, как если бы вы шли пешком и по вашему пути ехал автомобиль и подвез бы вас. А читать Джемсов разных – это или на одном месте топтаться, или, еще хуже, от своего пути в сторону на тысячу верст скакать.

В книге Джемса^[415] его заинтересовала выдержка из “Вед”. Но книга была не разрезана, и мы не могли найти этой выдержки.

Зашла речь о стихах, между прочим, о стихах Соллогуба^[416], о которых он отзывался с резким осуждением.

Я стала защищать те стихотворения этого поэта, которые мне нравятся.

– Прочтите что-нибудь вслух, что помните, – сказал Лев Николаевич.

Мне пришло на память одно из давних стихотворений:

Я люблю мою темную землю,
И в предчувствии вечной разлуки
Не одну только радость приемлю,
Но смиренно и тяжкие муки.
Только воля Господня и есть...

Докончить мне не удалось. Лев Николаевич сердито и морщась в то же время, как от боли, прервал меня вопросом:

– Что это значит “темная земля”, когда над нею светит солнце? И почему он знает, что разлука “вечная”? И потом – эти пошлые кражи из “Отче наш”. Нет, нет – избавьте меня от ваших Соллогубов. Вы живете в этом мире. Вам это что-то говорит. А я знаю, что тут ничего нет. Да я стихов и вообще не люблю, – добавил он, несколько успокоившись. – Одно на тысячу, нет, на 10.000, да и не на 10.000, одно на 100.000 стихотворение годно для прочтения. Например: “Когда для смертного умолкнет шумный день...”.

По странной случайности дорогой, когда начинал одолевать сон, у меня все время под пенье метели звучали эти строки в голове, и я прочла вслух это стихотворение. Лев Николаевич слушал со смягченным лицом, с заблестевшими глазами. Он сам заканчивал некоторые строчки. Когда же я останавливалась, чтобы послушать его, он произносил слово и смотрел выжидательно, пока я не догадывалась продолжать стихотворение. Последний куплет: “И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная” Л.Н. произнес два раза с торжественно скорбным выражением.

– Это стихи, – сказал он; – и таких стихов пять, много десять на всем свете... Да и может ли быть иначе? Я по себе знаю, какая тонкая вещь – мысль и как она высекается. Как нужно бережно, с какими усилиями, с каким трудом нужно каждое слово высекать. А тут вдруг – рифма, – извольте выбирать непременно вот из этого десятка, нет, пятка слов: морозы, розы, грезы, слезы, козы.

Я возразила, что у поэта мысль рождается из мелодии, которая звучит уже почти готовыми музыкальными созвучиями.

– Так это у одного из 100.000. Да, для этого есть, кроме того, музыка, – сказал Лев Николаевич. И при слове “музыка” опять смягчился. Доброе старческое умиление разлилось по его суровым чертам.

– Музыка на меня страшно действует, – сказал он дрогнувшим голосом, точно ослабевшим от воспоминания о силе пережитых впечатлений.

Я вспомнила, как рассказывали в Туле, что к нему недавно приезжал французский оркестр старинных инструментов; играли *tarantelle*'y, и *tambourin*, и *morceaux de ballet*, а Лев Николаевич все время плакал. И, уезжая, один из музыкантов сказал: “Мы не думали, что такой человек есть на земле”.

Лев Николаевич спросил, что заставило меня взять такой трудный труд и такой неприятный, как чтение рукописей. Я сказала, что, помимо моего интереса и симпатии к этому журналу^[417], у меня была и есть необходимость заработка.

– Вам это, верно, покажется странным, а, по-моему, вы, именно вы, могли бы и на 20 рублей жить.

Я сказала, что у меня нет этого искусства.

– Да, в большом городе, – согласился он, – на 20, пожалуй, трудно. Но на 30 уже можно.

– Мне было бы трудно, – сказала я. – Трудно, когда плохая комната, скверная еда.

– Зачем же скверная? Главное, ведь это наряды, и если желать за модой тянуться, – вот главные расходы.

Ко второму часу нашей беседы он стал ласковее, ближе. Говоря о мертвых точках в жизни человека и о подъемах “на новый гребень волны” (это его слова), он заволновался: взор его стал детски доверчивым.

– Я понял, недавно, на днях только, понял, что это необходимо – упадок и подъем, ложбинка между волнами; на самое дно ее упасть и опять на гребень взобраться. Это закон движения. Покоя не может быть, довольства не должно быть. Блаженство достигнутое – только миг... После него снова тягота, снова усилия. “Царствие Божие берется силою”.

– И еще вот, мы о ваших занятиях говорили. Я сейчас думаю, – это я вот сейчас, сейчас только понял, что желать перемены, да еще во внешнем, – это значит оскорблять Хозяина. Мы не более чем работники. Воля одна, и воля Его, а не наша. Если вы роетесь, как вы говорите, в мусоре мысли человеческой и ничего другого для журнала не делаете, – значит это так нужно. Но пишет скверные рукописи никто иной, как человек. И вот в отношении к нему, в живом отношении, какое может рукописей не касаться, и будет живое дело.

Потом он спросил меня, есть ли у меня дети. Я рассказала ему в коротких словах, как сложилась моя личная жизнь.

– Это избранничество, это большое счастье, что нет детей, нет семьи, – торжественно сказал он с суровым и вдохновенным взором, уже без светской завесы, глядя прямо в глаза. – Одиночество – благо, которое люди еще не оценили. Если, конечно, мы не одиноки, оставаясь наедине с собой, и знаем, “какого мы духа”.

С проникновенно-ласковым и умиленным лицом, он встал неожиданно с кресла и прошел мимо меня к столу. Выдвинул ящик и достал тетрадку дневника. Благоговейно взяв ее, я прочла, на указанной им странице, записанные накануне бесконечно трогательные слова о сомнении и колебании его, о недостатке “твердости” в вере, о сознании удаленности от Бога.

– Так знаменуется каждая новая ступень, – сказал он с волнением. – Теперь я уже знаю, что это и есть ступень кверху, а довольство – остановка. А раньше я доходил до такого отчаяния, что мечтал о смерти, как об избавлении в такие минуты. Теперь уж я не “верю”, а “знаю”, что это такой путь, такой закон, а иначе быть не может. И как все новое узнаешь каждый день, как дивишься тому, что было еще вчера, что вот этого не знал, вот так-то мог подумать, ужасаешься

своим заблуждениям, что вчера еще за истину принимал. Думаешь: да неужели я мог так это подумать, так это почувствовать?

Он говорил еще о близости своего “ухода”.

– Мне 82 года, – сказал он. – Мне скоро уходить (он еще раза два в течение беседы употребил это слово “уходить” вместо “умирать”), и я не увижу, что из всего этого выйдет (говорили о современном ходе событий в России).

– Но я думаю, что в народе много религиозных сил. Вижу это и по письмам, вот таким, как от этого солдата, и сам наталкиваюсь на таких людей. На них вся моя надежда.

С глазами радостно блеснувшими, он снова взял письма солдат.

– Это – люди, – сказал он, – это настоящие люди, и вот этот пишет, что его религиозный переворот произошел от “Круга чтения”. А когда слышишь о всяких насилиях и когда близкие терпят от них, – вот Хирьякова засадили, Гусева моего милого от меня взяли. Я учусь говорить: “Прости им! Не ведают, что творят!”

Я сказала о себе, что для меня с детства всегда были отдельными и лишь формально связанными историями – распятие Христа, и воины, игравшие в кости, и даже тот, кто ударил Христа копьем. И гнева против мучителей Христовых при всей страстной религиозности моей я ни разу не испытала.

Лев Николаевич оживился; свет прихлынул к его лицу, так что трудно было вынести силу этого света, напряженность этого внутреннего видения. В этот миг, казалось, он был на Голгофе и был Богоматерью у креста, и любимым учеником Христовым, и воином, поднявшим копье.

– Да, это важно, – с чудесно сверкающими глазами, повторил он, – это очень, очень важно... Ведь без воинов, без сотников, без Иуды не совершилась бы и жертва Христа... да, это так, это так!

Во время разговора дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, несколько раз входила с письмами, с вопросами, – не меньше четырех раз, и, наконец, озабоченно сказала:

– Может быть, вы хотите пройти к нам! Вы посидите с нами, а папа выйдет к чаю.

Лев Николаевич старчески добродушно улыбнулся.

– Она всегда так оберегает меня. Но я совсем не устал. Мы так разговаривали, что я не устал, – тоном, отстраняющим возможную настойчивость в заботливости о нем, уже без улыбки, добавил он.

Александра Львовна ушла странно легкой, при ее полноте, бесшумной походкой.

Боясь усталости для него, я встала со словами:

– Я, правда, пойду, Лев Николаевич.

Он мягко-повелительно сказал:

– Сядьте, – и прибавил уже с раздражением: – Я сказал уже, что я не устал.

Лев Николаевич заговорил опять о письмах солдат, не желавших принять присяги, о их мученичестве за образ Божий в себе, о счастье мученичества.

Я согласилась, что мученичество – высшее счастье, возможное в этом мире, но не могла не прибавить, что себе и близким мы редко осмеливаемся желать этого счастья.

– Это только по дурному качеству той любви, какой мы любим себя и так называемых близких, – сдвинув брови, взволнованно перебил меня Лев Николаевич. – Ни в чем так не слеп человек и так не далек от разумного понимания того, что ему нужно желать, как в том, когда дело дойдет до так называемых близких. А там, где кровь молчит, слышнее, виднее, что нужно...

Потом речь зашла о тщеславии, о тех неожиданных, тончайших формах, какие оно может иногда принять, о несвободе от тщеславия самых чистых душ.

– Быть не просто хорошим, а лучшим, чем другие; не просто идти, куда зовет голос Разума, а непременно других опередить; не просто волю Отца исполнять, а в исполнении еще красоту, красоту соблюсти, – это искушение большое, и редко кого оно минует, – а между тем, если поддаться ему, все плоды душевного совершенствования обратятся в гниль и мерзость – а главное, человек так от настоящей дороги отобьется, что и след травой зарастет, – горячо говорил он, и дивный царственно-строгий поворот пророчески-озаренной головы его снова напомнил Микель-Анджеловского Моисея.

Я сказала, что еще легче поддаться совсем незаметно этому соблазну тщеславия, когда существует у человека досадная способность вечно смотреть на себя со стороны, ни на минуту не упускать себя из виду. Тут всегда как будто что-то на сцене происходит, где ты и актер, и зритель, которому нужно, чтобы актер играл хорошо и чтобы пьеса удалась.

– Я думаю, что это так у каждого художника, – сказал, улыбаясь мягко и светло, Лев Николаевич. – И с этим ничего не поделаешь – актер и зритель так и останутся на своих местах, – но можно приказать актеру, чтобы играл лишь то, к чему он по-настоящему призван, а зрителю внушить, что как бы актер свою роль ни выполнял, особенно любоваться на него не стоит, так как все это до бесконечности далеко от того, для чего каждый из нас призван.

После этого он достал книгу “На каждый день” – июль – и стал горячо хвалить ее. На глазах у него были слезы.

– Эта книга спасает меня. Эта книга – лучшее из всего, что я написал. Я каждый день ее читаю. Я радуюсь каждый день, как спасению, тем мыслям, что в ней. Это – настоящее, настоящее...

Я долго думала потом, на обратном пути, чем так могут быть нужны отрывки чужих мыслей ему, гению, чьи орлиные очи, не мигая, смотрят 82 года в глаза правде; не играют ли эти мысли на каждый день роль

той привычной реальности, того символа реального, чем можно откреститься от искушения безумия при слишком большой напряженности душевных сил? Или, может быть, душа его должна, как в водолазный снаряд, одеваться в родственные, чистые мысли, чтобы не захлебнуться в зле мира сего, которым очищенной душе не под силу дышать, как дышим мы, еще во многом “чада праха”?

Еще когда мы были в канцелярии, Лев Николаевич сильно и, как мне показалось, сердито постучал в стену из своего кабинета. С встревоженным лицом Александра Львовна бросилась на стук.

Раздались слова “Вильям Джемс”. Все начали искать английский экземпляр Джемса, английский словарь.

К чаю Лев Николаевич вышел хмурый, недобрый.

– Я прочитал послесловие, и этого для меня достаточно, – решительно, с мрачным раздражением сказал он. – Очень слабо. Поверхностно. И потом, что это за язык “экзистенциальный”? Разве не стыдно было так уродовать язык?

Я пояснила, что такой условный термин требуется, чтобы быть ближе к Джемсу.

– И “сублиминальный” требуется? Кто слышал когда это слово? Я 82 года живу и не слышал. И что может оно значить, такое поганое слово?

– Подсознательный.

– Что это значит “под”? Я понимаю – вот стул подо мной. Разве нельзя было сказать “внесознательный”? И еще это слово “переживания” (он произнес “пережевание”). Это Вехи, кажется, выдумали. Разве это по-русски? Разве ухо когда-нибудь с этим помирится? Напустили туману, притворились, что это и есть главное, чтобы позаковыристее выразиться, чтобы никто ничего и прежде они сами – ничего чтобы не поняли.

Это не было старческое брюзжание, а скорее целая гроза. Брови надвинулись тучами.

– За что же вы меня браните, Лев Николаевич, – сказала я, – я тоже не люблю таких слов, как “экзистенциальный”.

Но это не умилоствовало его. Он уже меня не слышал. Быстрые молнии сверкали под навесами туч, и от гневного волнения он не мог сидеть на месте.

Накануне мы говорили с писателем Н. о нелепости в применении к Льву Николаевичу того, что сказал Андрей Белый: “Лихой старик, обвеянный пургой”, – но тут вдруг эти строчки сами пронеслись в уме...

Он ушел в кабинет, но быстро вернулся и положил на стол передо мной книгу.

– Наверное, не читали, – сказал он с негодованием. – Сологубов у нас в Москве читают и Джемсов, а это кому же нужно? Какой-то Пимен Карпов! А вот у него именно и поучиться бы, как писать и что писать. Отослали ему письмо мое? – сердитым тоном кинул он дочери.

Оказалось, что отослали, но перепутали. Надписали вместо “Карпову” – “Краснову”. Лев Николаевич заволновался. Но его успокоили, объяснив, что эта ошибка поправима.

– Чудесная книга – это “Говор зорь”. Вы прочтите непременно, – уже ласково сказал он.

Потом устало и огорченно, тоном просьбы, странным в устах царя царствующих в литературе, Лев Николаевич напомнил мне о рукописи Елисеева, которую передал для “Русской Мысли”.

– Вы уж, пожалуйста, мне не откажите; не забудьте про Елисеева; сделайте там, что нужно, и ему напишите, и мне.

Я стала прощаться. Лицо Льва Николаевича оставалось отчужденным и мрачным от потока мыслей, которые будили в нем глухой гнев. Ясно было, что он весь охвачен ими и что ему стоит усилия оставаться в границах приветливости. Но, когда он узнал, что я ухожу не только из столовой, а уезжаю в Тулу, он заволновался отеческой заботливостью и с оттенком укора спросил домашних:

– Разве не предложили В<арваре> Г<ригорьевне> ночевать?

Я сказала, что непременно хочу уехать, что метель улеглась, что я не боюсь ночного путешествия.

– Ну, смотрите же, – сказал Лев Николаевич, – если хоть немного метет, вы непременно возвращайтесь.

Это последние слова, какие я от Льва Николаевича слышала.

Но у меня обиды не было.

Я видела его душу и по младенческой свежести, по силе и правде искания равной ей не знаю. А что душа эта заключена в грозные стихии, которым ей самой то и дело нужно говорить: “умолкни! перестань!” – этого я до встречи не представляла так ясно, как теперь знаю... Но в этом для меня была новая красота, напоминавшая титанический библейский образ Иакова, боровшегося с Богом. Иаков с Богом борется в этой мощной душе, непрерывно, всю долгую жизнь его, и только Иаков, но и Бог бывает иногда хром в этой борьбе. И все жив Иаков, все буйствует, – то гневом, то властью, то гордыней восстает на Бога. И зрелище этой борьбы, так трогательно незащищенное от глаз окружающих Льва Николаевича, – одна из самых поучительных страниц в Библии человечества.

В снежных полях, когда я возвращалась ночью в Тулу, под напевы метели все думалось о том, что любовь, о которой говорит Толстой, не та, которая греет, а та, которая имеет уже право радоваться смерти замерзающего работника. И вспоминались те слова, которые я, кажется, забыла записать, слова из нашего разговора (какое чудесное лицо было у него тогда!).

– Никто ничего нужного вам не скажет, кроме вас самой; царствие Божие только внутри; Лао-Тзе, Будда, – они только попутчики, они могут подвезти. Но нет такого, чего Вы, частица Божественного Разума, не знали бы, а что Лао-Тзе бы знал. Вы все знаете, вы все можете, вы,

говору, т. е. каждый, кто думает, как вы сейчас сказали, что он далек от Лао-Тзе. Если мы чувствуем, что мы от чего-то далеки, то это значит, мы далеки только от самих себя, а не от Лао-Тзе.

И такая любовь звучала в этих словах, – но не к ближнему любовь, а к дальнему, – к образу Божию, от которого так далек еще образ человеческий.

О Надежде Сергеевне Бутовой, актрисе Художественного театра (1920-1921 годы)

Кто прикасался к эзотерическим доктринам, тот знает о существовании так называемой Аказы, где все запечатлевается, и таким образом ничто не пропадает из пережитого людьми.

В христианстве это “Книга живота” – из нее разворачивается хартия всего содеянного человеком в час Страшного Суда. Это – (Книга живота) – концепция морального отбора фактов. В Аказе же записано, сфотографировано все без пропуска. О такой Аказе мы тоскуем особенно, когда уходит невосвратимо из видимого мира близкий человек.

Если мы верим в бессмертие его души, нам хочется, чтобы сохранилась не только душа, но и улыбка, взгляд, тембр голоса. Не только душа, но и то, что было ею пережито, мысли, слова, оттенки чувств.

Исходя из этой потребности, старики пишут мемуары, творя хотя бы на короткий срок чудо воскресения ушедшей в вечность жизни.

На краткий срок “для немногих” и мне хочется на этих листах воскресить дорогой и прекрасный образ друга моего, с которым связывает меня в тесной духовной близости пятнадцать лет жизни.

Когда я увидела впервые Надежду Сергеевну Бутову, ей было 27 лет. Наш общий друг Лурье, недавно трагически погибший за границей (попал под поезд), несколько раз говорил мне: “Вы должны познакомиться с Бутовой. Это необыкновенно обаятельный человек”.

Однажды я спросила:

– В чем особенность ее обаяния?

– Она на все реагирует, на все не понемножку, не расчетливо, как обычно люди кончиком мысли или краешком чувств, а безудержно, щедро, всем своим большим существом.

Я заинтересовалась и пошла в назначенный вечер в дом, где было условлено, что я встречу с Надеждой Сергеевной.

Передо мной было, действительно, большое существо – молодая женщина выше обычного женского роста. Синие прозрачные глаза с пристальным, как на иконах Серафима Саровского, взглядом, обильные шелковистые кудри цвета орехового дерева над невысоким бабьим

лбом и на затылке узел из тяжелых шелковистых кос. Лицо с выдающимися скулами, но подбородок, овал прерафаэлитских линий, – в общем, помесь Анисьи из “Власти тьмы”, которую она только что с шумным успехом сыграла, и Бёрн-Джонсоновской “Девушки с миртами”. Если бы не слегка приподнятые плечи, вся тонкая и царственная фигура ее была бы безупречно красивой, несмотря на недостаток в женщине чрезмерно высокого роста.

Однажды я видела, как она с другими актерами – почти обнаженными – делала пластические упражнения под ритм гексаметров. – И шагнула богиня с Олимпа в Итаку. Целомудрие царственно грациозных движений Надежды Сергеевны вызвало передо мною образ Афины Паллады так ярко, что и сейчас мне вспоминается этот момент, как действительный шаг богини над горами и городами Аттики – с Олимпа в Итаку.

Как никто Надежда Сергеевна умела перевоплощаться в каждое лицо, о котором хотела рассказать. Она чудесно изображала, как он при встрече с казаками (в 1905 году) махал рукой и кричал: “Соколы! Один к одному!” – и приветствовал от артистов Художественного театра, а за углом, увидав эскадрон (!) рабочих, запел во весь голос: – Отречемся от старого мира... А потом, когда началась стрельба, расталкивая всех локтями, первый вломился в подъезд, по дороге приговаривая: – Поспеете, все поспеете, всем будет место.

Станиславский и Немирович, к сожалению, были для Надежды Сергеевны священными особами, портреты которых она хоть и давала в юмористических красках. Но очень осторожно и пиететно.

Ах, этот пиетет молодых идеалистических и по натуре кристально чистых существ к патентованным жрецам искусства.

Даже глубоко задетая очередной несправедливостью к себе, как к актрисе и как к товарищу (в вопросах материального свойства), Надежда Сергеевна не осмеливалась не только порицать, но и судить Владимира Ивановича и Константина Сергеевича.

Она нередко плакала. У нее была эта деревенская бабья привычка – сесть в уголок и втихомолку поплакать.

Спросишь: “Что случилось?”

В ответ вырывается: “Я боюсь, что не вынесу своей заброшенности в театре”.

Или: “Ночь в «Синей Птице» обещали мне, а захватила Ольга Леонардовна”.

Или: “Константин Сергеевич сказал: «С вашим голосом у вас никакой Ольги не выйдет»”.

Последнее ее так поразило однажды, что она растерялась и стала собирать анкету о своем голосе у знакомых. Все написали искренние хвалебные отзывы. Она прочла, умилилась, потом засмеялась и порвала анкету.

У нее был голос сильный, грудной, контральтового тембра, полный задушевности и залихватый, заразительный, музыкальный смех.

В тот зимний вечер, когда мы встретились, мы решили идти домой пешком, шли целый час, и она мне рассказывала, как трудно ей играть мать Бранда. “Я не знаю, что мне делать с моими молодыми мускулами. Мне 27 лет, а ей 70, и как сделать дряхлый голос? Конечно, все выходит неестественно”.

Я видела ее в этой роли. Голос звучал, действительно, неестественно. Отталкивающе уродливый грим, под которым она силилась скрыть свои молодые мускулы, тоже казался неестественным.

Нужно было крушение молодых надежд, резиньякция, туберкулез для того, чтобы стал возможным тихий и скорбный образ старухи Сарры в “Анатеме”, Снегирева в “Братьях Карамазовых”, Варвара Аркадьевна в “Бесах”.

Последняя, внешне артистически задуманная и с ювелирной четкостью выполненная, внутренне прозвучала фальшиво. Особенно на первой репетиции. Я сидела рядом с Борисом Зайцевым, который очень почитал и рыцарски любил Надежду Сергеевну. Он схватил меня за руку от волнения: “Боже, как она потерялась, как все связано, совсем не ее голос!..”

А я так потерялась, что спешно ушла домой, так как, по-моему, нет более тяжелой моральной пытки, чем видеть, как “проваливается” близкий тебе актер.

Потом Зайцев говорил: “Надежда Сергеевна необычайно талантливый человек, но она не «актриса». Надо быть актрисой, в жизни актрисой, чтобы пластически поддаться роли. Надежда Сергеевна может играть только нутром, как играла Анисью. Она дала такой мощный, такой правдивый образ. Ей надо крестьянские драмы или Островского...”

Потом Зайцев написал рассказ “Актриса”, где встают некоторые черты душевного сходства и общности линий судеб с Надеждой Сергеевной.

Я думаю, что он был прав, что Надежда Сергеевна была призвана из бытовых ролей сделать колоссальные фигуры обобщенного характера, не лишая сочности и свежести колорита свои произведения. Была призвана. И театр не дал ей выполнить свое призвание.

Театр, то есть стоящие во главе его, как и теперь, так и тогда исходили в выборе пьес из наличности наиболее талантливых актерских сил. Фаворитизм, коммерсантство, репейная цепкость за свои права премьеров и премьерш – вот что определяло и выбор пьес, и назначение ролей.

Покойная М.А. Самарина^[418] говорила мне: “Если бы Надя была пониже ростом и с другой спиной и бросила бы философии разводить, а вовремя тряхнуть кудрями, ее бы не оттерли на задворки”.

Но, существуя на задворках, Надежда Сергеевна продолжала горячо и действительно любить театр, театральное дело, товарищей, в числе их и тех, кто участвовал в “оттирании ее на задворки”.

Она продолжала до смерти искать чистого служения искусству в этом очаге интриги и карьеризма. Слишком умный и наблюдательный человек, каким она была при всем своем пылком идеализме, она не могла не видеть изнанки театрального искусства, соперничества, раздоров, зависти, разгорающихся appetites, погони за успехом.

Но это она квалифицировала, как временное, случайное, накупь, и театр оставался для нее храмом до последних предсмертных лет, когда такой храм дала ей религия, в частности Алексеевское братство, куда она вошла ревностным членом.

В те годы, когда Надежда Сергеевна начала переходить к режиссерской работе, чтобы, по ее выражению, “не есть даром хлеб” (ролей все не было и не было), она задумала грандиозное предприятие – поставить мистерию.

“Позор, – говорила она, – несмываемый позор, что мы ставим Ярцева, Чирикова. – Разве это нужно? Нужна мистерия”.

Я как раз в это время читала Шюре “Святилище востока”, где он пытается довольно риторически без достаточных поэтических данных набросать драматический эскиз Элевзинской мистерии.

Я перевела Надежде Сергеевне эту пьеску, и она загорелась мечтой поставить ее. Действующие лица там, не более не менее, как Зевс, Дионис, Плутон, Персефона, Деметра, Геката; из смертных – Эвмалькиды – элевзинский царский род.

Целый ряд вечеров провели мы в разработке этих ролей и плана постановки. Решено было привлечь в качестве актерского материала мой “Кружок Радости” – это были собиравшиеся вокруг меня девочки от 15–20 лет. Они писали рефераты на тему “Радости” (вернее – смысла) жизни. Надежда Сергеевна очень этим кружком интересовалась, подробно расспрашивала о каждом собрании и не на шутку стала строить проект – кто из них будет Деметра, кто Дионис, кто Триптолем, кто царевны Родона, Калирис, Эвмокла.

“Богов, мистов, – говорила она, – могут играть только чистые существа. К элевзинским мистериям мисты готовились 10 лет. Актриса, которая сплетничает, интригует, флиртует, топит другую актрису, не может играть Деметру. И потом ваши девочки будут заинтересованы пафосом пьесы, религиозной стороной, правдой, – а актрисам же до нее будет дело только постольку, поскольку это выигрышная или не выигрышная роль”.

Позже этот план театра мистерии “из чистых существ” у нее опять возродился, когда она узнала о Дункановской школе, где девочки воспитывались вдали от мещанских влияний быта в горах, среди прекрасной природы, в постоянном творчестве, в постоянном притоке впечатлений от всех родов искусства.

Конечно, и этот план погиб неосуществленным. Театр, не давая ролей, тем не менее пожирал все силы, все время. И сил к тому же становилось все меньше. Туберкулез энергично работал в переутомленном и сжигаемом вечной артистической неуголенностью организме.

Недаром Надежда Сергеевна часто любила повторять про актеров: “Мы – гладиаторы. Мы – *morituri*, а публика – Цезарь”. И юмористически прибавляла: “Только, все-таки, не следовало бы такому цезарю пятки лизать. Как не поймут этого Владимир Иванович и Константин Сергеевич! Ничего, ничего в угоду публике нельзя делать, потому что она – хам. Прислушайся к ней – придется оперетки ставить, «Птички певчие» играть”.

Увы! Она оказалась пророком. После ее ухода из жизни, заиграли “Периколу” и “Лисистрату”.

Как хотелось Надежде Сергеевне принять хоть самое скромное участие в Шекспировском репертуаре! Шекспира она религиозно почитала, как великую книгу о страстях и Роке. Поставили “Гамлета”. И Королеву, которую, конечно, могла бы сыграть Надежда Сергеевна, играла та же Ольга Леонардовна.

И опять были слезы. И потом резиньякция. Религиозное смирение.

“Так суждено”, “Так, значит, надо”, – все чаще стала повторять Надежда Сергеевна последние годы.

Пришла болезнь – долгая, с перерывом обманчивого здоровья. Надежда Сергеевна умирала два раза. Первый раз ее спас Доктор Добров, второй – профессор Поляков. Целый месяц она жила на камфаре и с кислородной подушкой у постели, и мы с минуту на минуту ждали конца, так как надежды на выздоровление от галопирующей бугорчатки врач нам почти не давал.

Второй раз Надежда Сергеевна заболела в 20 году в условиях голодного времени, и болезнь победила. Победила только тело ее. Душа в обоих приступах болезни росла и крепла. Копила терпение, сосредоточенность духа, высшую мудрость. Те мысли, те движения духа, которые, главным образом, запечатлелись во время ее болезни в моей памяти, я занесу на эти листки без всякой планомерной обработки, в том порядке, в каком они пройдут перед моим взором души моей сами.

* * *

Глубокой ночью Надежда Сергеевна металась в жару. Я сидела поодаль. Ей трудно было видеть и человеческие лица. Вдруг она позвала меня нежным уменьшительным именем и протянула руку. Глаза ее были полны смертельной тоски.

- На *Monte Pincio* сейчас ветер морской, - сказала она, с трудом переводя дыхание.

- Хотите я принесу подушку с кислородом?

Об этом надо было говорить осторожно, она ненавидела подушку.

- Нет, нет, - сказала она, - только не... подушку...

- Хотите Пушкинского "Пророка"?

(Одно из ее любимых стихотворений.) Не знаю, как мне пришло в голову это юродивое предложение, но она встрепелась.

- Да, да, именно это...

Я начала: "Духовной жаждою томим...".

После каждого куплета она говорила:

- Как хорошо.

Когда я кончила, она сказала:

- Вот и легче дышать.

* * *

- ...Театр-схима, - сказала она. И повторила это не однажды. В сущности, актеру даже странно иметь семью. Для семьи все равно будут оставаться какие-нибудь оглодки. Все дары душевные пойдут в театр. Несчастливая любовь - другое дело. Она тоже обслуживает театр.

* * *

Перед портретом Кузмина:

- Я люблю людей с таким полуразложившимся лицом. Это про них сказано: о пшеничном зерне - "не оживет, аще не умрет". Гораздо безнадежнее середина, благополучие, теплопрохладность. О, как я ненавижу их!

* * *

Однажды Надежда Сергеевна призвала всех моих девочек из "Кружка Радости" и начала раздавать им гравюры и фотографии, какими в изобилии были украшены ее комнаты.

"Изжито уже все это до конца. И хочется пустых стен". В то же время к вещам у нее было интимное отношение. Она умела их, особенно вещи сувенирного характера, беречь, очень радовалась подаркам, имеющим художественную ценность, за границей накупила много художественных репродукций и всегда порицала мое небрежное отношение к вещам. А время от времени завидовала:

– Как это Вы можете без вещей жить? Я не могу. А, верно, хорошо быть странником. Но я не странник. Я – гриб. Я вырастаю в почву. Мне трудно менять квартиру, город. Даже на время трудно. Я вам завидую, что вам так легко менять дома, города, расставаться с людьми.

* * *

– ...Каждая встреча человека с человеком, – сказала в каком-то разговоре Надежда Сергеевна, – таинство. Когда одна душа открывает врата и говорит другой: “войди” – это мистерия. Конечно, когда приглашают войти дальше передней или салона.

В любви открывается святая святых, куда и сам человек входит раз в год, и душа говорит другой душе: “Не только войди, но и войди навек и царствуй тут”.

К сожалению, мистерия эта кончается часто тем, что входят в грязных сапожищах, наследят, напачкают, переночуют и пойдут дальше.

* * *

...Ужасная ошибка молодежи торопиться завести роман. Еще усы не успеет отрастить, смотришь, уже озирается во все стороны, к кому бы подскочить с поцелуями, Зина, Катя, Маша, Саша – почти все равно – кто поближе, или кто покрасивее.

И девочки, глупые, тоже не хотят ждать настоящего. Кто первый подмигнул, кто понаглее, к тому и летят, как мухи на сладкую бумажку.

* * *

...Вокруг Надежды Сергеевны всегда толпились девушки, окружавшие ее робким обожанием. Кроме того толпились и дамы, от графинь до золотых еврейских коммерсанток в парижских туалетах, до бедных курсанток и каких-то вдов в наколках.

Когда мы жили вместе, я не без досады однажды спросила, зачем она тратит время на некую *м-те* С. и ее сына кадета – замечательно глупых и с отталкивающей наружностью людей. Надежда Сергеевна задумчиво сказала: “Дело в том, что они нигде не желанны. Никому не нужны. Все хотят общения с умными, с красивыми, с интересными. Если и я их не буду принимать, им, пожалуй, совсем некуда будет пойти”.

* * *

В течение нескольких лет мы с Надеждой Сергеевной каждое Рождество устраивали общую елку, на которую собирали всех знакомых детей, тщательно обдумывали и убранство елки, и подарки. Надежда Сергеевна была детски оживлена на таких праздниках, разговаривала с каждым маленьким гостем, умилялась его наивности и на другой день представляла в лицах их манеры отвечать, есть, капризничать. И не только детей. Однажды она в шутку представила ворон, которых наблюдала из своего окна – вороний спор, потом – вороний суд, и так хорошо, что почувствовалась общая воронья жизнь и различие вороньих индивидуальностей.

* * *

Мы обе с Надеждой Сергеевной любили посещать кладбища в свободные часы – и летом, и зимою. Часто ездили на могилу Чехова. К нему у Надежды Сергеевны существовало интимно любующееся каждой чертой его личности отношение. К сожалению, из памяти моей выпали рассказы Надежды Сергеевны о разговорах с Антоном Павловичем Чеховым, о разных эпизодах их знакомства.

“Нигде так ясно не ощущаешь бессмертия души, как на кладбище, – говорила Надежда Сергеевна. – Этот особый мир, особая тишина не были бы такими, если бы не были насыщены бессмертной жизнью”.

Смерти она не только не боялась, но часто в трудные полосы жизни хотела ее. Когда камфарой и кислородом ее вернули к жизни в первом приступе ее болезни, она однажды с горьким упреком сказала мне: “Я не думала, что именно вы будете так ретиво отвоевывать меня у смерти. И еще при помощи этой мерзостной подушки”.

* * *

Однажды Надежда Сергеевна после того, как профессор Поляков вышел из ее комнаты и поговорил со мной о ее состоянии, спросила меня: “Можете вы сказать мне правду, что сказал Поляков?”

Я ответила, что положение все то же. Она строго посмотрела на меня: “Не все то же. Он сказал: положение в высшей степени серьезно. Надо написать матери. Я хотела только проверить – говорят ли мне правду”.

Действительно, Поляков именно так и сказал, но в конце другой комнаты, при закрытых дверях, почти в передней, и очень тихо. Но слух, как и зрение у Надежды Сергеевны в этом периоде болезни были необычайно обострены.

Цветов, которые в изобилии приносили ей друзья и знакомые, она совсем не могла видеть. Их ставили в соседней комнате.

“Никто, никто из здоровых не знает, что такое болезнь. Болезнь с большой буквы. Они думают, что это цветы, а это раскаленные щипцы. Малина пахнет кровью, кофе – навозом. И время совсем другое. Не ночи, а тысячелетья”.

* * *

Вспомнились другие ночи и зори – в том году, когда мы жили в доме Перцова. Мы занимали на 3-м этаже большое ателье с перегородкой. Из огромного окна был вид на Кремль и на реку, на Замоскворечье. Весенними ночами мы часто встречали рассвет у этого окна. К нам спускался иногда со своей вышки художник Константинов, который писал тогда портрет Надежды Сергеевны и мой. Много говорили об искусстве. Надежда Сергеевна страстно защищала в дебатах с Константиновым выучку, школу, труд – для самых крупных талантов.

Культура, преемственность культуры были для нее незыблемыми святынями. Сама, вышедшая из полукрестьянской семьи (что не мешало ей кончить гимназию), она очень подозрительно относилась к самоучкам и самородкам.

Кольцов мог написать “Ну, тащися, Сивка” или “Что, дремучий лес, призадумался”, а как дошло до обобщения, посмотрите, что у него вышло: “Мир есть тайна Бога, Бог есть тайна жизни, ветер носит тучи, земля плод приносит...”.

Ее искренно возмущал артист (забыла его фамилию), который из поваров после недолгой выучки попал на сцену Большого театра. Когда ей ставили на вид Шаляпина и Горького, она говорила: “Шаляпин – гений. Но знаете ли вы, сколько и как он тренирует себя, какую школу прошел и проходит посейчас. А Горькому отнюдь не помешало бы поучиться – хорошим манерам”.

Сама Надежда Сергеевна не переставала учиться и “проходить школу”, которой требовала от других. Праздных, гостиных разговоров она терпеть не могла. Шестов, Ремизов, Шпет, Балтрушайтис и другие писатели, которые приходили к ней, обязаны были делиться с ней мыслями и знаниями. Она всегда умела так направить разговор, чтобы он попал в серьезное русло.

У нее постоянно были на столе какие-нибудь книги по искусству, по философии, по истории литературы, которые она штудировала.

Позже она о Рубенсовской Фаунессе: “Какие-то бифштексы, чудовищные абрикосы, перезрелые арбузы...”

Мир античной Эллинской красоты наоборот будил в ней почти религиозное обожание.

“Здесь человек – мысль Создателя. – (Помню ее слова о Гермесе с малюткой Дионисом.) – это все еще до грехопадения. Грехопадение и в теле отразилось уродством”.

Кто-то засмеялся.

“Разве Адам и Ева после Праксителя явились?”

Надежда Сергеевна путешествовала по Греции до знакомства со мной и однажды во что бы то ни стало захотела, чтобы и я увидела Акрополь, Эрихтейон. “Отечество красоты, а значит и человеческого духа”, – как писала она в одном письме.

У меня не было нужных сумм на это путешествие. Она убедила меня взять у нее для этого 200 рублей, что вместе с моей наличностью, делало возможной поездку. Убеждая взять от нее эту сумму, она горячо говорила: “Ведь это же общее, поймите, общее дело. Если друзья – друзья и один видел Акрополь, и Эгейское море, и эти острова, а другой – нет, ведь это же несправедливо. И это такая радость будет для меня”.

Эта редкая материнско-сестринская радость сорадования была свойственна щедрой и горячей душе Надежды Сергеевны в высшей степени. Я не раз видела лицо ее сияющим от вестей о том, что какая-нибудь актриса дождалась долгожданного ребенка или счастливо вышла замуж, или кто-то, даже не интимно близкий, добрался до нужной ему цели.

“Как хорошо”, – говорила она своим густым контральто, который, в лучшую пору ее, напоминал свежий шум леса и прохладное утро.

“Как хорошо – теперь уж кончились ее – или его – мучения...”

Так же интенсивно, как и сорадование, было сострадание ее. Она не могла без слез рассказывать о чьем-нибудь горе.

Сидит, бывало, за столом, – сосредоточенная, печальная.

Спрашиваешь: “О чем?”

Тихонько скажет: “От такой-то очень плохое письмо. Трудно ей. Муж явно от нее уходит”.

Среди обычного холода и теплохладности жизни такой отзвук был явлением незаурядным и привлекал к ней вереницы женских сердец, жаждущих тепла и просвета в своих горестях.

Как я уже сказала выше, она видела в этом некую линию свою, подобно старцу Зосиме, и никого не отваживала из приходящих.

Это делало из ее квартиры странноприимный дом. Даже во время аппендицита, когда она должна была неподвижно лежать на спине, вокруг нас полумесяцем располагались на стульях актрисы, ученицы, гувернантки, банкирские жены, старушки и гимназистки.

Я очень боролась с этим, но, пока сама Надежда Сергеевна не пришла к сознанию кризиса в своем здоровье, изменить этот обиход было невозможно.

Слушатели мои, может быть, с удивлением спросят: “Где же про театр, про сцену, про актеров? Зачем нам, людям театра, все эти психологизмы частной жизни?” На это отвечу, как говорила Надежда Сергеевна словами Достоевского о русском человеке, как о всечеловеке.

Актер должен быть непременно всечеловек, а не профессионал. Когда его перестает касаться окружающая жизнь и все, чем болеет человеческая душа, он делается театральной машиной или искусно дергаемой марионеткой. Только гениальные актеры могут всю жизнь питаться из самих себя, потому что там уже тайна многовековых накоплений. Обычный, даже и очень талантливый актер, должен, как эолова арфа, ловить все струи окружающего воздуха, тогда и на сцене будет животрепещущее существо, а не ритатуй.

Пусть не дивятся слову “ритатуй”. В лексиконе Надежды Сергеевны на каждом шагу сверкали такие самоцветы народной речи: “Что на него не надень, – говорила она про одного актера, – хоть десять смокингов, он все Михрютка. Ну, как же ему барина играть”; “Ах, кошка, отойди, все заглядывает в глаза, не люблю таких прихиндеек”; “Нет в нем нужного ритма, как-то он все матусится”; “Разве это жизнь – с утра до вечера бурят друг друга”.

Некоторые ее определения были изумительны своей парадоксальностью и в то же время меткостью. Так про одного философа (Шпета) она сказала: “Он там все трансценденты пишет, а ведь сам – зулус. Никаких обязанностей еще не сознал. Хорошо только то, отчего ему приятно. Вот и все для жизни. А остальное для головы, для книги”.

* * *

Одному из режиссеров, грубо обращавшемуся с молодежью и, между прочим, в какой-то массовой сцене вызвавшем по фамилиям нескольких актрис, прибавив: “Все некрасивые назад”, Надежда Сергеевна сказала: “А вы разве всегда только некрасивых играете? Вам приходится и культурных людей, и симпатичных играть, а ведь вы – мордва”.

Так за ним надолго и удержалось это прозвище среди группы при этом присутствовавшей.

* * *

Красоту, вернее, благообразие в людях Надежда Сергеевна очень ценила.

“Актер, – говорила она, – как и священник, как всякий жрец, должен быть благообразен. Разве приятно видеть в «Одиноких» Мейерхольда с кувшинным рылом?”

Собственный рост сокрушал ее.

“Я понимаю, – говорила она, – что нельзя выпускать героиню в виде колокольни”.

Сердили ее и настойчивые стремления немолодых актрис играть молодые роли.

“Пятьдесят стукнет, а все-таки хотят цыпочек играть”.

* * *

“Нигде так, как на эстраде, не сказывается удельный вес человека, весь его багаж, все особенности его индивидуальности. Пустая женщина, будь она писаная красавица, появившись на эстраде, как плохой запах, распространяет вокруг себя флюид своего ничтожества. Публика, мало смыслящая в искусстве, мужчины, падкие на смазливые мордочки, принимают этот суррогат, но для людей с тонким восприятием Ленин, Яблочкина, что бы они ни играли, будут трудно переносимы”.

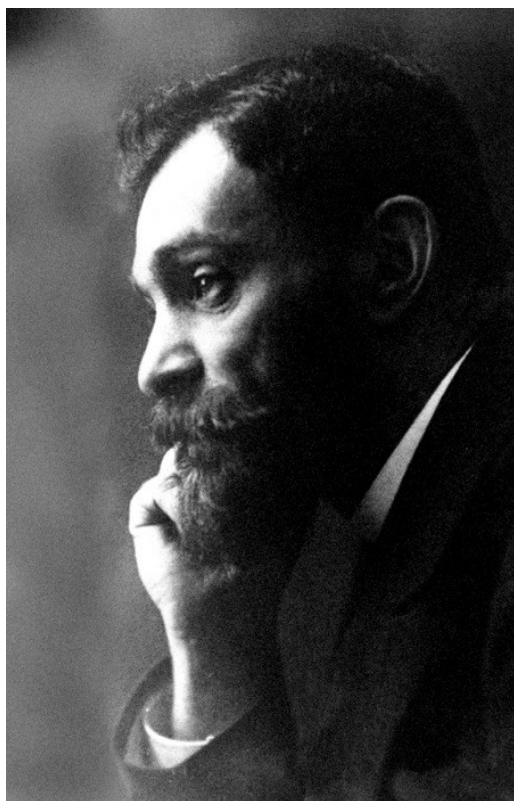
По этому поводу Надежда Сергеевна нередко прибавляла: “Актеру необходимо развиваться. Нужно слушать лекции по всем отраслям знания, нужно пускаться в экскурсии на север и на юг, и непременно в пешеходные по большой дороге у сектантов, сближаться с разными членами общества, съездить хоть раз за границу, и надо бросить эти попойки, эти ночные рестораны, ведь туда идут все те же силы, которые нужны для творчества”.

Порой она делила мои сомнения в кардинальной важности искусства.

Был разговор, где я Бранда, того, который, может быть, действительно, жил и умер где-нибудь в горах Норвегии, ставила выше Ибсена, написавшего эту фигуру, и Качалова, игравшего ее.

Надежда Сергеевна глубоко задумалась. Потом сказала: “Вы, может быть, правы. Искусство в данном случае лишь компенсация недостающих линий жизни. И, может быть, в каждом актере, в каждом писателе дремлет герой, но такова среда, такова сумма внутренних условий, такова судьба, наконец, что геройство его идет не в жизни, а в искусстве”.

Иллюстрации



1888 г. Лев Шестов. 1920-е гг.



Храм святого Андрея Первозванного в Киеве, на ступенях которого состоялась одна из первых встреч Льва Шварцмана и Варвары Малафеевой.



Лев Шварцман. Конец 1880-х гг.



Сестры Шварцман: Соня, Фаня, Лиза и Маня. Середина 1890-х гг.



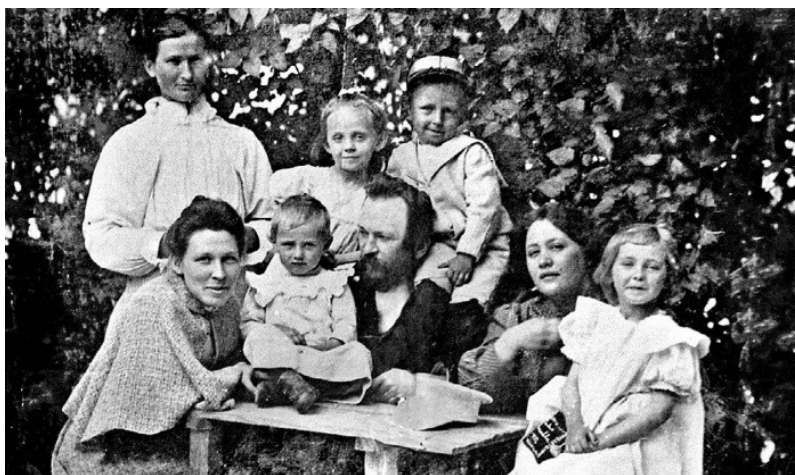
Варвара Малахиева-Мирович (справа) с подругой. 1908 г.



Шварцманы. Слева направо: Маня, Анна Григорьевна, Лев, Исаак Моисеевич, Саша, Соня, Лиза. Середина 1890-х гг.



Софья Балаховская-Пети (первая женщина-адвокат во Франции).
Конец 1890-х гг.

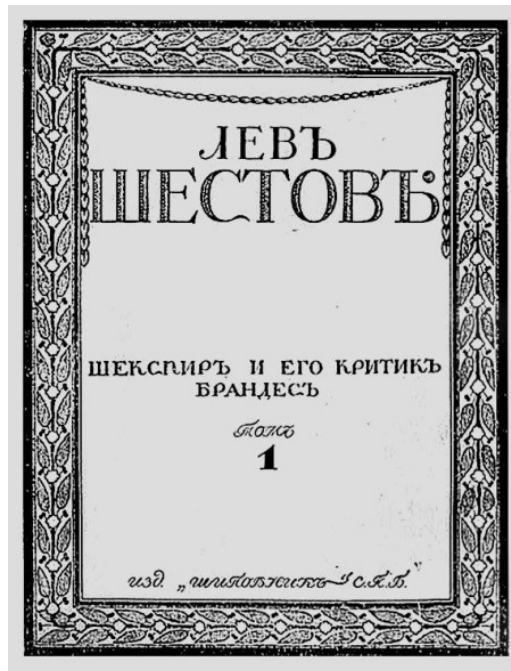


Леонилла Тарасова с мужем Константином и семьей. В центре на
столе – Алла Тарасова. Конец 1890-х гг.

Письмо Льва Исааковича
Варваре Григорьевне. Москва. 6 июля 1895 г.



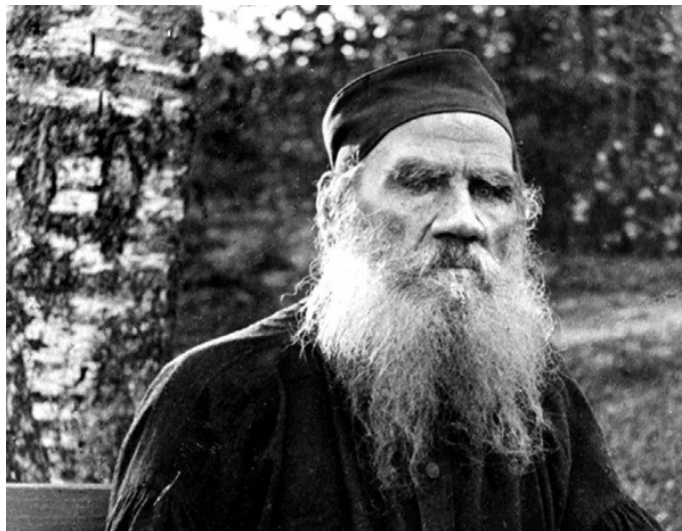
Наталья Кульженко. 1910-е гг.



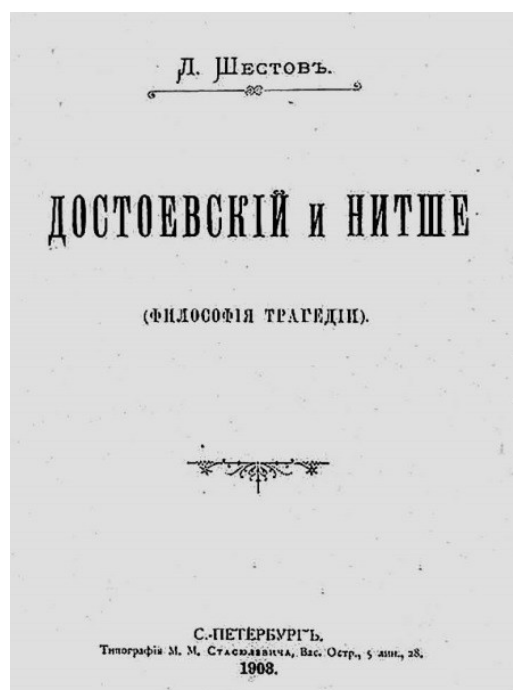
Лев Шестов. "Шекспир и его критик Брандес". 1899 г.



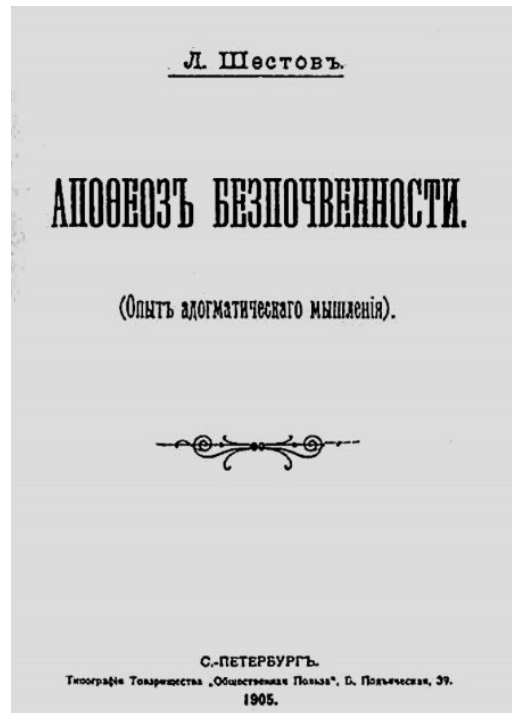
"Добро в учении гр. Толстого и Ницше". 1900 г.



Лев Толстой. Конец 1900-х.



Лев Шестов. "Достоевский и Ницше". 1903 г.



“Апофеоз беспочвенности”. 1905 г.



Николай Минский и Зинаида Венгерова.
Конец 1890-х.



Мария и Михаил Гершензон. Начало 1900-х.



Лев Шестов. 1915 г.



Алексей Ремизов. 1900-е гг.



Лидия и Николай Бердяевы, Аделаида и Евгения Герцык, Максимилиан Волошин, Любовь Жуковская. 1909 г.



Рисунок Алексея Ремизова, сделанный к 60-летию Льва Шестова. 1926 г.



Варвара Малахиева-Мирович и Елена Гуро. 1909 г.



Михаил Шик. 1905 г.



Елена (Лиля) Елагина-Шик, актриса. Ученица Е. Б. Вахтангова. 1910-е гг.



Валерий Брюсов. Начало 1900-х гг.



Андрей Шингарёв. 1890-е гг.



Лев Шестов. Коппе (Швейцария). 1914 г.

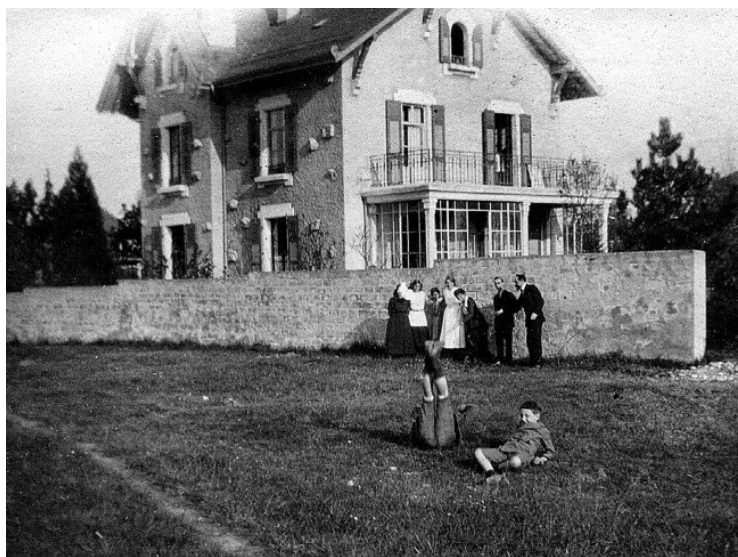


Дочери Шестова Наташа и Таня Березовские.

Наталья – будущий биограф Льва Исааковича.
Конец 1910-х гг.



Жена Шестова Анна Березовская.
Конец 1890-х гг.



Дом в Коппе, где жил Лев Шестов с семьей. 1910-е гг.



Член “Кружка Радости” Варвары Малахиевой-Мирович и ее биограф Ольга Бессарабова. 1919 г.



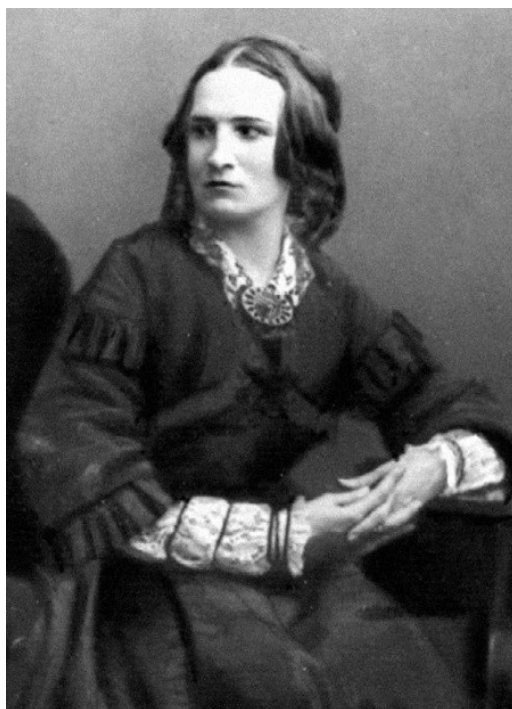
Сын Шестова Сергей Листопадов. 1915 г.



Татьяна Шлёцер-Скрябина с детьми Ариадной, Мариной и Юлианом. 1918 г.



Актриса Алла Тарасова в спектакле "Зеленое кольцо". 1916 г.



Актриса МХТ Надежда Бутова в спектакле. 1900-е гг.



Открытка Варвары с рисунком Надежде Бутовой.



Слева во втором ряду сидит Ольга Бессарабова, над ней стоит Иван Ефимов; в группе выпускниц техникума (в центре) – Михаил Шик и Варвара Малахиева-Мирович. Сергиев Посад. 1923 г.



Книга стихов Варвары Малахиевой-Мирович. 1923 г.

Внизу: некоторые из множества стихотворных книг Варвары Мирович для детей.









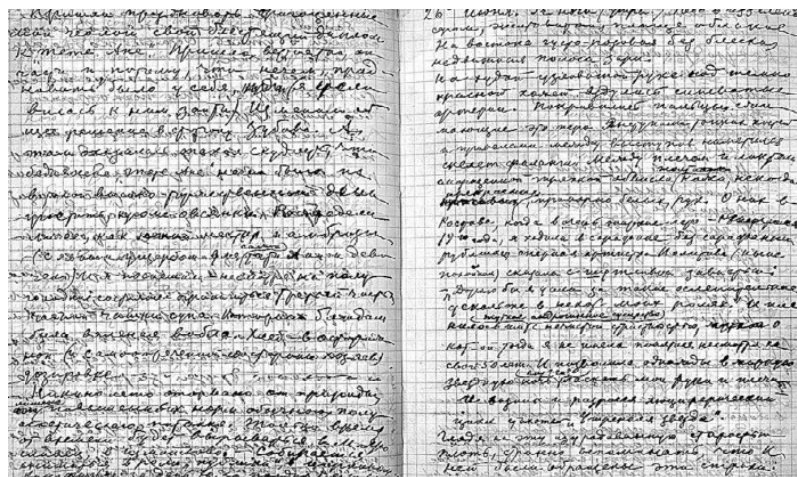
Фотография из следственного дела о. Михаила (Шика). 1937 г.



Варвара Григорьевна с Серёжей Шиком.
Сергиев Посад. 1923 г.



Разорванный портрет неизвестного (Мюнхенская школа), наминавшего Варваре Михаила Шика и Льва Шестова. 1921 г.



Страницы из дневника Варвары Григорьевны.



Малахиева-Мирович с Шиками-Шаховскими. Стоят: Николай, Елизавета, Дмитрий.

Сидят: Варвара Григорьевна, Анна Дмитриевна и Анна Николаевна Шаховские, Мария Шик. 1946 г.



Лев Шестов. Франция. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.



Портрет Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович.
Рисунок Анны Веселовской. Конец 1940-х гг.

notes

Примечания

1

Когда мы работали над предыдущим изданием дневников Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, то еще не были ознакомлены с ее ранними письмами, в которых указана настоящая фамилия семьи – не Малахиевы, а Малафеевы, – поэтому в указателе к книге “Маятник жизни моей” (М.: Редакция Елены Шубиной. 2015) все родственники

указаны как Малахиевы. Новые находки позволяют исправить прежние неточности. *Здесь и далее примеч. Н. Громовой (если не указано другое).*

2

Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей. Дневник русской женщины 1930–1954. Автор проекта и предисловия, подготовка текста – Н. Громова. Подготовка текста, комментарий, именной указатель – Галина Мельник. М.: Редакция Елены Шубиной. 2015. С. 378. Далее: *М.-М. В.* Дневник (с указанием страниц).

3

М.-М. В. Дневник. 30 ноября 1949 г. С. 777.

4

Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. СПб. 1905. Гл. 33.

5

Бёкк Ричард (1837–1904) – канадский психолог. Считал настоящую человеческую форму сознания переходной к другой, высшей форме, которую он называл космическим сознанием и приближение к которой уже чувствовал, предвидя вместе с тем новую фазу в истории человечества. В.Г. Малахиева-Мирович была последовательницей его теории и не раз приводила в своих дневниках примеры “расширенного сознания”.

6

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 106-я тетрадь. 15–16 марта 1947 г.

7

“Жизнь и искусство” – ежедневная литературная, политическая и художественная газета, издававшаяся с 1894 по 1900 гг. в Киеве М.Е. Краинским и под его редакцией вместе с И.П. Мануковым.

8

Цит. по: *Piron G. Chestov. 2010. С. 427. Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 104, 1890-1896 (?), p. 1:715.*

9

М.-М. В. Дневник. 20 сентября 1931 г. С. 58.

10

Оказалось, что доктор Пётр Васильевич Петровский (1867–1920), врач-психиатр, был хорошо известен в кругу философов. Киевский друг Л.И. Шестова А.М. Лазарев в письме Г.Г. Шпету от 5 сентября 1917 г. пишет: “Говорил доктор Петровский – со слов Семёна Владимировича [Лурье], что скоро выйдет Ваш сборник”. См. в кн.: “Усердный толкователь шестовской беспочвенности”: Адольф Маркович Лазарев. Письма. Статьи о Льве Шестове / Сост., общ. ред., вступ. ст. В. Хазана. М.: Водолей, 2019. С. 363.

11

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Письмо В.Г. Малахиевой-Мирович Зинаиде Денисьевской. 11 февраля 1928 г.

12

Игнатов Илья Николаевич (1856–1921) – врач, литературный критик, публицист. Сведения о том, что он жил в этой семье, предоставлены Т.И. Балаховской.

13

ДМЦ. Архив В.Г.М.-М. 16-я тетрадь. 11 ноября 1934 г.

14

Кульженко Наталья Николаевна – “киевская красавица”, жена Василия Стефановича Кульженко (1865–1934), издателя, искусствоведа, полиграфиста. В квартире супругов Кульженко на ул. Прорезная, 4, бывал Н.А. Бердяев. Наталья Николаевна была действительным членом Политического Красного Креста – общественной организации помощи политзаключенным.

15

Минский Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855–1937) – поэт, критик.

16

Волинский Аким Львович (наст. фам. Флексер; 1861 или 1863–1926) – литературный критик и искусствовед, балетовед.

17

М.-М. В. Дневник. 29 октября 1935 г. С. 234.

18

М.-М. В. Дневник. 29 октября 1935 г. С. 235.

19

Романс П.И. Чайковского на слова Л.А. Мея “Отчего?”.

20

М.-М. В. Дневник. 31 марта 1946 г. С. 632-633.

21

М.-М. В. Дневник. 20 июля 1931 г. С. 50.

22

В 1896 г. офицер Блохин-младший, проиграв в карты крупную сумму денег, вынужден был продать свои земли курскому купцу Балаховскому. Эти земли были расположены между селами Чапли, Пены, Угоны, Эммануиловка, Алексеевка, Каменск. Одновременно Балаховский договорился с графиней Марией Клейнмихель об учреждении акционерного общества по переработке сахарной свеклы. Тогда же вместе с супругами Константином и Марией Клейнмихель Балаховский организовал товарищество Мариинского свеклосахарного и рафинадного заводов с ремонтной мастерской в селе Пены.

23

Где барышня, там и брат, где брат, там и барышня (*нем.*).

24

Они обручены (*нем.*).

25

М.-М. В. Дневник. 20 июля 1931 г. С. 50.

26

Полный текст писем приводится в соответствующей части книги.

27

Балаховский Дмитрий Григорьевич (1879-1952) – титулярный советник, инженер-технолог, промышленник. Брат С.Г. и Д.Г. Балаховских. Окончил Рижский политехнический институт. Эмигрировал во Францию. Автор изобретений в области автомобилестроения, в том числе запатентованного им особого карбюратора “Каталекс”, дающего значительную экономию и позволяющего применять тяжелые горючие материалы в быстроходных двигателях. Его машины на электрическом токе нашли применение во Франции. Создатель особых способов рафинирования нефти и один из пионеров науки петрохимии. Член Общества друзей русской книги в Париже.

28

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Письмо В.Г. Малахией-Мирович Зинаиде Денисьевской. 11 февраля 1928 г.

29

Работников Григорий Моисеевич (1860–1897) – журналист, литератор. Окончил 6 классов Третьей киевской гимназии; оставить гимназию пришлось по финансовым причинам. Учеба в университете была для него недоступна. Он посылал свои стихи Тургеневу; получил от того письмо, которое хранил всю жизнь. Писал для газет “Волянь”, “Труд”, “Приазовский край” и др. В “Жизни и искусстве” выходили его статьи о фабрично-заводском быте рабочих, а также об экономических и финансовых вопросах. Все эти сведения содержатся в некрологе Л.И. Шестова от 5 августа 1897 г. В архиве Шестова сохранились 5 писем Работникова, написанных в период с 20 июля 1895 по 24 ноября 1895 г. (Сообщено К. Ворожихиной.)

30

Рассказ В.Г. Малахией-Мирович “В мае” был напечатан без подписи в киевской газете “Жизнь и искусство” в трех номерах: 1895. 28 июля (№ 206), 29 июля (№ 207) и 2 августа (№ 211). Она далее называет эту газету журналом. *В. М-ва*. В мае. “Жизнь и искусство”. // 20 июля 1895. С. 2. Одно время был ошибочно приписан Л.И. Шестову.

31

Весь мир (*фр.*).

32

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2121. Ff. 161–184. (Vol. XI); Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. В 2 т. Париж, 1983. Далее: Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова (с указанием тома и страниц). Т. 1. С. 20–21.

33

М.-М. В. Дневник. 20 июля 1931 г. С. 50.

34

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т.1. С. 22–23.

35

Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Приложение. СПб. 1905.

36

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 98-я тетрадь. 13 мая 1949 г.

37

М.-М. В. Дневник. 20 июля 1931 г. С. 50.

38

Эвенсон Сарра Максимовна – редактор, близкая знакомая В.Г. М.-М. и Л.И. Шестова. Сотрудничала с газетами “Жизнь и искусство” и “Волянь”, была первой переводчицей Фейхтвангера и ряда других иностранных писателей нового времени на русский язык. Была убита немцами в Киеве в 1941 г. (выброшена из окна).

39

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2121. Ff. 161–184. (Vol. XI.)

40

Венгеров Семён Афанасьевич (1855–1920) – литературный критик, историк литературы, библиограф и редактор. Брат Зинаиды Венгеровой.

41

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 81-я тетрадь. 25 марта – 23 апреля 1945 г.

42

М.-М. В. Дневник. 2 сентября 1931 г. С. 32–33.

43

М.-М. В. Дневник. 21 июля 1937 г. С. 290–291.

44

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2121. Ff. 161–184. (Vol. XI.)

45

М.-М. В. Дневник. 9 ноября 1947 г. С. 651–652.

46

М.-М. В. Дневник. 1 сентября 1934 г. С. 158.

47

М.-М. В. Дневник. 1 сентября 1934 г. С. 158.

48

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 211/1, 1896. Fs. 62.

49

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 211/1, 1896. Fs. Ms. 66.

50

Piron G. Leon Chestov. Philosophe du deracinement. L'age d'homme. C. 431.

51

Статья “Георг Брандес о Гамлете” была опубликована 25 декабря 1895 г.

52

Северные цветы: Альманах книгоиздательства “Скорпион”. 1902. С. 127-128.

53

Шварцман Мария (Маня) Исааковна (1863-1948) – сестра Л.И. Шестова; была замужем за Владимиром Евсеевичем Мандельбергом,

врачом. Шварцман Александр Исаакович (1882–1970) – младший брат Л.И. Шестова, музыкант.

54

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 211/1, 1896. Fs. Ms. 66.

55

Имеется в виду В.Е. Мандельберг, муж сестры Л.И. Марии Исааковны Шварцман.

56

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 211/1, 1896.

57

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 211/1, 1896. Fs. Ms. 68.

58

Читатель. Журнальное обозрение // № 105. 16 апреля 1896. С. 1–2. (Сообщено К. Ворожихиной.)

59

И тут же про жизнь у Луначарских: “Мне 27 лет, ей – 24. Ницца. Сквозь зеленые шторы проник в спальную ослепительный луч южного утреннего солнца. За окном певучий голос торговли выкликает

названия рыб и долго тянет последнюю высокую ноту. В соседней комнате лежит муж Софьи Николаевны Платон Луначарский, психиатр. У него на голове огромный тюрбан – повязка после операции, сделанной Дуаеном. Нонс Дуаена вскрыл в его мозгу какой-то абсцесс и на несколько лет отсрочил конец. Но попутно срезалось что-то, обезглавливающее его истинную личность. Снизился уровень душевного развития, желания вкусы. В комнату мою вошла С.Н. – тогда Соня, с белокурой головкой, с нежными красками лица, с серебристым полудетским голоском. Правдивые, пытливые каштанового цвета милые глаза со следами слез смотрят с мрачной безнадежностью. Нежно целую ее голову, лицо. Она плачет и сквозь плач говорит: – Я не знаю, где теперь Платон. Я не узнаю его. И он меня как будто забыл. Расспрашивал сейчас, какой сегодня обед. Я сказала. А он рассердился: «Не умеешь повкусней рассказать». Разве это Платон? Никогда он не придавал значения еде, теперь только о ней и думает. Ни обо мне, ни о Татьяне (дочь грудного возраста) не задает даже вопросов. Ничто ему не интересно. И бывает циничен... Боже мой! Разве это Платон?" *М.-М. В.* Дневник. 9 марта 1933 г. С. 99.

60

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 6-я тетрадь. 31 августа 1932 г.

61

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 174-я тетрадь. 1 июля – 2 августа 1953 г.

62

М.-М. В. Дневник. 21 июля 1937. С. 291.

63

Софья Григорьевна Пети.

64

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2121. Ff. 161-184. (Vol. XI); Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 24-25.

65

Шингарёва Александра Ивановна – врач, микробиолог, работала на кафедре гигиены Первого медицинского института, во Всероссийском союзе городов (ВСГ) и в Главном по снабжению армии комитете Всероссийских земского и городского союзов (Земгоре).

66

Цитируется стихотворение А.К. Толстого “Алеша Попович” (1871).

67

М.-М. В. Дневник. 12 ноября 1933 г. С. 134-135.

68

Цит. по: *Соболев А.* Полицейское дело // ГАРФ. 124. Дела 1896 года. Оп. 5. Ед. хр. 21; <https://lucas-v-leyden.livejournal.com/276699.html>.

69

Принадлежат к делу (нем.).

70

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2121.

71

В 1889 г. было опубликовано второе классическое руководство Бергманна “Хирургическое лечение болезней головного мозга”, где были описаны этиопатогенез, диагностика и оперативное лечение всех известных в то время заболеваний головы. Год спустя эта книга была переведена на русский язык. В ней сообщается о 273 оперированных в клинике Бергманна больных.

72

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2120. Ff. 35–36. (Vol. X.)

73

М.-М. В. Дневник. 1 сентября 1934 г. С. 158.

74

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2113. Ff. 156. (Vol. III).

75

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2120. Ff. 35–36. (Vol. X.)

76

Некролог памяти Г.М. Работникова, написанный Н. Подрядинским, вышел 15 августа 1897 г. в газете “Жизнь и искусство”. (Сообщено К. Ворожихиной.)

77

Книга “Шекспир и его критик Брандес” вышла в Санкт-Петербурге в 1898 г. Тираж 1000 экз. На нее отозвались А.Г. Горнфельд, Ю.И. Айхенвальд и З. Венгерова.

78

Инж. Н. Березовский. – [Спб.]: 1902.

79

Неизвестно, о ком идет речь.

80

Семейный архив Шестовых-Балаховских.

81

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2113. Ff. 153–156. (Vol. III.)

82

Герцык Е. Лики и образы / Сост., предисл., коммент. Т.Н. Жуковской. М., 2007.

83

Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). СПб., 1900. Тираж 1000 экз. На книгу были отзывы Н.К. Михайловского, Андреевича (Е. Соловьева), П. Перцова и др.

84

З.А. Венгерову и С.Г. Балаховскую-Пети связывала более чем 30-летняя дружба, начавшаяся в Париже во время учебы в Сорбонне в 1892-1893 гг. См.: Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой Софье Григорьевне Балаховской-Пети.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1995_num_67_1_6255?Prescripts_Search_tabs1=standard&.

85

Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой Софье Григорьевне Балаховской-Пети.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1995_num_67_1_6255?Prescripts_Search_tabs1=standard&.

86

20 ноября 1896 г. Берлин. Л. Ш. – С.Г. Пети. Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2120. (Vol. X.)

87

Гайдебуров Павел Александрович (1841-1893) – редактор петербургского еженедельного журнала “Неделя”, органа либеральных народников. Его сын Гайдебуров Василий Павлович (псевд. Гарри; 1866 – после 1940?) – поэт, редактор, издатель “Недели” с 1894 по 1901 гг. Свои стихи В.Г. М.-М. публиковала в приложении “Книжки Недели”.

88

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 96-я тетрадь. 14 ноября 1947 г.

89

Полностью письма В.Г. М.-М. Л.Н. Тарасовой приводятся в соответствующей части книги.

90

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 96-я тетрадь. 14 ноября 1947 г.

91

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) – писатель и публицист, общественный деятель, один из идеологов русского национального движения. В 1892 г. Меньшиков вышел в отставку в чине штабс-капитана и посвятил себя литературному труду. Он устроился постоянным корреспондентом в газету “Неделя”, а позднее стал ее секретарем и ведущим публицистом.

92

Случевский Константин Константинович (1837–1904) – русский поэт, писатель, драматург, переводчик. Гофмейстер, тайный советник.

93

Котарбинский Вильгельм Александрович (1848–1921) – художник, яркий представитель стиля “модерн”, живописец исторического и фантастического жанров.

94

Слонимский Леонид-Людвиг Зиновьевич (1850–1918) – российский публицист, отец будущего писателя М.Л. Слонимского.

95

“ Мишэ” – очевидно, Михаил Слонимский. Других братьев звали Николай и Александр. Имя “Вовэ”, видимо, названо В.Г. ошибочно.

96

Кистяковская Мария (Мума) Вильямовна (урожд. Беренштам; псевд. М.В. Верен; 1869–1943) – литератор, внучка православного философа О.М. Новицкого.

97

Несколько драм, написанных С.Г. Балаховской, шли на сценах русских театров. Наиболее известная “Призраки жизни, или Мирра”. Рукопись хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом).

98

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 96-я тетрадь. 14 ноября 1947 г.

99

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 5.

100

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 6.

101

Ловцкий Герман Леопольдович (1871-1957) – композитор, музыковед, литературный и художественный критик. С 1898 г. был женат на сестре Л.И. Шестова Фане Исааковне Шварцман, ставшей впоследствии психоаналитиком. Автор воспоминаний о философе.

102

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2113.

103

Венгерова Изабелла Афанасьевна (1877-1956) – пианистка, музыкальный педагог. Дочь писательницы Паулины Юлиевны Венгеровой, сестра Зинаиды и Семёна Венгеровых.

104

М.-М. В. Дневник. 10 ноября. 1937 г. С. 317.

105

В 1899 г. в России была страшная засуха, которая уничтожила урожай в Самарской, Уфимской, Оренбургской и Саратовской губерниях. Ее следствием стал голод.

106

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2113.

107

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2113.

108

В начале 1899 г. Андрей Иванович Шингарёв был назначен межуездным земским врачом Гнездиловского участка Воронежского губернского земства (в сферу его ответственности попадало три уезда). А в 1903 г. он стал заведующим Санитарным бюро Воронежского губернского земства.

109

М.-М. В. Дневник. 12 ноября 1933 г. С.134-135.

110

Жена – Ефросинья Максимовна Шингарёва (урожд. Кулажко), учительница. На то время у Шингарёвых было два сына – Владимир и Георгий. Позже родились еще четыре дочери.

111

М.-М. В. Дневник. 12 ноября 1933 г. С. 136.

112

А.И. Шингарёв был арестован большевиками 28 ноября (11 декабря) 1917 г. как один из лидеров “партии врагов народа” и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В ночь на 7 января в Мариинской больнице, куда он был переведен по состоянию здоровья вместе с Ф.Ф. Кокошкиным, убит матросами-анархистами тремя выстрелами в лицо, грудь и живот.

113

М.-М. В. Дневник. 12 ноября 1933 г. С. 136.

114

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2113.

115

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. MS 2120. (Vol. X.)

116

Имеется в виду С.А. Венгеров.

117

Юлий Осипович Грюнберг – издатель Чехова. Внезапно скончался в ноябре 1900 г. Письмо датируется по дате его смерти.

118

Переписка Зинаиды Венгеровой и Софьи Балаховской-Пети.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_00802557_1995_num_67_1_6255?Prescripts_Search_tabs1=standard&.

119

Работа “Достоевский и Ницше” была начата в феврале 1900 г. в Нерви и закончена весной 1901-го в Швейцарии, откуда Л. Ш. выслал ее С.П. Дягилеву в “Мир искусства”, где она и была напечатана в 1902 г. № 2-9/10. Отд. изд. СПб. 1903.

120

Дом сестер Гнесиных в деревянном домике в Гагаринском пер. на углу Староконюшенного. Тогда школа располагала только одним роялем (на приобретение второго у сестер не было средств). Дом этот принадлежал члену Сената Владимиру Карловичу фон Шлиппе, родственнику Н.Н. Гончаровой (жены Пушкина). Это первое здание, которое получила Гнесинская школа, было предоставлено им безвозмездно.

121

Сюжет полностью: *Александр Соболев* <https://lucas-v-leyden.livejournal.com/276370.html>.

122

Брюсов В. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М., 2002. С. 119.

123

Настоящая фамилия И.И. Коневского, утонувшего 8 июля 1901 г.

124

Драма неизвестна.

125

Окончание текста Александра Соболева: <https://lucas-v-leyden.livejournal.com/276370.html>.

126

Село Сенькино Тульской губернии Каширского уезда (до 1917 г.).

127

М.-М. В. Дневник. 16 июля 1943 г. С. 523.

128

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 67-я тетрадь. 24 сентября 1943 г.

129

Все течет (*гр.*).

130

М.-М. В. Дневник. 3 января 1941. С. 429.

131

См.: письма А.М. Ремизова П.Е. Щёголеву. Часть I. Вологда (1902–1903). Вступ. ст., под. текстов и комм. А.М. Грачевой. С. 151, а также комментарий к публикации: Мирович Анастасия Григорьевна – писательница. В альманахе “Северные цветы на 1901 год” (М., 1901) были помещены два ее стихотворения (с. 102–103), в “Северных цветах на 1902 год” (М., 1902) – рассказы “Ящерица”, “Эльза” (с. 80–83). См. письмо С.М. Соловьева А.А. Блоку от 23–24 ноября 1903 г.: “Я узнал, что одна из наиболее талантливых сотрудниц «Северных цветов» Анастасия Мирович находится «в доме сумасшедших»” (Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. С. 350 (Литературное наследство; Т. 92, кн. 1)).
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/ROPD/EROPD_1995/05_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_121.pdf.

132

М.-М. В. Дневник. 6 января 1941 г. С. 429.

133

<https://lucas-v-leyden.livejournal.com/276370.html>.

134

М.-М. В. Дневник. 27 июля 1930 г. С. 25.

135

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 55-я тетрадь. 21 июня 1942 г.

136

Гершензон М. Литературное обозрение. [О книге Л. Шестова “Достоевский и Ницше”] // Л.И. Шестов. *Pro et contra*. СПб., 2016. С.63.

137

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Пер. Ю. Антоновского.

138

Левин Давид Абрамович (1863–1930) – журналист и издатель. Напечатал книгу Л.И. Шестова о Шекспире и Брандесе (1898) на деньги С.Г. Балаховской-Пети. Публиковал статьи преимущественно в юридических изданиях (“Юридическая газета”, “Право”). Наибольшее участие принял в газете “Наша жизнь” (выходила с 1904 г. в период освободительного движения), где поместил ряд передовых статей на злободневные политические темы; Левин состоял членом редакционного комитета и одно время заведовал редакцией “Нашей жизни”. В 1906 г. работал в газете “Речь”.

139

Имеется в виду статья Л.И. Шестова об А.П. Чехове “Творчество из ничего”.

140

Письмо Л.И. Шестова сестре Фане. Киев, 14.04.1905. Цит по: Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова, Т. 1. С. 37.

141

Там же. С. 33.

142

Ремизов А. Париж. “Последние Новости”. 24.11.1938. Цит. по *Б.-Ш. Н.* Жизнь Льва Шестова. Т. 2.

143

Герцык Е. Лики и образы. С. 137.

144

Герцык Е. Лики и образы. С. 144.

145

Лундберг Евгений Германович (1883–1965) – писатель. В юные годы последователь философии Л.И. Шестова. Близкий друг В.Г. М.-М. с юности, их отношения с некоторыми перерывами длились всю жизнь. Сохранились письма Е.Г. Лундберга к В.Г.

146

Сёстры Герцык. Письма. Сост. и комм. Т.Н. Жуковской. СПб. 2002. С. 91.

147

Там же.

148

См. подробнее о ней воспоминания В.Г. Малахиевой-Мирович в соответствующей части книги.

149

Герцык Е. Лики и образы. С. 141–142.

150

Сёстры Герцык. Письма. С. 189–190.

151

Герцык Е. Лики и образы. С. 103.

152

Мать М.В. Шика.

153

Семейный архив Шаховских-Шик.

154

Дочь князя Дмитрия Ивановича Шаховского, создателя кадетской партии. В 1907 г. поступила на Высшие женские курсы в Москве. В 1913-м заболела туберкулезом легких. Лечилась в Крыму.

155

Имеется в виду Мария Болконская, героиня романа Л.Н. Толстого “Война и мир”.

156

О Лаврове почти ничего не удалось установить. Справочник “Вся Москва за 1917 год” упоминает М.И. Лаврова, врача, живущего в Мамонтовском переулке, 5.

157

Семейный архив Шаховских-Шик.

158

Там же.

159

Сёстры Герцык. Письма. С. 35.

160

Шестов Л. Разрушающий и созидаящий миры. (По поводу 80-летнего юбилея Толстого). // Русская мысль. М., 1909. Год тридцатый, кн. I. С. 25–60.

161

Подробнее о встрече В.Г. М.-М. с Л.Н. Толстым см. соответствующую часть книги.

162

А.С. Пушкин. “Воспоминание” (1828).

163

М.-М. В. Дневник. 10 сентября 1953 г. С. 863.

164

<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/dnevniki/1909/dnevnik-1909.htm>.

165

РГАЛИ. Ф. 343. оп. 4. е. х. 745.

166

Ловцкий Г. Лев Шестов по моим воспоминаниям.
<https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lovckij-german-leopoljdovich/lev-shestov-po-moim-vozpominaniyam>.

167

Булгаков В. Дневник секретаря Льва Толстого.
<https://www.litmir.me/br/?b=649805&p=18>.

168

Толстой Л. ПСС. Т. 58. Дневники и Записные книжки. 1910. М.-Л. 1934. С. 21.

169

Имение Ольги Алексеевны Челищевой (урожд. Хомяковой) – сельцо Федешево Каширского уезда Тульской губернии.

170

М.-М. В. Дневник. 7 февраля 1946 г. С. 626.

171

Л.Н. Толстой покинул свой дом 9 ноября 1910 г. (по новому стилю).

172

Лундберг Е. Записки писателя (в двух томах) Т. 1. Берлин. 1922. С. 76.

173

Шестов Л. Великие Кануны // Шиповник. Март. 1911.

174

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 53.

175

“ В могиле темной и тесной // Я обрел свой покой; // Мертвым тебе я стал дорог, // В гробу любим тобой” (пер. А. Глобы). Слова Дж. Карпани, музыка Л. ван Бетховена.

176

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 130-я тетрадь. 30 ноября 1949 г.

177

Меблированные комнаты (*фр.*).

178

Город в Швейцарии на берегу озера Леман, древняя римская колония.

179

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 130-я тетрадь. 30 ноября 1949 г.

180

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 130-я тетрадь. 30 ноября 1949 г.

181

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Письма Ольге Бессарабовой.

182

Герцык Е. Лики и образы. С. 147.

183

“ Жизнь и творчество Генриха Ибсена” в “Русской Мысли” (апрель и май 1910 г.). Их этих статей Л.И. Шестов составил книгу “Великие кануны”. Он также включил в нее работу о Уильяме Джеймсе “Логика религиозного творчества”, написанную в Коппе после смерти Джеймса (26.08.1910). Этой книгой заканчивается первый период творчества Шестова, когда его интересовали вопросы скорее литературного, чем чисто философского характера.

184

Ибсен Г. Когда мы, мертвые пробуждаемся. Пер. А. и П. Ганзен.

185

Герцык Е. Лики и образы. С. 148.

186

М.-М. В. Дневник. 14 октября 1934 г. С. 171.

187

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Дневник. 146-я тетрадь. 19 июля 1951 г.

188

189

В большинстве писем Шестова, написанных в России, фигурируют две даты: первая по старому стилю, вторая – по новому. Когда в письме указана лишь одна дата, то она, по всей вероятности, дана по старому стилю.

190

Подробнее о Н.С. Бутовой см. соответствующую часть книги.

191

О своей встрече во время отпуска, полученного Сергеем Листопадковым после ранения, вспоминал Борис Пастернак в “Охранной грамоте”: “Меня заклил отказаться от этой мысли (пойти на войну. – Н. Г.) сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре затем он погиб в первом из боев по возвращении на позиции из этого отпуска”.

192

В.Г. не точна. Сергей Листопадов воспитывался и жил в доме московского журналиста И. Игнатова.

193

М.-М. В. Дневник. 29 октября 1948 г. С. 756-758.

194

Базовая начальная школа в традиционной еврейской ашкеназской системе образования.

195

Герцык Е. Лики и образы. С. 149–150.

196

Герцык Е. Лики и образы. С.150–151.

197

Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Дневники Ольги Бессарабовой (1915–1925) // Вступ. ст., сост. и комм. Н. Громова, комм. Г. Мельник, В. Холкин. М., 2010. С. 154–155.

198

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Т. 1. С. 69–70.

199

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Переписка.

200

Там же.

201

При крещении М.В. Шик избрал своим небесным покровителем святого мученика князя Михаила Черниговского. Позднее В.Г. М.-М. вспоминала: “Однажды в день Ангела отца Михаила я спросила Наташу (его жену), почему он не избрал себе покровителем Архистратига Сил Небесных. Наташа ответила, что ему, по его словам, «как-то по особенному был близок образ князя Михаила Черниговского, замученного в Орде». И тогда я подумала, что в нем бессознательно, а может быть, и сознательно, говорила надежда закончить свой путь на этом свете венцом мученика”. (*Шик Е.* Воспоминания об отце. Альфа и Омега. № 1 (12/97).)

202

Отдельно стоящая гора высотой 588 метров в Нижней Галилее в 9 километрах к юго-востоку от Назарета, Израиль. В христианстве – место Преображения Господня.

203

М.-М. В. Дневник. С. 643.

204

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Переписка.

205

Фуллье Альфред Жюль Эмиль (1838–1912) – французский философ.

206

Имеется в виду Сергиев Посад.

207

Верно: Прокофьевич.

208

Имеются в виду части “качаловской группы”, которая приехала в Киев, а затем оказалась отрезана от России и гастролировала с 1919 по 1922 гг. по югу страны и после – за границей. Одно время в эту группу входила А.К. Тарасова.

209

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Переписка.

210

Слонимский Николай Леонидович (1994–1995) – музыкант, племянник З.А. Венгеровой. Близкий друг семьи Шестовых.

211

Так мемуарист назвал красноармейцев.

212

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т.1. С. 73–74.

213

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Переписка.

214

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т.1. С. 74.

215

М.-М. В. Дневник. С. 294.

216

Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 77.

217

М.-М. В. Дневник. 23-25 июля 1937 г. С. 295.

218

Потерянные люди (*итал.*).

219

М.-М. В. Дневник. 23-25 июля 1937 г. С. 295-296.

220

Семья академика-химика Алексея Николаевича Баха (1857–1946) была родственной Шестову; его дочь Ирина Алексеевна была замужем за Сергеем Даниловичем Балаховским (1896–1960), младшим сыном сестры Шестова. В декабре 1925 г. Сергей и Ирина Балаховские вернулись из Парижа в Москву.

221

Письма М. Гершензона Льву Шестову. 1920–1925 / Публ. А. д'Амелиа и В. Аллоя // Минувшее. Т. 6. Париж. 1988. С. 245.

222

Зайцев Б. Надежда Бутова. // Собр. соч. в 11 т. Т. 6 (доп.) М., 1999. С. 83–88.

223

Герцык Е. Воспоминания. М. 1996. С. 107.

224

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Переписка.

225

Елизавета Михайловна Доброва (Вилигорская) и ее муж доктор Филипп Александрович Добров – близкие друзья В.Г. Она подолгу жила в их доме в Малом Левшинском пер., 5. Добровы были приемными родителями поэта и философа Даниила Леонидовича Андреева, который вырос в этом доме.

226

Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov.

227

“ К нашей сестре смерти” (итал.). Цикл стихов из книги “*Ad Suor nostra Morte*”. – см.: Малахиева-Мирович В. Хризалида. / М., 2013. С. 317–320.

228

Речь идет о работе Л.И. Шестова “Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)”.

229

К твоему суду взываю, Господи! (лат.)

230

М.О. Гершензон умер 19 февраля 1925 г.

231

Мария Борисовна – жена М.О. Гершензона.

232

М.-М. В. Дневник. 20 ноября 1933 г. С. 137.

233

Шестов Л. Киркегард – религиозный философ. Русские записки. Т. 3. 1938. <http://www.odinblago.ru/kirkegard>.

234

М.-М. В. Дневник. 17 июня 1939 г. С. 378.

235

М.-М. В. Дневник. 3 ноября 1938 г. С. 359.

236

Цитата из стихотворения А.С. Пушкина “Под небом голубым страны своей родной...” (1825).

237

М.-М. В. Дневник. 15 июня 1939 г. С. 377.

238

М.-М. В. Дневник. 17 июня 1939 г. С. 377. Часть цитаты из работы Л.И. Шестова “Предпоследние слова”. Полный текст цитаты: “Может быть, вещие птицы Аполлона тоскуют неземной тоской по иному бытию, может, их страх относится не к смерти, а к жизни, может быть, и в стихотворениях Тургенева, и в последней драме Ибсена уже слышны, если не последние, то, по крайней мере, предпоследние человеческие слова”. http://www.odinblago.ru/shestov_nachala_i_konci/4.

239

М.-М. В. Дневник. 28 июня 1939 г. С. 378.

240

М.-М. В. Дневник. 13 июня 1947 г. С. 683.

241

Ленау (лит. имя Николауса Нимбша фон Штреленау; 1802-1850) – поэт “мировой скорби” (стихотворение “Грустный монах”) “16 марта. Кировская. 7-ой час вечера. Нужно ли рыться в старых письмах, стихах, дневниках? Ленау отвечает: «Не подымай руки на тот святой приют, где сердца прах лежит». Но «сердца прах» – только фигуральное выражение. Что бы с ним ни было, оно живет. И для того, чтобы выпрямить его жизнь, и надо иногда воссоединить его с прошлым, заставить по-иному пережить то, что его «разбило», воочию убедить его, что оно цело”. *М.-М. В. Дневник. 16 марта 1937 г. С. 276.*

242

“ Прекрасная колдунья... любишь ли ты проклятых? – Знаешь ли ты непоправимое?” (пер. Б. Белкина) – цитата из стихотворения Ш. Бодлера “Непоправимое”. Этот же фрагмент Л.И. Шестов использует в качестве эпиграфа к своей работе “Достоевский и Ницше”.

243

М.Ю. Лермонтов. “Пророк” (1841).

244

М.-М. В. Дневник. 17 ноября 1947 г. С. 710-712.

245

Неточная цитата из статьи Л.И. Шестова “Философия и теория познания” (гл.: “Пределы действительности”) (*Шестов Л. Великие кануны* // Шиповник. 1910). “В нашем случае то же: нужно признать, что мы одновременно и бодрствуем, и видим сны, нужно даже бывает иногда признать, что хотя мы живем, но уже давно умерли”.

246

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 130-я тетрадь. 6 января 1950 г.

247

М.-М. В. Дневник. 14 июля 1931 г. С. 49.

248

Там же. 28 июня 1939. С. 378.

249

М.-М. В. Дневник. 29 мая 1948 г. С. 738.

250

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 157-я тетрадь. 18 июня 1952 г.

251

Письма Л.И. Шестова (за исключением единственного из Карлсбада) – из семейного архива Шаховских-Шик. Письма В.Г. Малахиевой-Мирович – из архива Льва Шестова при библиотеке Сорбонны (Париж).

252

Подробнее о Дм. Г. Балаховском см. с. 29.

253

Вероятно, Л.И. Шестов имеет в виду сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина “Коняга” (1855).

254

С.И. Балаховская. Подробнее о ней см. с. 23.

255

Веселье всегда слишком коротко, прощания всегда слишком долгие (*фр.*).

256

Подробнее об этом см. с. 35.

257

Скорее всего, речь идет о М.С. Эвенсоне – сотруднике газеты “Жизнь и искусство”.

258

Дочери и сын Григория (Герца) Балаховского – крупного сахарозаводчика (ум. в 1917 г.).

259

Имеется в виду прозаик А.И. Куприн.

260

Бумаги (*англ.*).

261

Жорж и Женя – дети Д.Г. и С.И. Балаховских, у которых В.Г. была гувернанткой.

262

С.Г. Балаховская-Пети.

263

По всей видимости, существовало еще одно Шестовское “резкое” письмо, на которое В.Г. ответила ласково, после чего все мгновенно изменилось, и он страстно желал встречи с ней.

264

М.С. Эвенсон.

265

Письмо Л.И. Шестова, о котором упоминает В.Г. М.-М., не обнаружено.

266

Неясно, о какой картине идет речь.

267

До востребования (*англ.*).

268

Рассказ В.Г. Малахиевой-Мирович.

269

А. М. (Анастасия Мирович). Лукулл и раб // "Жизнь и искусство". 1895. № 2823. 20 ноября. С. 2.

270

"Космополис" (1892) – роман П. Бурже.

271

Все идет так, как должно идти (*фр.*).

272

Неясно, о каком событии идет речь.

273

“Северные цветы”.

274

Под псевдонимом “Владимир Каренин” публиковала свои произведения Варвара Дмитриевна Комарова (урожд. Стасова; 1862–1943), музыковед, литературовед, писательница. Дочь юриста Д.В. Стасова, сестра революционерки Е.Д. Стасовой, племянница критика В.В. Стасова. Автор многотомной биографии Жорж Санд.

275

Мюссе Альфред де (1810–1857) – французский поэт, писатель, драматург. Одно время возлюбленный писательницы Жорж Санд. Речь в письме идет о поэтическом цикле Мюссе “Ночи” (1836).

276

“ Киевское слово” – ежедневная газета, выходившая в Киеве на русском языке с 1886 по 1905 гг. С 1893 г. редактором был В.М. Богданов.

277

Сотрудник газеты "Жизнь и искусство".

278

Сотрудник газеты "Жизнь и искусство".

279

Цит. по: *Б.-Ш. Н.* Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Т. 1. С. 10.

280

" Любите же меня, любите, какие бы заботы // Не избороздили морщинами мое чело и не исказили мою улыбку. // Моя высокая бедность дороже царств" (пер. Б. Белкина) – цитата из стихотворения П. Верлена "Морису дю Плесси".

281

С.Г. Балаховская-Пети.

282

Подробнее о газете "Жизнь и искусство" см. с. 19.

283

Конец века (*фр.*).

284

Относится к делу (*нем.*).

285

Михайловский Н. Еще о Ф. Ницше // Русское богатство. 1894. № 12. Отд. 2. С. 84-110.

286

“ Вещь в себе” (*нем.*) – философский термин, обозначающий бытие вещей самих по себе безотносительно их познания. Центральное понятие философии И. Канта.

287

Сверхчеловек (*нем.*) – образ, введенный философом Ф. Ницше в произведении “Так говорил Заратустра”.

288

Скорее всего, речь идет о литературном обозрении в “Жизни и искусстве” от 10 октября 1896 г., перед этой публикацией был большой перерыв (последнее – 26 июля 1896 г.).

289

Рассказ был напечатан только через год. *В. М-ва.* Люди, которым нечего терять // 1897. № 3486, 3487. 24, 25 сентября.

290

Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад, песня 3. “Я увожу к отверженным селеньям, // Я увожу сквозь вековечный стон, // Я увожу к погибшим поколеньям. // Был правдою мой зодчий вдохновен: // Я высшей силой, полнотой всезнанья // И первую любовью сотворен. // Древней меня лишь вечные созданья, // И с вечностью пребуду наравне. // Входящие, оставьте упования”. Пер. М. Лозинского.

291

Первая любовь (*ит.*).

292

Согласно биографии Н.Л. Барановой-Шестовой, Л.И. Шестов начал работу над книгой о Шекспире ночью 10 сентября 1896 г. Письма датируются по смыслу. Соответственно, этот фрагмент письма мог быть написан в октябре – ноябре 1896 г., когда Л. Ш. покинул Мюнхен.

293

Потаенная слеза (*ит.*). Романс Неморино – ария из оперы Доницетти “Любовный напиток” (1832).

294

Фишер Куно (1824-1907) – немецкий историк философии и философ-гегельянец.

295

Скорее всего, речь идет о Василии Васильевиче Водовозове (1864–1933) – публицисте, юристе, экономисте, авторе статей по социально-экономической и политической истории. С 1896 г. жил в Киеве, работал в киевских газетах. В 1900 г. был арестован по так называемому делу ибсенистов (делу о реферате А.В. Луначарского об Ибсене), просидел в киевской тюрьме 6 недель, был под следствием 2 года и освобожден за отсутствием улик. С 1904 г. жил в Санкт-Петербурге.

296

Ср. в работе Л.И. Шестова “Шекспир и его критик Брандес”: “Кирпич сорвался с домового карниза, падает на землю – и уродует человека. Что может быть с научной точки зрения закономернее падения кирпича? ...погиб человек – это сущность, это главное, это требует объяснения, а то, что камень упал – есть добавочное обстоятельство. По объяснению же науки, все, что произошло с человеком – есть лишь прибавка к внешнему явлению, нечто случайное, необъяснимое, *не нуждающееся* в объяснении. Человек живет или не живет, радуется или страдает, падает или возвышается – все это лишь поверхность, видимость явлений: сущность же их – падение камня. Отсюда общий вывод: жизнь, внутренняя жизнь человека есть, по существу своему, нечто совершенно случайное. И это тем прочнее устанавливается, чем большие завоевания делает наука”.

297

Гервинус Георг Готфрид (1805–1871) – немецкий историк, литературовед, либеральный политик. Известен своими трудами по истории немецкой поэзии и исследованиями творчества Шекспира.

298

Редактор газеты “Жизнь и искусство”.

299

“Русская мысль”.

300

Как таковой (*нем.*).

301

Смысл (*фр.*).

302

Г.М. Работников умер в Риме 1 августа; 5 августа 1897 г. вышел некролог в газете “Жизнь и искусство”.

303

Датируется по публикации в газете “Жизнь и Искусство”.

304

“ Новое слово” – ежемесячный научно-литературный и политический журнал, который с 1897 г. возглавляли марксисты.

305

“ Жизнь и искусство” // “Вопросы совести” № 336. 1895. (Опубликована под псевдонимом “Черный”.)

306

Датируется по смыслу.

307

Скорее всего, речь идет о родах. В это время у Тарасовых родится Алла, будущая актриса.

308

Как говорил Заратустра (*нем.*).

309

На печатание книги потребовалось 350 рублей. Их Шестову одолжила Софья Григорьевна в октябре 1897 г. Книга была напечатана в Петербурге в типографии Менделевича и вышла в 1898 г. *Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Т. 1. С.11.*

310

Иогансон Фёдор (Франц) Александрович (1851-1908) – российский и украинский книгопродавец, издатель. В 1870 г. приехал из Петербурга в Киев, где в 1874-м открыл книжную лавку. В последующие годы основал еще ряд магазинов в Киеве, Харькове, Петербурге, филиал в Москве. С конца 1870-х гг. наряду с книготорговой вел издательскую деятельность, вначале выпуская художественную литературу, календари, учебные пособия, затем стал выпускать и научную литературу. В Киеве с 1895 г. его издательство первоначально называлось “Книгоиздательская фирма”, а с 1896 г. – “Южнорусское книгоиздательство Ф.А. Иогансона”.

311

Из письма отцу: “Если бы не учебный сбор, я бы нарочно приехал в Киев, несмотря на свою болезнь, чтобы это устроить. Но теперь, конечно, о приезде и думать нечего – и остается только одно средство: писать. Я бы и писал в каждом письме об этом, если бы надеялся, что это поможет (б/д.; вероятно, Рим, март 1898)”. *Б.-Ш. Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Т. 1. С. 17.*

312

Сев Леопольд Александрович (1867–1921) – российский и французский журналист, публицист, редактор и общественный деятель; друг В.С. Соловьева. Перевел несколько философских трудов с немецкого на русский и был редактором нескольких еврейских журналов.

313

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – русский ученый, историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный деятель. В это время издавал свою книгу у Солдатёнова. *Ковалевский М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. Т. 2. М., Изд-во “К.Т. Солдатёнов”, 1900.*

314

Солдатёнов Козьма Терентьевич (1818–1901) – предприниматель, известный русский издатель, по всей видимости, Л.И. Шестов хотел издать у него свою работу, так как книга Брандеса о Шекспире вышла в русском переводе в изд-ве “К.Т. Солдатёнов”, 1899.

315

Неясно, о каком рассказе идет речь.

316

Подробнее о нем см с. 103.

317

Грец Генрих (1817-1891) – немецкий историк. Главным трудом Греча является широко задуманная “История евреев с древних веков до настоящего времени”, которая вышла в одиннадцати, впоследствии двенадцати томах (1853-1875 гг.).

318

Прозвище М.С. Эвенсона.

319

Язык тела (*лат.*).

320

Книга была напечатана в Петербурге в типографии Менделевича и вышла в 1898 г. (вероятно, в декабре). *Б.-Ш. Н.* Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Т. 1. С. 11

321

Сестра Л.И. Шестова Фаня вышла замуж за Г.Л. Ловцкого 31 декабря 1898 г. Они поселились в Петербурге.

322

Датируется по содержанию.

323

Любите ли вы проклятых? (*фр.*). Подробнее об этом см. с. 214.

324

Тоска по родине (*лат.*).

325

Н.Н. Кульженко. Подробнее о ней см. с. 22.

326

В 1906 г. в Киеве выходила ежедневная религиозно-общественная газета “Народ” Сергея Булгакова. Вышло семь номеров. В Приложении к первому пасхальному номеру за 2 апреля, редактором которого была Н.Н. Кульженко, напечатана ее статья “М.А. Врубель” с иллюстрациями самого художника, а также стихотворения В. Мирович “Кровавой зарею Голгофы...” и “На Голгофу возведенный”.

327

С.В. Лурье.

328

В этот период В.Г. М.-М. публиковалась в детских и взрослых журналах (несколько стихотворений в “Русской мысли” и театральные рецензии в “Мире искусства”). В 1904 г. были изданы переведенная ею

“Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим” и книга детских стихов и рассказов “Снежинки” (СПб.). В 1907 г. опубликованы некоторые из “Летних сказочек не для детей” (РМ. 1907. № 5. С. 62–73.). Также выходит множество ее театральных рецензий, в т. ч.: “Горе от ума” на сцене московского Художественного театра // Речь. 30 сентября (13 октября), в 1916 г. – рецензирует премьеру в Художественном театре пьесы Д.С. Мережковского “Будет радость” (РМ. № 3. С. 24).

329

Древнеримский город, уничтоженный в 79 г. извержением Везувия.

330

Н.С. Бутова. Подробнее о ней см. с. 196–200.

331

Елагина (Шик) (1895–1931) Елена Владимировна – актриса Вахтанговского театра, в детском возрасте была ученицей В.Г. Малахиевой-Мирович.

332

Малафеев Николай Григорьевич – младший брат В.Г. Родился в Киеве в 1880 г. Окончил Московский университет, знал несколько языков; 1 февраля 1917 г. окончил Александровское военное училище в Москве, произведен в офицерское звание. Погиб в Воронеже в конце 1919 г. во время мамонтовского набега при невыясненных обстоятельствах (вышел из дома и не вернулся). Надежда на его местонахождение за границей не нашла подтверждения.

333

Лундберг.

334

В дневниках В.Г. везде указывает, что Михаил Григорьевич Малафеев был младше ее на два или три года. Возможно, это ошибка памяти автора письма.

335

Тарасевич Лев Александрович – советский микробиолог и патолог, академик АН УССР (1926). В доме Тарасевича часто собиралась московская интеллигенция (А. Белый, братья Н.К. и Э.К. Метнеры, Ф.А. Степун и др.). Анна Васильевна, жена Тарасевича (урожд. графиня Стенбок-Фермор), родная сестра Екатерины Васильевны Кудашевой, профессиональная певица, вместе с М.А. Олениной-д’Альгейм основала в Москве “Дом песни”.

336

Актер, исполняющий роль первого любовника (*фр.*).

337

Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы... (*церк. – слав.*)

338

М.В. Шик. Подробнее о нем см. с. 148-154.

339

Имеется в виду сын композитора Скрябина Юлиан. Подробнее о его гибели см. с. 190–191.

340

Т.Ф. Шлёцер-Скрябина умерла в Москве в апреле 1922 г.

341

Кульженко.

342

Новиков Иван Алексеевич (1877–1959) – поэт, прозаик, драматург, литературовед, автор книги об А.С. Пушкине.

343

О.А. Бессарабова (Веселовская).

344

Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940) – публицист, театральный критик. Приятельница В.Г. Мирovich по Петербургу, в РГАЛИ сохранились ее письма Л. Гуревич.

345

Об этом см.: “Здесь не так давно была у нас Варв<ара> Григ<орьевна>. Ты верно знаешь, что [Педагогический] институт, где

она преподавала, закрылся; она ищет перевода – а теперь еще заболела ее мать, так что она не может наезжать сюда искать... Если хочешь сделать доброе дело, пришли Варв<аре> Гри<горьев>не пару новых, только что вышедших франц. романов, особенно с социальной подкладкой. Главное для получения перевода – самому предложить подходящую книгу. Посоветуйся с Шлёцером или с кем из французов. Имей она такую книгу, заказ обеспечен. Слабые ее стихи, Монастырское”. Из письма М.О. Гершензона Л.И. Шестову. Москва, 6 ноября 1923 г. Минувшее. С. 291–292.

346

“Лето” – вторая часть книги Р. Роллана “Очарованная душа”.

347

Амп Пьер (наст. фам. Бурильон; 1876–1962) – французский писатель. Основным произведением Ампа считается монументальный цикл романов, посвященных труду и производству “*La Peine des Hommes*” (“Страда человеческая”).

348

Стихотворение В.Г. “Старость”, написанное в Киеве в 1918 г.

349

С избранными и проклятыми (*фр.*).

350

Бродский Макс Соломонович – киевский промышленник, купец первой гильдии. О предложении Бродского заняться издательским бизнесом В.Г. вспоминает в дневниках: “Не менее испугало в Киеве

предложение Макса Бродского стать во главе детского журнала. Этот предлагал вдобавок какие-то тысячи. Помню, с какой поспешностью собралась я тогда в Воронеж (к матери), чтобы прекратить все разговоры по этому поводу (может быть в нищете своей испугалась и соблазна тысяч)". *М.-М. В. Дневник. С. 273.*

351

В газете "Неделя" П.А. Гайдебурова вышли стихи В.Г. в 1898 г. (номера за май, июнь), в 1899 г. (за январь).

352

Цитата из стихотворения А.С. Пушкина "Под небом голубым страны своей родной...".

353

Домашнее прозвище А.К. Тарасовой.

354

Речь идет о жене Д.С. Мережковского Зинаиде Николаевне Гиппиус (1869-1945).

355

Вейнберг Пётр Исаевич (1831-1908) – поэт, переводчик, председатель Литературного фонда помощи писателям.

356

Н.Н. Кульженко.

357

Книга “Собор Св. Равноапостольного Князя Владимира в Киеве” была изд. В. Кульженко в 1898 г. Авторами текстов были названы А.Д. Эртель (“История постройки Собора и Архитектура”) и В.Г. М. (статьи о живописи). Теперь, на основании писем к Л.Н. Тарасовой стало ясно, что авторство книги принадлежит В.Г. Малахией-Мирович. 2-е изд. книги вышло в 1905 г. (Сообщено Г.П. Мельник.)

358

Лазурский Александр Фёдорович (1874–1917) – психолог, доктор медицины. Работал при клинике душевных и нервных болезней проф. В.М. Бехтерева. В 1899 г. был избран действительным членом Петербургского общества психиатров. Корень многих психических заболеваний Лазурский видел в конфликте личности с социальной средой.

359

С.М. Эвенсон.

360

М.С. Эвенсон.

361

Ланге Василий (Вильгельм) – врач, знакомый В.Г. Малахией-Мирович.

362

Одетый с иголки (фр.).

363

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919) – российский и украинский экономист, социолог, историк, представитель “легального марксизма”; после 1917 г. – министр финансов Украинской народной республики.

364

С.Г. и Е.Ю. Пети. Подробнее о них см. с. 63.

365

Лесевич Владимир Викторович (1837-1905) – философ.

366

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863-1919) – историк, один из основоположников методологии исторической науки в России.

367

“Киевское слово”.

368

М.В. Кистяковская. Подробнее о ней см. с. 99.

369

Родственницы Л.Н. Тарасовой по матери.

370

Перевод В.Г. Жанны Аскуэ вышел в гайдебуровской “Неделе” в марте 1898 г.

371

“ Игрушечка” – популярный журнал для детей младшего возраста, основанный Татьяной Петровной Пассек. Издавался в Санкт-Петербурге с 1880 по 1912 гг.

372

“ Журнал для всех” – ежемесячный иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал; издавался в Санкт-Петербурге с 1895 по 1906 гг.

373

Генриэтта Кангрэм – автор многочисленных публикаций в журнале “Книжки недели” в конце 1890-х гг.

374

М.С. Бродский.

375

См. письмо № 31 Л. Шварцмана В. Малафеевой о толстовцах, вегетарианстве и вере.

376

Цитата из стихотворения Н.А. Некрасова “Школьник” (1856).

377

Гуттен Ульрих фон (1488-1523) – немецкий рыцарь-гуманист, один из главных авторов “Писем темных людей”.

378

Подруга матери В.Г. М.-М.

379

Неясно, о ком идет речь.

380

Полина Кульженко – вторая жена издателя В.С. Кульженко

381

Липпольд Максимилиан Карлович – композитор; написал увертюру “Танкред”, оркестровую струнную сюиту, квартет, романсы, 2 детских сборника.

382

“ Церковно-приходская школа” – ежемесячный журнал, издававшийся с 1887 по 1906 гг. в Киеве при Киевском епархиальном училищном совете. Начиная с 1902 г., выходило по 12 номеров журнала. Редактором был П. Игнатович.

383

Возможно, имеется в виду Георгий Онисимович Булашев (1860–?) – украинский духовный писатель, этнограф, литературовед, редактор. С 1884 по 1892 гг. был редактором киевского журнала “Воскресное чтение”. С 1905 по 1906 гг. был главным редактором журнала “Руководство для сельских пастырей”, а до 1905 г. – помощником главного редактора в нем.

384

Неточная цитата из стихотворения А.Н. Майкова “Ах, люби меня без размышлений...”.

385

Время коротко (*фр.*).

386

Киевский доктор Петровский. Подробнее о нем см. с. 20.

387

Акопенко Андрей Фёдорович – лекарь, младший врач 129 пехотного полка. (Киев. Рос. медицин. список, 1902 г.)

388

Стихотворение Ф.К. Сологуба “Словно лепится сурепица...” (1889).

389

Возможно, речь идет о киевском генерал-губернаторе Алексее Игнатьеве (1889–1897), прославившемся своей агрессивной политикой и откровенной ксенофобией.

390

Дм. Г. Балаховский.

391

К.П. Тарасов.

392

А.И. Шварцман. Подробнее о нем см. с. 55.

393

Венгерова.

394

Имеется в виду журнал “Сын Отечества”, который с перерывом выходил до 1901 г.

395

Имеется в виду Василий Ланге.

396

Агренов-Славянский Дмитрий Александрович (1834-1908) – российский певец и хоровой дирижер, собиратель народных песен.

397

Хороводная песня.

398

Неясно, о какой песне идет речь.

399

Л.И. Шестов весной 1900 г. пишет жене: “У меня в последние дни масса беготни. Нужно со всеми проститься и, затем, пришлось о Варваре Григорьевне похлопотать. Она, как я писал тебе, заболела. Нужно было хлопотать в фонде о пособии, и т. д., и т. д.”. Возможно, это письмо было связано с тяжкими обстоятельствами в жизни В.Г.

400

Перевод К.Д. Бальмонта.

401

Ежедневная украинская газета, выходившая в 1882–1918 гг. на русском языке. Печаталась в Житомире.

402

Балаховский.

403

М. Метерлинк. “Сокровище смиренных” (1896). Философское эссе.

404

Крик одинокого сердца – страстный вздох темпераментного человека (*фр.*).

405

Непонятно, о ком идет речь.

406

Ежедневная демократическая газета о политике, литературе и общественной жизни, выходившая в Москве с 1897 (с 1893 г. под другим названием) по 1904 гг.

407

Пшибышевский Станислав Феликс (1868–1927) – польский писатель. “Homo sapiens” – роман в 3-х частях. М., Книгоиздательство “Скорпион”, 1904.

408

Имеется в виду врач Лазурский. В имени ошибка, он – Александр Фёдорович.

409

Речь идет о Екатерине Петровне Козишниковой-Эйгес (1881–1951). Ее муж Константин Романович Эйгес (1875–1950) – композитор, пианист, педагог.

410

Возможно, речь идет о докторе Лаврове, с которым В.Г. в эти годы связывали любовные отношения. Под “Дальним Востоком”, видимо, подразумевается Русско-японская война.

411

Залесские Анна Степановна и ее муж Борис Алексеевич, санитарный врач, – друзья В.Г.

412

Романова Анна Васильевна (урожд. Вышневская 1873–1968) – первая жена писателя Пантелеймона Романова, близкая подруга В.Г.

413

Тарасов Юрий (Георгий) Константинович (1899–1974) – сын Тарасовых, будущий врач-психиатр.

414

В то время, когда я писала это, я бы не поверила, что в тульском благородном собрании будут танцевать накануне погребения Толстого, о чем было газетное сообщение. *Прим. В. Малахиевой-Мирович.*

415

Тогда только что был окончен мною перевод книги Джемса “Многообразие религиозного опыта”, которую я решила повезти в дар Льву Николаевичу, в чем глубоко раскаиваюсь, так как послесловие этой книги рассердило и совершенно изменило тон беседы. *Прим. В. Малахиевой-Мирович.*

416

Так В.Г. М.-М. последовательно пишет фамилию Ф.К. Сологуба.

417

В то время я помогала вести беллетристический отдел в “Русской мысли”. *Прим. В. Малахиевой-Мирович.*

418

Неясно, о ком идет речь.